

Роман «Скрытый хан» написан в жанре путевых заметок от лица исследователя истории и мифов народов Центральной Азии XIX века Чокана Валиханова.

ШАХИМАРДЕН

Скрытый хан
или Записки корреспондента «С.-Петербургских вѣдомостей»
штабс-капитана султана
Валиханова

Суэта сует и всяческая суэта: живем на гладком азиатском просторе – рвемся на Кавказ, хочется видеть Альпы, и горы нужны непременно демонические. А как бросит судьба в такой край – сначала восхищаемся, потом все это начинает надоедать: и «столпообразные руины», и «звонко бегущие ручьи». Опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет и береза белая, и родная сосна. Здесь дыхание свободнее и мысли текут шире, здесь как-то привольнее... Все безгранично: желания, дела...

Угрюмые, дикие виды гор хотя и живописны, но все же заботят, отягощают вас. То поражает великолепный водопад и сердце начинает усиленно биться, то какая-нибудь пропасть устроит, и голова начинает кружиться. Громадные скалы, ревущие реки – все сердито, во всем загадка, и вы, не желая того сами, настраиваетесь на лад какой-нибудь лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным.

Только степняк может знать цену золотой лени, только он может жить без горя, без скорби мировой, не думая о дне завтрашнем. Только степняк может быть так лукаво счастлив, отдав себя лишь наслаждению покоем.

После утомительного и жаркого дня особенно приятно в ясный вечер лежать в юрте в свободной одежде и, подняв вокруг полог для освежающего течения ветра, наслаждаться истинно степным комфортом и делать кейф.

Француз Ларошфуко воспел «усладу ленивого покоя». Идите же к нам, маркиз, вот вам под локоть атласная подушечка, и забудьте о своих Альпах, требующих бесконечно бесконечных восхождений!

В горах могут воспитываться черкесы. Они рождаются в единоборстве с природой, и каждый шаг горца есть риск. Вокруг стоят сердитые скалы, внизу пенится, ревет, ворочает камнями какой-нибудь Терек. Вот его учителя. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и птицах гор! Тяжелый орел терзает на отвесном каменном уступе окровавленный труп лани, безжалостный ястреб нападает на зазевавшегося фазана, а гриф с душераздирающим клекотом отнимает у него добычу.

Совсем другой ландшафт, другая природа окружает степняка. Здесь воля, гармония между зверьми и птицами божьими. Широкая река или необъятное озеро тихо плескает свои светлые воды; белогрудая чайка роскошно купается в лазури небес, гуси, лебеди гордо плывут на ласковой волне; поднимет и унесет легко кречет какую-нибудь утку, но все дружно, величаво... Никто никому не мешает. Вся степь покрыта бескрайним разнотравьем, всюду жизнь: пчелы, бабочки порхают с цветочка на цветочек... Я сам степняк и увлекся степью. Но пора обратиться к предмету.

Случай привел меня в аул семиреченского султана Тезека, и вот уже месяц я скучаю. Положительно нельзя заняться делом – не позволяет степной этикет. Ничего не поделаешь, я тоже поневоле султан. Вопрос, мучавший века арабов: «Я эмир и ты эмир, а кто будет осла погонять?», – нисколько наше сословие не беспокоит. Конечно, можно восстать, но я серьезно намерен породниться с кланом султанов Старшей орды и вынужден вести себя благопристойно, говоря по-простецки: не позволить себе вспотеть. Положение до того отчаянное, что хоть пиши роман. А что, господа? Надеюсь, писание будет признано за мной как более-менее праздное занятие в силу огромного снисхождения ко мне как к особе искалеченной науками и государевой службой.

В ауле моей невесты, где я нынче пребываю, с некоторых, не известных мне времен завелось семейство котов. Чрезвычайно любопытные создания. Они составляют мой ежедневный предмет наблюдений. Среди них есть рыжая кошечка с длинными ресницами. Обязательно возле нее двое усатых ухажеров. Оба кота каждое утро отправляются в степь поискать полевых мышек, но добычу принимает она лишь у одного. Вот сегодня как раз таки этот кот-избранник не явился со своей охоты, зато второй уже стоит тут со своей мышкой в зубах и скромно предлагает ее кошечке. Она не берет. Ходит вокруг, потягивается, и все посматривает в ту сторону, куда убежал ее возлюбленный. Проходит час, второй. Я заснул, проснувшись, увидел все ту же картину. День уже склонился к вечеру. Видимо, того кота схватили лисы,

во множестве крутящиеся вокруг аула. Наблюдаю дальше. Голодная кошечка, промаявшись весь день, еще походила по аулу, ничего не выпросила у баб, и, вернувшись на место с недовольной физиономией, наконец, подошла ко второму терпеливому в своей любви коту и нехотя взяла из его лапок мышку. У кота тут же хвост стал трубой. Он ликовал, она же, скушав мышку, царапнула его по мордочке и исчезла!

Эта кошечка напомнила мне одну китайку из западной провинции Поднебесной, где мне приходилось быть по делам иностранной коллегии.

Русская фактория в Кульдже основана в 1852 году для выгод азиатской торговли. Китайцы отвели для наших строений песчаный берег Или, считая его негодным для поселений. Надо отдать должное консулу И. И., что он сумел из такой местности сделать то, что представляла уже тогда наша обитель. Она состояла из огромного каменного с мезонином консульского здания, дома для секретаря и прислуги, гостиного ряда, бани и двух казарм. Все это, возведенное китайцами, было отмечено пестротой и смешением вкусов Запада и Востока. К примеру, на консульской крыше, поднятой согласно европейским канонам, сидели два страшных дракона. Впрочем, это было мило и имело свой неповторимый *charme*. Но главное – чистота! Дворец цзянцзюня, местного губернатора, по сравнению с нашими строениями, являлся ничем иным как калошей. Так что мы могли быть весьма довольны нашей жизнью. Но скука в дипломатическом бастионе была страшная: представьте, что вы заключены в четырех стенах, хоть и свободны, но не можете располагать собой. Некуда идти и нечем отвлечься. Единственным занятием были переговоры с китайскими чинами – мандаринами, на которых они изрядно шумели и пили чай. А некоторые мандарины так интересовались делом, что считали за лучшее – дремать за столом заседаний. Консул строго запрещал нам их тревожить, что ж, в Китае свои понятия о вежливости.

Пожалуй, я совсем отчаялся бы от скуки, если бы не отец Ион, побочный сын митрополита А. С ним у меня сложились сразу дружеские отношения, и мы условились, что я стану величать его просто Кит Яковлевичем, чтобы не смущать моих мусульманских ангелов-хранителей.

Отец Ион – Кит Яковлевич, будучи уже тогда членом-корреспондентом Российской Академии наук и членом Азиатского общества в Париже, предпочитал представляться заблудшим отроком сельского дьячка-чуваша и говорить на не вполне научные темы. Надо заметить, что отец Ион всю первую четверть своего архимандритства вел жизнь настолько разгульную и буйную, что родитель его вынужден был ходатайствовать об отправлении своего чада

в Пекин главою миссии православной церкви, надеясь, что там он среди чужого народа не будет иметь возможности шалить.

Переезд отца Иона в Китай составляет целую историю. Что стоит хотя бы его попытка перевезти в дипломатическом мешке через границу монашку, с которой он полюбил перед самым отъездом совершать некоторые интимные обряды! Китайские чины на границе самым безжалостным образом монашку изъяли, но ничего не могли поделать с жизнелюбием этого гостя в своей столице. Хотя самих китайцев не отнесешь к пуританам, отец Ион поразил их своей неумностью по амурной канцелярии.

Всем известно, чем кончилась его китайское поприще – лишением сана и ссылкой в Волоколамский монастырь. Что только не предпринимали отцы церкви, чтобы отбить у него охоту богохульничать и словом и на деле: он не один год просидел на одном хлебе и воде, месяцами не видел ни одной души – все попусту. Между тем, значение его научных трудов, писание которых он не оставлял и во время своего заточения, возросло настолько в Европе, что держать его далее в изоляции становилось невозможным. Однако и отступить от него не желали. В дни нашего знакомства еще при Министерстве иностранных дел, он хлопотал о снятии с него рясы, но прокурор и Синод упорствовали, Бог знает отчего, чем вводили его в изумление и полную растерянность, ибо время берет свое, и, как горько он признавался мне, силы его тают и, видимо, сокрушался он, попы добьются того, что он умрет в святости. Я не стану утверждать, что мы были неразлучны с отцом Ионой, это будет, по меньшей мере, нескромно, но так случилось, что мы часто оказывались рядом. Как-то во время переговоров мандарины привезли с собой обед, который состоял из ста блюд и напитков. Привезли и повара, свидетельствуя этим, что преподношение в духе Гаргантюа исключительно свежо и цело, надеясь, и вполне обоснованно, получить за тот ловкий дипломатический ход вознаграждение от своего начальства.

Китайцы вообще народ оригинальных понятий. Бог знает, что составляла собой та скатерть-самобранка: поросенок занимал первое место, к нему девяносто девять приправ, затем шли каракатицы и пауки, утка, излишне усыпанная перцем и луком, и так далее. Все это имело для меня такой неаппетитный вид, что я сказался больным и не имел удовольствия участвовать в этом застолье. Со мной удалился Кит Яковлевич, ничем не объясняя своего ухода, что являлось одной из особенностей его характера, раздражавшего не только церковников.

Мы, побродив от бани к казармам, решили выехать из города. Нет никакой возможности дышать воздухом китайских городов. Кроме пыли, ничего не вдохнешь. Для прогулки мы выбрали берег Или. Ехали мы в седлах по береговым песчаным дюнам, и только свежесть воды удерживала нас на этих песках, на которых не росло ни стебелька зелени, если не считать голых и тощих кустов какого-то колючего растения вроде чертополоха.

Затем, ниже по течению, начались илистые луга, и только мы вступили на влажный грунт, как буквально утонули в высокой траве. А далее росли камыши, в которых по уверению Кита Яковлевича укрывались тысячи фазанов. Осока, молочай, что-то вроде астры, китайская конопля, мелкий кипец и солодка покрывали землю так густо, как борода покрывала лицо самого отца Иона.

Наконец, когда мы добрались до хижин рыбаков, Кит Яковлевич распорядился устроить бивак в живописной природной беседке из развесистого джидовника и ильма. Сопровождавшие нас казаки живо принялись за дело. Устроили небольшой очаг для приятного чая, очистили траву от гнилых сучьев. Стоявшие недалеко от нас жилища рыбаков были сложены из сырого кирпича, и перед ними были устроены неизменные навесы. Над дверями и по бокам висели камышовые шторы. Множество корзин, больших и малых, разнокалиберных, валялось всюду. Жалкая таратайка с двумя колесами довершала эту бытовую картину.

Я прилег на расстеленную специально для нас циновку и рассеянно слушал, как мой ученый спутник рассказывает о рукописи архимандрита Каменского, написанной им по пути в Пекин, и называемой самим автором незамысловато «Мешок», ибо складывалось туда все беспорядочно, как в мешок. В этом хранилище мыслей было все о этом бренном мире и о потустороннем. К тому же коллега отца Ионы в досужий час перевел с китайского религиозную мистерию «Ин-Ян», что означало «Мужское и женское начало в природе». Труд сей, видимо, достоин всяческих похвал и был, надеюсь, написан самым высоким стилем, однако отец Ион предпочитал пересказывать мне его отчего-то стишками, и я, где-то между строчек «...Ин захочет, Ян и вскочит, Ин тому и рада, вот вам и отрада...» задремал, как турецкий султан на мягких диванах своего гарема, уткнувшийся в гладкие формы какой-нибудь розы наслаждения. Действительно, в недолгом сне мне грезилось нечто в этом роде. Я неудачно лег плечом на то место, где под циновкой торчал из земли какой-то извилистый корень и мне казалось, что это какой-то мерзкий евнух пытается оттолкнуть меня от обнявшей меня

красавицы. Сквозь сон я чувствовал все усиливающийся дневной жар, а воспринимал его как ароматическое горячее дыхание моей пассивности. Нечего говорить, что мне было страшно досадно, когда меня разбудили дикие крики. Вопила какая-то китайка. В остальном все оставалось как и прежде. Казаки спали в тени, чайник кипел над костром, а отец Ион занимался своим любимым делом – скучал. Я спросил у него: отчего так озлобленно кричит эта рыбачка, но от моего вопроса Кит Яковлевич скис еще более и заговорил о приобретенной им когда-то у монгола скульптуре Будды, отлитой в редкостной грубочувственной позе, но выражающей высокую идею вечного блаженства.

– Что есть будущее, мой юный друг? – принялся лениво просвещать меня отец Ион. – И чему оно подобно? Если настоящему, то оно не существует, ибо подобное настоящему – есть настоящее. Если прошлому, то нет и настоящего, и будущего, и самого прошлого, ибо тогда время замыкается в кольцо, не имеющее ни изначального, ни конечного, ни связующего изначальное с конечным. Согласимся с постулатом, что жизнь есть блаженство, тогда будущее и прошлое, действительно, делимы и представляют собственно отсутствие этого состояния. Прелюбопытно, что сам Шикья-Муни считал, что блаженство есть ничто, бытие-небытие, и в объяснении этой превысшнне хитрой идеи приводил причину в наглядном примере чувственного слияния мужчины и женщины. В момент исхода *spermatozoid*, впадая в *prostratio*, мы забываемся, но в то же время не лишаемся сознания. Это что-то безотчетное, это и есть бытие-небытие. Бог тоже по толкованию Шикья-Муни есть Ничто, а, следовательно, *prostratio*. Безымянные авторы той фигуры Будды, следовательно, видели в выборе позы своего Бога свою логику.

Я не мог спорить с сочинителем капитальных трудов о Востоке, хотя имел что сказать о прелестях подобных отвлечений от жизненных реалий. Тем паче, что меня больше интересовало, отчего так вопит та китайка и скоро ли она закончит свои крики, чтобы можно было снова немного вздремнуть. Приглядевшись, я заметил, что рыбачка не просто кричит, а ораторствует, окружив себя дюжиной своих товарок. Вдруг она замолкла. Уснуть же снова мне не удалось.

Я все же предпочитаю быть знакомым с мыслями отца Иона по его книгам, где его собственные мысли тяжелы и напоминают своими формами прагматические замечания к китайской летописи Тунцзян-га-кы для вещего назидания потомству. С ними можно, как с любыми научными выводами, соглашаться или не соглашаться. Живая же речь Кита Яковлевича как не была бы им облегчена и даже, как правило, составлена в комических фразах, всегда

напоминала мне, как я малообразован, и как по-прежнему думаю по ранжиру. Казалось бы, его шутливые рассуждения о позах Будды годны разве что для развлечения, но они привели снова меня к мысли, что я совершенно не знаком с философией религии, с теологией. Что от того, читаю и говорю ли я на нескольких языках, если ученому рангом не ниже отца Иона следует знать не менее двух десятков? Эти неприятные выводы подняли меня с циновки, и я направился к рыбацким хижинам, желая размять свой крайне ленивый скелет.

Около дверей одной из лачуг сидела та самая ораторша. Возле нее вертелся мальчик с плетеными рожками волос на висках. Женщина, усиленно работая руками, чинила сеть. Она не обратила никакого внимания на мой приход и не удостоила ответом подошедшего за мной отца Иона, который пожелал у ней осведомиться о чем-то на китайском, и продолжала свое дело с таким невозмутимым хладнокровием, будто никого рядом с ней не было. Отец Ион повторил свой вопрос и прибавил, кажется, какое-то нравоучение, что неприлично-де так встречать гостей. Китайка, наконец, обратилась к нам, странно замахав руками, вскочила и начала что-то кричать, употребляя с особым ударением слова «мамаде пфи!». Мы были так озадачены этой выходкой рыбачки, что, говоря по-восточному, обратили все свои упования к Аллаху и терпеливо стали дожидаться, когда стихнет эта буря.

Рыбачка была весьма недурна собой и, главное, имела такие крохотные ножки, что обуянное гневом ее тело представлялось чуть ли не зависшим в воздухе, как у ангелочка. И это несоответствие так развеселило меня, что я едва сдержался от смеха.

Я решительно ничего не понимал из ее воплей, хотя по словам «мамаде пфи», значение которых мною с первого же дня знакомства с китайцами было постигнуто, догадался, что она бранит нас. Но за что? Этого я не мог представить даже при усиленном фантазировании.

Между тем, китайка, довольная нашим смирением или своей храбростью, тем, что порядком осрамила этих русских, принялась мрачно вглядываться в дорогу, шедшую от города. Я счел возможным воспользоваться этой минутой и заметил, сколь несообразно женщине, особенно дочери древнейшего в мире государства как Срединная Империя, употреблять такое гадкое выражение. Имея в своем распоряжении также китайское слово «ньюжень» – женщина и «хао» – хорошо, я решил их расположить так, чтобы она при помощи моих объяснительных жестов и умиленного выражения лица живо постигла бы мою незатейливую мысль. Вначале, принявши гордый вид оскорбленного человека, я начал: «ньюжень – хао...» , и, помолчав для выразительности

немного, прибавил: «Нюйжень – тррр... бу хау». Этим я хотел сказать: «Ты, женщина, хорошая штучка, но бранишься». За неимением связующих слов я, как мне казалось, удачно все дополнил замысловатым подкручиванием пальцев. Не знаю, от нелепого сочинения моих слов или по другой причине, рыбачка разразилась таким звонким и веселым смехом и лицо осветилось таким приятным светом, что я почувствовал к ней особенное влечение, несмотря на то, что, когда она снова уселась на свою низенькую табуретку, бедра ее раскинулись, и, признаюсь, меня сильно смутили. Нижняя часть ее тела была удивительно округла и, должно быть, нежна и упруга.

Я стал подобен страдающему от жажды персу, увидевшему в чужом саду сладкий плод. В припадке нежности я совершенно забыл ее прошедшее поведение и приблизился к ней, чтобы пустить комплимент в китайском вкусе и окончательно задобрить ее в свою пользу. Но на этот раз словарь мой истощился, и я довольствовался единственным словом «хао», разумеется, произнося его очень умиленно и несчетное множество раз, да так, что пристроившийся рядом отец Ион одобрительно крикнул. И все же, одно «хао», как ни верти, все равно остается глупым «хао», и мне стало досадно. Хотелось как ни будь хитро и замысловато, но вместе с тем ярко и точно доказать ей свое расположение.

— Если вы, мой юный друг, желаете ей намекнуть, как говорят китайцы, насчет весенних мыслей, то я умоляю вас, как доброго товарища и благородного человека, не делать этого в моем присутствии, – влез в ситуацию отец Ион и вкрадчивым голосом продолжил. – Вы же знаете, какую я сейчас веду борьбу с соблазнами земными и как страдаю от таких богопротивных слов, как «хао нюйжень», – и так горько вздохнул, что мне стало действительно жаль старика.

Я приостановил свои маневры и спросил его, не будет ли он смущаться духом, если я перейду только на язык жестов. Ответ его был удовлетворительным, так как жесты могут быть случайны и непреднамеренны, и могут не являться богохульством. Тем более, что он может просто при этом отвернуться и тем самым спастись.

Придя к такому согласию, я уже было приподнял руку, чтобы еще более приоткрыть тайный занавес наших с нею бесед, как явился ее муж, рыбак.

Стоит ли говорить, что сей мужик разом разрушил все мои благие намерения. Впрочем, можно было и продолжить, так как рыбак этот шел вовсе не утомленный праведным трудом, а явно из города и был отчаянно пьян. Наверное, только художник, не раз изображавший войны и сражения, мог бы изобразить

сейчас лицо моей китаянки – так оно изменилось в одно мгновение. Если в Китае самый упоминаемый символ дракон, то она являла собой теперь змеюгу по страшнее кобры. Муж ее имел на это другое мнение:

– Баба, – бормотал он, – дрянь, я – петух, – тыкал пальцем себе в грудь. – Я – другое дело, и знаю свет.

Засим, нисколько не обращая внимания ни на пришедшую в ярость жену, ни на нас, далеко необычных визитеров, он рухнул на землю.

Однако, господа, что тут началось! Прелестная китаянка подняла такой отчаянный визг и с таким гневом принялась притоптывать своими крохотными ножками около поверженного Бахусом супруга, что меня охватил настоящий ужас мужчины перед остервеневшей фурией, и я поспешил ретироваться. К счастью, один из казаков успел подвести к нам оседланных коней, и мы, не медля, вскочили в седла. И вовремя. К этому времени к месту происшествия сбежались еще несколько баб и подняли такой гвалт, что конь подо мной, нисколько не принуждаемый к этому, стал пятиться назад. Я удержал его, видя, что отец Ион не спешит отъехать, а с самым глубокомысленным видом наблюдает эту сцену, тем самым как бы и меня приглашая изучать предметно нравы местных жителей, коли я считаю себя натуралистом. Однако, при этом Кит Яковлевич и не думал мне помочь сориентироваться происходящих претензий. Можно было бы обратиться с просьбой к нему объяснить, что все-таки происходит и почему он так заинтересовался этой скверной сценкой, но он обязательно перевернет, как давеча, цитаты из рукописи своего коллеги отца Каменского, да и привычки просить я не имел.

Сосредоточив все свое внимание на происходящее, на жесты и на мимики действующих лиц, вслушиваясь в каждое знакомое и не знакомое вовсе мне слово, я кое-что стал понимать.

Прежде всего, мне сразу удалось определить, что всех этих жительниц села объединяет какая-то общая беда. Вывод, на первый взгляд, кажется не оригинальным, но учитывая непредсказуемость женских натур и полное отсутствие логики в их совместных действиях, вы меня поймете. Этому доказательством служило то, что валявшийся в отупении от винных паров рыбак бесил их всех одинаково, словно все они составляли его гарем. Это открытие позволило мне сделать вывод, что они кричат одно и то же. От того, что часто произносилось слово «фу», стало ясно, что рыбацки дружно проклинали город или горожан, затем с особенной ненавистью произносилось словечко «хэ» – пить. Все это позволило мне прийти к печальному пониманию той беды, которая так их всех растревожила. Тем более, что появившиеся через

некоторое время со стороны города качающиеся фигуры остальных рыбаков сделали картину окончательно ясной. Бабы ожесточились еще более, и теперь каждая накинулась на своего мужа.

Рыбачий поселок имел несчастье быть слишком близко расположенным у городских стен, за которыми, по мыслям этих простых женщин, и вполне справедливо, цвел разврат, с каждым днем все сильнее втягивавший их мужей в свою пасть. Видно, мужья с некоторого времени пристрастились ловить рыбу не на реке, а в городских кабаках. Я не без удовольствия, обратившись к отцу Иону, сделал несколько кратких замечаний по этому поводу и предложил ему ехать прочь от той вакханалии, так как события грозили приобрести еще более высокую температуру.

Среди скандаливших появился бохша – урядник из солонов, И принялся не менее увлеченно орать сам. Бохша был человек, судя по платью, зажиточный и неглупый, принимая во внимание замечательную толщину его живота.

В Китае вместилищем разума признается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то, очевидно, по мнению китайцев, у вас замечательный ум. Это факт, в истине которого ни один житель Поднебесной, со времен династии Цинь, не смел сомневаться, да и смешно было не верить тому, что $2 \times 2 = 4$.

Появившийся местный полицейский быстро разогнал хозяек по их лачугам и, наконец, очень гордясь своим «умом», обратил и на нас свой суровый взор. Дабы узнать степень нашей мыслительной силы, он нас осматривал не спеша и пристально, но, оценив наши поджарые фигуры, он презрительно отвернулся, из чего было ясно, что о нас, он составил мнение самое невыгодное.

Вообще непостижима уму самоуверенность китайца. Он никогда не похвалит то, что не китайское. Угостите его шампанским, и он от невозможности хулить сей чудесный напиток спросит вас: где вы купили их джу – рисовую водку.

Не снизойдя к нам разговором, этот бохша с солидно отвисавшим признаком своего интеллекта, а китайцы – великие мастера, когда надо не замечать «левополых варваров», снова накинулся на обитателей поселка, воспользовавшихся паузой и опять появившихся на улице. Он сделал знак двум рядовым солонкам, и те с увесистыми палками бросились замахиваться на слабую половину имперского народа. Однако те не отступили и, построившись в каре под предводительством моей китаянки, пошли в самое настоящее наступление на представителя маньжурской власти. Видимо, поняв, что наскоками этих баб ему взять не удастся, урядник вынужден был

вступить с ними в переговоры. Не так скоро, но мне удалось понять, что речь идет о том, что городской голова решил расширить какие-то укрепления своего все возрастающего города, и на этот раз жертвой такого строительства будет эта жалкая, в десяток лачуг, деревенька рыбаков.

Представьте себе, какой шум подняли эти жертвы строительства, когда слышали, что чудовище, поглотившее разум и силы их мужей, теперь готовится проглотить и их жилища. «Мы сами разрушим город!», – закричала предводительница рыбацек. На что бохша ответил не угрозой, а искренним удивлением тому, как можно идти против решения градоначальника. Мне показалось, что он даже растерялся, бедняга. Но его конфуз продолжался недолго, тем паче, что все та же наша рыбацка выкрикнула ему в физиономию страшную пекинскую брань – что-то вроде: «Ты внук черепахи в третьем колене!!!», и бросилась на него со сжатыми кулачками. Он ловко сбил ее с ног и принялся пинать. Да и солоны не дремали. Рыбачки бились отчаяннейшим образом, полагаясь только на самих себя, так как их мужья, как уже говорилось, были даже не в состоянии понять, что же происходит. Надо ли говорить, что полицейские одержали викторию.

Что бы ни происходило в этой чужой стране, мы вынуждены держаться нейтралитета, а потому, огорчившись такому ходу вещей, развернули своих коней и поехали прочь. Задержался только казак, которому следовало собрать наш бивак, но вскоре и он нас догнал.

Кони наши шли шагом, мы молчали, и казак, видимо, мучаясь тем, что увидел, задержавшись у той деревушки, заговорил, сообщив нам, что солоны, круша одну из хижин, частью крыши прибили спавшего в доме годовалого ребенка. Мы не отвечали ему.

Возвращаться в пыльный город не хотелось, и мы еще проехали вдоль реки. Отцу Иону пришла счастливая мысль совершить небольшую экскурсию по китайским садам и загородным дачам. Они тянутся верст на десять по Сары-Булаку, Это прекрасно, но начиная от угла крепости, упирающегося в поворот Или, до самых дальних садов берега реки буквально усыпаны могильниками, такими же частыми и мелкими, как оспинки на лбу шанхайского бродяги. Надо знать величину китайских могил, чтобы вполне понять эту бесчисленность. Китайцы зарывают своих покойников в землю в особенно уродливых гробах, окрашенных большей частью в красный цвет, вырыв прежде в земле ямку не более, чем мы для очага. Вкладывают туда гроб и над этой могилкой насыпают землю в виде конуса, а так как здесь песчаный грунт, то не удивительно, что эта насыпь сносится ветром, и обнаженные красные ящики торчат из земли до

тех пор, пока весенним тающим снегом не размоеется сам берег, и он не обрушится в поднявшуюся воду, унося с собой и тяжелый груз.

Не удивительно, что такой вид окончательно испортил нам прогулку, и мы вскоре повернули коней назад. Подъезжая к городским воротам, мы увидели, как к ним приближается быстро толпа баб с палками в руках, которыми они размахивали весьма усердно и зло. Это были наши рыбачки. Караульные поспешили прикрыть ворота, но больше не от страха, а от нежелания связываться с крикливым племенем. Это еще больше возбудило женщин, и они, осыпая всевозможными проклятиями город, принялись стучать палками и по глинобитным башням и по створкам ворот. Я выразил мнение, что эти разгневанные бабы в своем мстительном порыве могут действительно так разрушить город, на что Кит Яковлевич сказал:

– Вы знаете, как называют в Китае проституток? Разрушительницами городов.

История Семи городов Западной провинции Китая уходит корнями в древнейшие времена. Еще при государе Ву-ди китайцы уже знали Западный край и насчитывали в нем до тридцати шести владений. Эти земли прежде подчинялись хуннам, пока Чжанькань или Чжань-цзянь в 140 году до Р. Х. не проник сюда. Что за народ были первоначальные обитатели этого края, мы не знаем, ибо китайская история не дает никаких данных. И отец Ион в своем «Собрании сведений о народах» не исчерпывает полностью этого вопроса. Мы знаем, что каждое владение имело своего государя, ни нравом, ни языком они не походили на хуннов и усуней, имели при этом впалые глаза, высокий нос и густую бороду, исповедовали буддийскую веру. Письмо их походило на индийское. После династии Хань Западный край то отделялся от Китая, то подчинялся ему снова. Отец Ион называет их тюрками и в «Истории династии Суй» приводит, что они употребляли тюркское письмо.

Кстати, что касается синологии, то сами китайцы не имеют лучших исследователей своих документов истории, чем отец Ион. Но, к несчастью, он имел слабость впускать в текст свои мысли и догадки, не отделяя их от китайских данных. Об этом говорил и консул.

Прошло три месяца, и к концу нашего пребывания в Кульдже осень почти утвердилась: дни стали холодные, даже при солнце нельзя было ходить без теплой одежды. Китайцы с ног до шеи оделись в овчины – на каждом из них были короткие куртки. Горы вокруг города давно уже покрылись снегом до самых подножий и белели как сахарные головки. Под ними же ежевечерне жнецы на своих полях возжигали тысячи костров, и они сияли, как

плошки на казарменных столах, но и их яркие, звездоподобные вспышки вскоре перестали нас увлекать.

Переговоры с китайской торговой палатой, которым, казалось, уже не будет конца, завершились удачно, бумаги были составлены и подписаны и теперь осталось самое неприятное: приемы. Особенно настойчиво зазывал в свой дом знакомый купчина Чжан Гу-да. И мы все вынуждены были отправиться к нему. Ехали мы весело – хорошенькие дети бегали по улицам и простодушно изъясляли свои мнения насчет нас. Мы имели редкое счастье нравиться этим наивным существам. «Русские едут!», – кричали мальчишки, вприпрыжку сопровождая нас. А какая-то маленькая девчушка, держа в своих руках еще более крошечную сестренку, спрашивала меня:

– Русский лоя, есть у тебя такая маленькая дочка?

Вообще простой народ обращал на меня более внимания, благодаря чудному блеску моих эполет, в противоположность черной рясе отца Иона, с которым мы по привычке ехали рядом. Они от удивления щелкали языками и громко одобряли меня словами: «хау лоя!» В смысле: хороший господин.

Позабавило меня и замечание одного шампаня каторжного вида, который, увидев металлические пуговицы моего фирменного сюртука, заметил своему товарищу: «Посмотри, сколько на русском лое монет», – проговорил он, шамкая. Чтобы не уронить столь высокого мнения о себе, я принял еще более бравый вид, подбоченился этаким фертом и представлял из себя такую фигуру, или, выражаясь по-персидски – руфаяна, что – маш аллах!

– Сам Гуань-лоя, по сравнению с вами, мой юный друг, ничто, – не преминул заметить отец Ион.

Мы разом расхохотались и въехали в ворота купеческого хуардана. Чжан Гу-да, хозяин, одетый по-праздничному, встретил нас у дверей и приглашал в комнаты. Однако мы решили несколько размяться в саду, тем более, что среди обихожанных деревьев стояла храмина, окруженная стеной, с воротцами, разукрашенная надписями и фигурками. Своей таинственностью она влекла к себе чрезвычайно. Мы принялись просить показать нам божницу. Хозяин неохотно согласился.

Перед храмом стояли два столба, направо, у ворот, под навесом, был выставлен на пьедестале колокол, налево – бубен. Двое слуг палочками по знаку хозяина начали бить ими: один – в колокол, другой – в бубен, должно быть, для предупреждения богов о приходе гостей.

В самой божнице было три двери, завешанных занавесями, посреди стол с солью, чашкой, на резной полке прямо в нише сидел в широком шелковом

халате бог Гуань-лоя с золотым лицом. Богом он стал после того, как прославился еще в эпоху Восьми царств, когда он в отличие от других китайских рыцарей прошлого, нападавших ночью или из-за угла, всегда предупреждал своего противника, уведомляя его, как Святослав: «Иду на вас». Особенно в ход пошел он после воцарения в Китае маньчжурского дома. Маньчжуры, его, как своего патрона, возвели в степень императора – хуан-ди, и он есть теперь бог военных людей и защитник фанз.

У ниши Гуань-лоя стояла белая узкоглазая богиня и держала в руках своих как-то особенно нежно меч. Там же устроился черный, как китайский кауговый сапог, божок с большими навывкате глазами и злобно улыбался, обнаруживая ряд гнилых и длинных, как у кабана, зубов. В правой руке пучеглазый фо держал алебарду, хитро раскрашенную, а левая рука его нахально уперлась в бедро. Одет он был в куртку и, вообще, был страшно дерзок. Богиня же, напротив, была вполне женственна, кроткое лицо ее хотело как бы спать, а меч, лежавший на ее руках, казалось, сильно ее тяготил. Между прочим на столе в этой храмине пристроился и любимец отца Иона бурхан Шикья-Муни. Он, нисколько не оглядываясь на боевитость своих коллег, наслаждался блудом: на коленях у него сидела женщина. Признаться, я ожидал от Кита Яковлевича его обычного балагурного комментария и готов был его поддержать шуткой или каламбуром, но отец Ион в этом вполне языческом храме повел себя на удивление сдержанно, а на приятеля своего Шикья-Муни и не взглянул.

После осмотра домашнего храма, настойчивому Гу-ду все-таки удалось затащить нас в комнаты. Он еще приветствовал нас, особенно при этом самым тщательным образом расспрашивал о состоянии наших желудков. Мы уселись на скамеечках за низкий столик, уставленный вазами с китайскими плодами и орехами лучи и жужубом. Какой-то малый принялся набивать трубки и, прикуривая их на огне, подносить нам с поклоном. Согласно китайскому церемониалу, мы приняли трубки и начали курить. Между тем этот же малый снял с очага медный кувшин с чаем и наполнил фарфоровые чашки душистым напитком. К чаю же принесли арбуз. Пока мы пили чай и кушали фрукты, Чжан Гу-да вступил в тайнственное совещание с нашим генеральным консулом. Мы без особого любопытства ожидали окончания этих переговоров и, зная немногословность консула, могли предположить, что они окончатся скоро.

Так оно и случилось. Консул отчего-то краснел, но кивал. Затем Чжан Гу-да обратился к нам, сказав, что ему хотелось бы угостить нас не просто, а как

следует. Ему желалось, чтобы сердца наши были веселы, словом, он предлагает, как это делается у цивилизованных наций, чтобы на нашей трапезе присутствовали «разрушительницы городов». Как он уверял, это необходимо для того, чтобы у нас было более аппетита и более расположения к приятным разговорам. Принимая во внимание, что это нескрываемое желание хозяина не противоречит познавательному характеру членов нашей фактории, мы согласились, но при условии, что здесь будет только одна из них, пусть любимица хозяина. Купчина весьма обрадовался, видя такую беспредрассудность гостей. Он тут же выкрикнул несколько слов, и торчавшие в комнате лакеи забежали взад-вперед и исчезли в дверях. Прошло несколько минут, раздался звонкий смех и приятный голос, несомненно принадлежавший нежному существу. По мере того, как эти чудные звуки усиливались, Чжан Гу-да подмигивал нам все значительнее и, наконец, улыбнувшись хитро, шепнул: «Идет!» и кинулся за дверь, уже явившись снова в сопровождении китайской камелии.

Наш купчишка, хотя и был ужасным медведем, но в обращении с нюйжень показав себя истинным ши-ю (джентльменом). Он разговаривал с ней не иначе, как с тонкой улыбкой, и глаза у него при этом томно щурились, а голос делался слишком певучим.

Дама этого торговца приветствовала нас поклоном, встав на одно колено, а затем, подойдя уже ближе, принялась вопросительно озираться, делая, по-видимому, из вежливости мину, что якобы она конфузится. Чжан Гу-да, согнувшись в дугу, подскочил к ней и, указывая на свободное место за нашим столиком, что-то проворковал ей в ушко.

Чаого – Яблочко, таким оказалось имя этой сердцепохитительницы, обязанность которой заключалась в развлечении нас игрой на трехструнной лютне и в затевании игр, где проигравший обязан пить вино. Изгибаясь станом и мелко семеня крошечными ножками, она, сказав каждому из нас: «ха-уле!» и еще какую-то любезность, присела между нами и начала с удивительным искусством исполнять свои обязанности, разливая из чайничка вино и сама поднося чашечки с вином каждому ко рту. Выпив сама несколько глотков, она оказалась дамой весьма веселого нрава. Совершенным отсутствием несносной застенчивости, она принялась осматривать не только наши лица, но и все статьи наших костюмов, при этом болтая всякую чушь и хохоча. Мы тоже имели возможность взглянуть в любимицу хозяина. Ей, видимо, было лет двадцать, но, несмотря на молодость, личико свое она покрыла множеством слоев грима. Признаюсь, она производила впечатление

красавицы. Густые черные волосы были убраны назад и там ниспадали до пят роскошной и массивной косой. В прическу ее были искусно вплетены цветы, над которыми порхали ювелирные бабочки. Губы ее были густо намазаны помадой и краснели как коралл. Своими черными глазками она владела мастерски, то поднимая их к небу, то опуская к своим ножкам, которые, надо сказать, всегда были на виду. На ней была надета куртка без рукавов и воротника, на пуговицах этой куртки висел какой-то талисман и еще какие-то металлические привески, вроде зубочисток и иголок. Под курткой была шелковая рубашка, совершенно похожая покроем на верхний халат. Замечу, что вообще она была одета очень недурно, опрятно и дорого и весь вид ее подтверждал китайскую оценку: она напоминала тонкий рисовый колосок. Особенно у нее были хороши руки, они словно были выточены великим мастером из слоновой кости. Она сама, по-видимому, прекрасно понимала эти свои достоинства и занималась ими. Ногти на них были непомерно длинны и тщательно выкрашены в розовый цвет, а на мизинцах – позолочены. К довершению, надо заметить, что виски ее были украшены мушками. Налеплены они были симметрично, возможно, для красоты, но я достоверно знаю, что такие мушки прикрепляются к вискам из-за сильных, постоянных головных болей.

Единственный порок ее состоял в том, что она часто прибегала к платку и как-то особенно возилась со своим тонким носиком. Это обстоятельство заставило меня быть осторожным, и я мягко отказывался от ее внимания и не пожелал пить с ней из одной чашки. Это тут же заметил гостеприимный Чжан Гу-да и, поймав мой взгляд, грустно повел взглядом на милую ему Чаого и также грустно заметил, что она, несмотря на все счастье, которое он ей время от времени представляет, слезлива от невозможности быть с ним постоянно. Затем он, в свою очередь, достал свой платок и приложил его к своим сухим векам, а потом и к ноздрям, как бы удаляя с них слезную влагу. При этом лицо его было отчаянно горестным.

Я еще раз внимательно оглядел Чаого и, наконец, узнал ее. Я оглянулся на Кита Яковлевича и угадал по его выражению лица, что он-то давно знает, кто сидит перед нами. Это была наша рыбачка.

Между тем, пришел какой-то разбитной господин с живыми манерами, в очках и оставшееся время говорил много и громко, пытаясь сделать относительно нас юмористические замечки. Видно было, что это столичный франт, щеголяющий перед местной губернской сволочью. Видно было и то, что хозяин в чем-то зависел от него, что и позволяло этому типу вести себя так

в его доме. Остряк уподоблял нас англичанам, которых видел в Кантоне, и сказал, что от этого у него на голове огонь. Или я неправильно понял фразу или действительно в этом «огне» есть какой-то совершенно непонятный нам смешной намек, но, сказав это, он так захохотал, что очки его сползли с носа на губы. Тогда, в свою очередь, засмеялись мы. Это несколько отрезвило непрошеного визитера, и он обиженно засопел.

Трапеза заканчивалась, наш консул встал, поблагодарил от всех нас любезного Чжан Гу-да, а развлекавшей нас особе дал серебряную плитку в 4 ф. серебром, имевшую хождение в Китае. Чаого – Яблочко, с выражением живейшей благодарности начала припадать перед ним на колени, благодаря каждого из нас по рознь, но представьте наше удивление, когда эта потаскушка, после какого-то колкого замечания в ее адрес от господина из Кантона, бросила серебро обратно нашему шефу. Естественно, консул постарался не заметить такой выходки и, перешагнув через плитку, направился к выходу. Разбитной господин в очках хотел было добавить что-то с ехидной улыбкой, но в этот момент отец Ион, священнослужитель и почитаемый ученый, сунул ему под нос свой огромный кулак совсем как делают мужики в ярмарочных трактирах. Кантонский франт побледнел и уже умолк окончательно.

Провожаемые смутившимся хозяином, мы вышли в сад, где я еще раз увидел надувшую свои алые губки Чаого. Она гордо отвернулась от нас, совершенно убежденная, что такие варвары, как мы, недостойны теперь ее внимания, даже несмотря на то, что наши сердца уж обязательно навечно привязаны к ее изуродованным бинтами в детстве ножкам.

Проходя мимо нее, я тихо сказал ей: «Иди, подними серебро, рыбачка, и построй себе хижину. Тебе не разрушить город». Она живо обернулась. Не думаю, что эта девка узнала меня, но посмотрела мне в глаза с такой ненавистью, что я оторопел. Затем, окончательно презрев благородный металл, бросилась из дома вон. Бегство ее, признаться, нас не расстроило, разве что хозяин наш Чжан Гу-да несколько взгрустнул и заметил обиженно: «Ничего... есть полиция и если надо, то...». Он не закончил свою речь, но конец был ясен: бамбуковая палка вещь удивительная. В следующий день я, наконец, слава Богу, выехал в Россию с Тарбагатайским договором и знанием весьма прелюбопытного иероглифа, который теперь непременно ставлю для счастья, когда играю в карты.

«Ищите знания всюду, даже в Китае», – сказано Пророком Мухаммедом. Мне, с моими окончательно спутанными пространственными ориентирами, оставалось только последовать его мудрому совету, точнее, я и Поднебесная империя двинулись навстречу друг другу. Судьба вновь определила нам местом свидания Кашгарию. Там, в Восточном Туркестане, накатившая на храмы Будды, волна ислама создала интересную цивилизацию. Тюрки переняли у китайцев изощренную кухню, а тамошние китайцы стали мусульманами и называют себя хой-хой, носят они китайское платье, косичку, говорят по-китайски, однако имеют свои мечети и совершают намаз. Мечети они строят на манер своих кумирень, где лишь иероглифы гласят, что это храм божий. У них есть муллы – ахуны. Бога они вместо Аллаха в своем разговоре называют Фоя, а Мухаммеда – Мемети.

Понятия туркестанских китайцев о природе человеческой почерпнуты большей частью из проповедей буддистов, но они заимствовали только одну сторону этого учения. О себе они знают верно, что рабы Аллаха, но по отношению к другим людям, собравшимся покинуть этот бренный мир, ведут себя так, словно это метапсихоз души и опасаются, как бы переселившаяся душа не выбрала в своей будущей жизни субъект опасный для них.

Китай своей площадной жизнью, своей языческой философией и эгоистическим самолюбием и, наконец, дряхлостью и слабостью своих сил и осторожной уклончивой политикой мне совершенно напоминает древний Рим во времена своего падения. Варвары тысячелетиями теснили Поднебесную Империю. Она же то укрощала дикие орды, то, не в состоянии противиться, прибегала к хитрости: задабривала дарами, платила им дань, гордо называя ее жалованьем от имперского двора, льстила их тщеславию, награждая титулами ванов и князей помельче, как Рим покупал званием патрициев себе на службу неустрашимых галлов и германцев.

Удивительно то, что держит и крепит Китай. Он, как Рим, не раз становился полной добычей инородцев, но падали только династии, а само государство стояло прочно. Варвары сами становились китайцами, так сильно влияние китайской культуры, Рим уже давно разрушен, разрушен христианством. Иисус Христос не вместился в пантеон римских глуповатых Богов. В Китае было совершенно другое. Здесь вера играет второе значение. Она может быть у каждого своя. И нет причины никому никого ни ненавидеть, ни превозносить. Важна божественность Империи.

Восточные туркестанцы от природы недоверчивы да и в их речах много лукавства. Если обходится с ними учтиво, то они презирают тебя и думают о том, что ты их боишься. Если, поступая по законам, иногда употреблять перед ними важность, то можно поселить в них опасения, сопряженные с почтением. Они знают только соблюдать личные выгоды и не задумываются о бедности других. Равные меж собой не состоянии ужиться, перечат друг другу, что переходит во вражду, иногда непримиримую. Они любят веселиться, пьют вино и более всего преданы сладострастью. Женщины среди них ходят, не закрыв лицо, и много танцовщиц, без которых туркестанцы не представляют увеселения.

Все эти характеристики отлично подходят к кашгарскому хану Якупбеку, принявшему меня с приемлемым уважением. Он встретил меня в казанлыке своего дворца. Имея с десяток первоклассных поваров и сотню слуг, сей восточный самодержец помимо государственных дел непременно вникал в заботы кухни и конюшни. Если и спал, то не более четырех часов, все караулил, как бы что не случилось помимо его воли на дворцовой площади и на заднем дворе.

Якупбек, бросив в казан готового плова изрядно горсть гашиша и облизав пальцы, после приветствий тут же решил назначить меня командующим своей конницей. Составлявшие всю его канцелярию трое секретарей поспешили, глотая слюни от обильных и утонченных запахов жареных по-пекински уток и томатных супов, сделать соответствующие записи. Но я твердо отказался, ссылаясь на свою все возрастающую склонность к духовным занятиям. Хотя Якупбек не умел читать, он часто произносил подходящие к разговору тексты из ал-Корана или куплеты из стихов богобоязненных персидских поэтов, языком которых владел свободно. Конечно же и здесь он не преминул показать свое красноречие мусульманина:

— И если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему, и полагайся на Аллаха. Так сказано. Хорошо, султан-казак. Но я не могу тебе, известному воину, не дать офицерского чина хотя бы для достойного пропитания. Здесь каждый может оскорбить своим невежеством или ради корысти человека благородного и даже знатного, если тот не имеет сабли. Прими хотя бы под свою руку пятьсот всадников и будь над ними пансатом. И будь свободен.

Любезность этого венценосного лицемера вполне оправдалась в его духе.

Я получил свободный ход только в его библиотеку и дворцовую мечеть, имевшую всего одну занятную достопримечательность: лестницу, ведущую в подземный тупик, замазанный голубоватой глиной. Я тронул ее рукой и на ней

остался след от моей пятерни, словно она только-только была нанесена на стену. А ведь пробирался я к ней через многолетнюю паутину.

Впрочем, такое отношение ко мне и понятно – является к тебе в дом известный авантюрист и мятежник и что от него ждать? Не коленно-преклонных же бдений и аскетического поста... Так или иначе, я добился своего. Сидел один среди пыльных книг и меня даже не расстраивало отсутствие среди них французского романа. Есть одно неоспоримое достоинство в том, что иные цари были безграмотны. Лишь только благодаря тому, что их чистый мозг не ведал какие книги следует сжечь, а какие нет, мы ещё имеем труды допророковских времен.

Пока я сидел и с важным видом разглядывал древние манускрипты с таинственными письменами, хан Якупбек, избивая ногами своего казначея, сам, красный от ярости, лишился чувств и скончался от удара. Без промедления его сыновья и правители городов кинулись воевать меж собой за трон, не в силах больше сдерживать наступавшую китайскую армию с маньчжурским генералом.

В доступных для моей головы текстах арабских и персидских авторов я нашел много любопытного. Не хотелось бы так вычурно излагать, но все же... Человек, потерявший нить своей жизни, прежде всего, обратит внимания на фразы, рассказывающие о дороге, на знаки, могущие быть истолкованными как путь. В древних сочинениях Рашид-аз-Дина, Джувейни и Шершеддина алс-Язди мне попались упоминания и даже описания подземных тоннелей, соединяющих как будто бы не только отдельные города, но и страны. Один из историков писал, что они служили для тайных проходов войск. Упоминался миф о том, как два с половиной тысячелетия назад на голом берегу Сырдарьи перед наступавшим войском Кира – Великого перса, в никуда исчез целый отряд авангарда согдианцев, словно провалился сквозь землю. А я на одном горном перевале когда-то встречал купца ягнобца, хваставшегося, что он знает тайные, скрытые караванные пути от Памира до Ташкента, в которых путника не застанут ни снег, ни пыльная буря, ни беспощадные разбойники. Теперь я склонен был ему поверить, так как нашел часть карты, где были изображены подземные лабиринты, расходящиеся от Отрара к Пышакты, Алтынтепе, Куйруктюбе и Сыгнаку.

Другой писатель старины называл эти ходы чуть ли не подземными мечетями, где располагались в нишах «кылует-и-гор» суфии и предавались религиозному экстазу или путешествовали от одних святых мест к другим.

От слуги, приносившего мне трапезу, я узнавал новости о том, что один из сынов Якупбека успел перебить половину своих соперников, другая же часть бунтовщиков перекинулась на сторону китайцев и последние победоносно прошли весь Восточный Туркестан. Бежавший из своей страны молодой хан настолько обозлился, что приказал в городе Янги-Гиссар перерезать всех китайских мальчиков, находившихся в услужении у разных лиц. А их оказалось не менее двухсот. Такое же глупое зверство повторил вслед за ним и его губернатор в Кашгаре, поставив всех нас в этом брошенном войсками городе в страшное положение. Теперь кашгарские дети на себе должны были, в свою очередь, ответить за все эти безумия и нам оставалось только постараться как-то защитить их. Сколько мог я вместе с андижанскими кипчаками удерживал ворота города. Они ребята отчаянные, смелые, последние тюркские казаки в первоначальном смысле – свободные воины, ищущие себе славу сами по себе. Эти эпитеты так же вполне оправдали их следующий поступок, а именно: настал час, когда они просто собрались и пригласили меня с боем вырваться на степные просторы, так как им стало в городе скучно. Я отказался, слабо надеясь хотя бы этим удержать их, но ветер несется туда, куда несется. Цитадель Янгишар уже была за нашими спинами захвачена вчерашними пленными китайскими солдатами, обращенными Якупбеком принуждением в ислам. Оставшись один, я, подчиняясь неясному внутреннему велению, пошел в мечеть испустился по тем самым ступенькам, уходившим вниз. Некоторое время я стоял неподвижно перед голубой стеной, перегородившей подземный коридор, затем с силой толкнул ее. Она не обрушилась, а разорвалась как ткань. Я прошел сквозь разрыв и оказался в подземелье. Я сделал по каменным плитам шагов сто и прошел через низкий свод. За ним я увидел самую настоящую дорогу, выстланную мелким песком. Высота прохода составляла метра два с половиной и ширина – полтора, так что по ней могли проехать рядом два всадника. Дорога уходила вправо и влево.

Ничем не объяснимый ужас сковал меня, с трудом я развернулся и пошел назад. Дойдя до выхода, я увидел в свете, лившемся откуда-то сверху, что разорванная мной перегородка затянулась чем-то вроде слизи. Можно было прорваться наружу, но там меня ждали только солдаты чужой армии и скорый надо мной суд. Оставалось только надеяться, что та дорога в конце концов выведет меня на землю где-нибудь за городом, ведь наличие такого подземного хода в любой крепости на случай осады вполне обычная штука. И мистика здесь ни причем. Я опять развернулся и зашагал в никуда.

Гладкие стены тайной дороги были скреплены обожженной глиной. Я шагал все время из тьмы в полусвет и снова в темноту. Наличие свежего воздуха говорило о том, что этот огромный лаз местами пробит до поверхности земли. Сумерки скоро стали привычны глазу и, кажется, я стал различать все мелкие предметы. Так я увидел в стенах разноцветные кирпичи, на которых встречались какие-то неведомые мне знаки, чаще – полукруг с черточкой. По этим стрелкам я и шел. Царившие в подземном пространстве колеблющиеся сумерки не позволяли понять: сколько же прошло времени с тех пор, как я очутился там. Возможно – час, возможно – целый день. Я не чувствовал усталости, но привычка отдыхать склонила меня сесть на песок. И только сейчас я заметил, что река песка подо мной течет. Надо сказать, что это необычное явление несколько меня не удивило, ну пересыпается песок и черт с ним. Последние несколько суток в осаде я почти не спал. Сквозь тяжело опустившиеся веки я увидел с высоты птичьего полета аул султана Тезека. Вот он сам. Кривоногого стоит перед развешанными на жердях подтекающими еще кровью кусками баранины и о чем то мрачно размышляет, мешая женщинам наконец приступить к варке еды. Рядом с его белой, семиканатной, но неряшливой юртой, стоит другая. Там живут его тетки и сестра – моя невеста. Она тоже выходит к кипящему на воле казану и, прикрывая платком длинную изящную шею, смотрит в сторону моего жилища. А ведь я там! Возлежу на кошке в неубранной постели и делаю вид, что пишу нечто важное.

Мне тридцать лет. Жизнь прописана, как теория. Итог: я сильно болен. Болит грудь и горло. На горло я мало обращаю внимание и лечусь прежде от болей в груди. Но вот горло разболелось так, что я едва могу глотать пищу, голос совершенно спал. Попасть в Верный, в крепостной госпиталь невозможно по причине отсутствия экипажа при трудности пути. Я отдал себя в руки аульного лекаря – невежды, который поит меня неизвестно чем. Но все же лучше, чем умирать, сложа руки.

По письму, доставленному мне уже в тезековский аул можно судить, что я после самовольного ухода с полей сражений за глиняный Туркестан сразу же оказался у своей невесты. И еще сообщал мне мой корреспондент: из Петербурга приехала комиссия для расследования инцидента нашего неподчинения генералу Черняеву в его победоносном походе на Ташкент и Кокандское ханство. К ее приезду Черняев взял у некоего манапа дикокаменных киргиз Сарымбека показания о том, что при походе на Аулие-Ату никак нельзя было обойтись без пушечной пальбы и якобы они, туземцы, сами нижайше просили генерала пару раз выстрелить из пушек по самым

враждебным и по-другому неприступным крепостям их самых злых мучителей. И вообще, Черняев назывался освободителем и благодетелем всей орды. Стоит ли удивляться тому, что этот местный вельможа черной кости был вскоре ташкенским генерал-губернатором Черняевым назначен на вновь введенную в этих краях верховную должность старшего манапа.

В общем, славный мне свадебный подарок!

В дикокаменной орде аристократического элемента не существовало исторически, точно так же, как и централизованного межродового управления. Там каждый род управлялся своим манапом. Случалось, правда, что некоторые манапы, сильные родовичами, успевали приобрести главенство, как Урман и Бурамбай. И хотя это было насилие, но люди эти имели несомненные достоинства, один – храбрость, другой – сильный ум. Назначение же ничтожного и известного своей лживостью Сарымбека, этого дикокаменного Черняева, в звание ага-манапа, возвело угодливое вранье в постоянно достоинство. Это уже само по себе ошибка и ошибка политического толка. Пользы мы от такого родового чиновника положительно не имеем, и, поддерживая его назначение, мы вредим себе, отталкивая от себя плебс. А главное – коренные народы новых земель от имперского народа. Когда-нибудь это аукнется бунтом, а то и похуже. Уже сегодня сами манапы недовольны – Мурад-Али и Чон-Карач ушли в Китай не от нас, а от восторжествовавшего Сарымбека, приступившего сразу же к продаже русских чинов в виде дипломов, купленных им самим прежде у своих губернских покровителей. Сверх того, ни один абсолютный монарх не делал такого насилия, как он. Избиения и рабский труд на него стал нормой. Он держал женщин под именем «подводные бабы». К умению плавать они не имеют никакого отношения, зато ими он угощает приезжих казаков и других лиц. Их, как не дико, используют свободно так же, как берут на время подводы с верблюдами и лошадьми. Такова нравственность этого господина.

Конечно, надо протестовать. Но легче всего снять с себя офицерский мундир, уйдя публично с заявлением с государственной службы, вернувшись в свое законное состояние инородца, несмотря на то, что в Сибири с инородцами делают все что хотят, разве что собаками не травят. Но вот вопрос, как затем стянуть с себя шкуру манапа Сарымбека, наличие которой среди наших остальных шести шкурах на благороднейших фигурах мы все, господа, со страшным негодованием отвергаем?

Удастся ли когда-нибудь хоть малость прожить свободным от всяких мундиров и лишних шкур разной окраски и толщины? Утешает ли то, что на

встречу с Господом Богом, которая лично для меня уже не за горами, я явлюсь в костюме первозданного Адама, голенький с фиговым листочком. Правда, опять же не свободным окончательно. Придется ждать дня Страшного суда, а это сколько?

Плакаться, между тем, особенно не стоит. Я всегда имею возможность вернуться в Омск, к тем же врачам. Надо бы все же попросить выслать рвотный камень или что-нибудь другое, чтобы вызвать отделение в груди мокроты. К слову есть там и особо важные персоны, могущие меня и в чине повысить, надо только подать оправдательную бумагу от докторов. И тут мне сообщают, что ко мне напрашивается тот подлый и мелкий субъект по имени Сарымбек. Прибыл знакомится со мной! Господи, ну за что же мне это? Я и не подумал его принять. Глядя на меня, отказал ему в гостеприимстве и султан Тезек, хотя был весьма недоволен сложившейся ситуацией, что вполне понятно. Во-первых, это покушение на национальные традиции встречи визитера, во-вторых, ему жить во соседству с этим новоявленным дикокаменным ага-манапом.

А вот рука выводит послание к моему отцу: «Устал, нет никакой силы, весь высох, остались одни кости, скоро не увижу света. Мне больше не суждено повидаться с моими дорогими родными и друзьями, нет для этого никаких средств. Это будет мое последнее письмо. Прощайте, обнимаю всех. Приезжайте в Джетысу, увезите к себе мою бедную Айсары, не оставьте ее без внимания и заботы».

А затем свои похороны и как-то сразу же сводчатую гробницу из каленого кирпича. Айсары у могилы не ломалась, не хныкала, что мне пришлось по душе. Наконец-то я заметил, какое у нее доброе лицо.

И мой брат Якуб, он важничает перед родичами султана Тезека с их нецивилизованной, по его мнению, обстановкой. В юрте же Якуба шелковые одеяла, на кереге висят шашка и револьвер. У порога выставлены блестящие кавалерийские сапоги и модные туфли, и прочие принадлежности путешествующего щеголя. Зачем он здесь? Ах да, я ведь сам просил приехать и забрать в дом отца мою жену... теперь, надо, думать, вдову. Якуб принимает у себя секретаря губернатора Дюгамеля, тоже немца. Я встречался с ним, добрый малый. Когда-то он брезговал пить кумыс, сейчас вовсе дует его из чаши карельской березы. К тому же закуска, составленная из фисташек, печенья чаг-чаг. Не отказали они себе и в мадере и красном вине. Они только что вернулись, постреляв по целям из луков и винтовок, и теперь живо обсуждают свою забаву. Ну же, вспомните обо мне! Нет, штабной немец

начинает расспрашивать о горном проходе, который ему предстоит завтра нанести на карту...

Прадед мой, хан Аблай известен в русских летописях XVIII века как царевич Сибирский, а в китайских, как Туркестанский князь. В самих же преданиях киргиз-казаков образ Аблая гораздо значительней и окружен поэтическим ореолом, ибо век его ханства является веком киргиз-казакского идеализированного рыцарства. Его походы, речи, подвиги служили и служат сюжетами поэм и музыкальных пьес и в то же время непонятно как, каким образом этот хан, действуя деспотически против свободных льгот кочевого демоса, освященных временем, умел облечь свои действия в такую форму, что потомки считают его святым, воплощением духов, а имя его боевым кличем.

Смутное время первых десятилетий XVIII века было ужасным в жизни киргиз-казаков и оно же дало Аблаю возможность выказать свою храбрость, сметливость и ум самым блестящим образом. Джунгары, волжские калмыки, яицкие казаки, башкиры и среднеазиатцы с разных сторон то со скорой хваткой степных волков, то с персидской медлительностью теснили их улусы, отгоняли скот, уводили в плен целыми семействами. Один родоначальник, кинувшийся от отчаянья под Оренбург, сравнивал печальное положение своих братьев с судьбой сайгака, гонимого целой сворой гончих. 1723 год остался особенно памятен киргиз-казакам своим роковым характером. В этот злополучный год, после зимы с бешеными ветрами и убийственной гололедицей, вторгся в Киргиз-Казакстан джунгарский хонтайши Галдан-Церен с несметным войском и пушками, отлитыми на металлургических заводах русского Алтая.

Земледельческие и промышленные государства так стеснили за два минувших века кочевую степь, что счастливые переходы по ней времени Марко Поло чуть ли не из Венеции в Пекин через Ходжи-Тархан, то бишь – Астрахань, канули в невозвратное прошлое. Последними крупными перекочевками были исход кыргызов из Сибири в Алатау и зайсанских монголов на запад за Волгу, впрочем последние за предоставленные им земли тут же под именем калмыков, причисленные к конным полкам России, потеряли вольность. В центре Азии, как в казане, остались только два кочевых народа, составляющих несколько миллионов свободных номанов, а кочевые степи все сужались. И значит, кому-то из них суждено было исчезнуть, что и случилось в конце этого страшного века с джунгарами. В это время и обращает на себя внимание молодой султан Аблай, Участвуя во всех битвах и переходах

сначала как рядовой воин, затем как батыр, он показывает подвиги необычайной храбрости и хитрости. Его полезные советы и стратегические соображения устанавливают за ним имя Мудрого. Власть Аблая в Средней Орде была законна, в Младшей Орде скоро была упрочена надежно, и Большая Орда (нынче в наших бумагах – уйсунские волости) признала также его властелином. Джунгарское ханство, войско которого в течение десятилетий Аблай упорно и успешно вытеснял с земель своих, уже в своей Джунгарии, попав в беспощадный капкан, исчезло.

Ушедшие на запад джунгары-калмыки хотели было вернуться в опустевшие родные края, но сгинули на когда-то свободном для них пути: в то время женщины-калмычки широко вошли в моду у воинов Аблая за покладистость и ширококостность. У самого хана из дюжины жен половину и причем любимую составляли калмычки. Яицкие казаки и башкиры, обессиленные пугачевским бунтом и вновь поставленные под казарменную руку Санкт-Петербурга, не делали более самовольных вторжений. Во враждебности к киргиз-казакам оставались только буруты, отчасти среднеазиатские эмиры, стремившиеся навечно закрепить отторженные от киргиз-казакских султанов города Туркестан, Сузак и Сайрам и прочие по Сырдарье.

В 1770 году Аблай напал на бурутов около реки Туро и преследовал этих горцев – каракиргизов – до Чуйской долины. И там состоялась настолько кровавая битва, что река, у которой она произошла, с тех пор и именуется Красной, а сама битва – Джалаиловским побоищем.

И хотя все буруты в одном союзе бились против Аблая, они потерпели такое поражение, что от поколения толкан рода сулу остались только 40 человек. И снова Аблай покоренных насильно делает киргиз-казаками, в Среднем жузе до сих пор живут целые рода бывших бурутов Жана-кыргыз и Кыргыз. Такова была его политика без сомнения, имперского характера, но Аблай прекрасно понимал, что времена Чингисхана и Хромого Тимура давно канули в лету, и после войны с Ташкентом и Ходжендом, в которой он проник до самого Джизака и вернул своему ханству семь городов по Сырдарье, а Ташкент заставил платить ежегодную дань, он затеял долгую и хитрую дипломатию с двумя настоящими Империями – Россией и Китаем.

В течение всей своей власти балансируя между ними, все время выдавая согласие прийти в объятия то одной Империи, то другой, он смог остаться до самой смерти вполне самостоятельным монархом. При этом он никогда не упускал случая вмешаться и во внутренние дела этих могучих соседей. Так вслед за китайской армией, устроившей настоящее истребление джунгар в

своей Новой провинции – Синьцзян, влез туда и многие рода киргиз-казаков расселил на опустевших землях, особенно не опасаясь об отношении к сему произволу самого Пекина.

А в русской истории Аблай известен еще и тем, что открыто поддерживал опаснейшего самозванца Пугачева. Мы знаем о двух письмах лже-Петра Третьего хану киргиз-казакскому Аблаю, где он за помощь ему обещал, когда он здесь всю да и Сибирскую губернию завоюет, то отдаст хану всех сибирских дворян в подданство. Аблай же писал Пугачеву, что ходил, мол, с сорокатысячным войском к Звериноголовской крепости с таким намерением, чтоб на нее напасть и три крепости уже выжег и людей в полон набрал.

Под конец жизни он построил под свою ставку на реке Талас городок, но, оставив в нем своего сына с военным гарнизоном, а другим сыновьям, которых было семьдесят, выдел улусы во всех трех жузах, он по примеру своих дедичей удалился в Туркестан на покой. Ни один киргиз-казакский хан не имел такой неограниченной власти ни до него, ни после. Он первый предоставил своему произволу смертную казнь, что прежде производилось не иначе, как по решению народного сейма. Дед его, именовавшийся также Аблаем, был владельцем города Туркестан и происходил из младшей линии дома Чингисхана. Он также славен был воинскими доблестями, но остался в летописях с прозвищем не более как Кан-Ичер – Кровопивец. Сын его Уали Красивый и этой далеко не блестящей славы отца не в силах был поддержать, и один из его соседних владельцев, взяв Туркестан, зарезал его и только благодаря одному из дворцовых рабов не оборвалась родословная этих туркестанских султанов.

Безымянный раб этот, высокой обязанностью которого было вносить в указанные часы в покои султана в медном кувшине теплую воду для омовения, был рабом в самом достойном смысле этого слова. Чужие воины бережливо проломили городские ворота, в торговых кварталах грабили умеренно, во дворце убивали скоро, а он шел себе спокойно размеренным шагом и нес воду. Впрочем, захватчики видели, что это раб, делающий свое дело, и не обращали на него внимания, как если бы шел осел или другое какое-нибудь полезное животное. Когда же он вышел из дворца, то снова никто не остановил его, полагая, что нет ничего удивительного в том, что в опочивальню султана вошел раб с кувшином, вышел опять же раб с кувшином. Так на спине раба под его мешковатым халатом выехал из своего потерянного города в пустыню Мойынкум юный султан Абилмансур, чтобы стать когда-то белобородым ханом Аблаем.

Вот такова была эта личность. Каков герой! Если и писать роман, то о нем. А вот и начало героической драмы: раб спасает своего господина...

«...и когда губы забыли свежесть влаги и ноги застыли от сгустившейся в жилах крови, и в кувшине не осталось воды для спасения, и разум просветлел от близости смерти в пустынях, лишенный трона царевич воскликнул, простирая к небу тонкие руки: «Гибель моя – то милость Господа. Он дает ее кому хочет!»

И тогда встал над коленопреклонившей августейшей особой раб его и воскликнул: «Ты, венценосный отрок, произнес слова Пророка, я ждал их, чтобы по воле Всевышнего раскрыться наконец перед тобой. Я не раб, а имя мое – Абу-л-Фатах, прежде торговец, но не прибыли ради, а ради святого дела платить как можно больший зекат и тем обрести большую заслугу перед Аллахом. Во время своих купеческих странствий я щедро раздавал милостыню и насыщал хлебом и питьем неимущих. В кратковременные часы отдыха в своем доме я каждый вечер читал Коран, пять раз совершал омовение и при каждом из тридцати двух коленопреклонений я в молитве читал суру «Йасин» и однажды почувствовал святость и ночью во сне имел откровение перед Пророком, который сказал мне: «Теперь настало время испытаний. Отправляйся в страну тюрков и, преодолевая в себе гордыню и влечения к приятностям, стань рабом тому, чье имя будет произнесено». Я в ту же счастливую ночь отправился в тот край, указанный мне, и провел шесть лет в воздержании и умерщвлении тела. И однажды вновь увидел Пророка во сне. «Восстань, – сказал мне Посланник Аллаха. – Он родился, иди и ищи. Имя его Аблай». Радость охватила меня, и с тех пор я со священным трепетом служу и следую за тобой. Теперь же мне осталось выполнить свой последний долг. Я сейчас умру, забросай же тело мое камнями и песком и жди».

И ходжа-раб лег на песок и тихо почил. Аблай, как и велено было ему, забросал тело отошедшего камнями и песком, и вдруг из его преданного земле праха выросло дерево, с ветвями, провисавшими от спелых и сочных плодов. Отведал их Аблай, и разум его вернулся к заботам земным, и кровь вернулась из одеревеневших ног в сердце, и необыкновенная свежесть наполнила его. И встал он тогда и совершил...».

«...совершил...» , – записал писарь последнее слово в главе первой жизнеописания властелина ханства Киргиз-казакского, государя белого и великого Аблая Мудрого и долго еще прислушивался к замолкшему хану, не отводя благоговейно от уст его огромное ухо, а перо от терпеливой бумаги, мысленно повторив свое обычное: «Ври дальше, старый дурак!»

Однако Аблай еще долго неподвижно молчал, затем встал со своей обитой китайской тканью величественной софы с турецкими подушечками и, по-старчески кряхтя, прошаркал к писарю, взял его вздрагивающее и услужливое ухо железными пальцами и плюнул в слуховую дыру, а мочку и козелок, плотно смяв, вогнал вслед.

Не бывало никогда ходжи Абу-л-Фатаха, посланника Пророка. Существовал когда-то просто раб мужского пола, лет – средних. Его и вспомнил сейчас впервые за полвека хан, вернувший себе наследный родовой Туркестан, из которого пятьдесят лет назад бежал тринадцатилетним через пески Мойынкумы к родичу своему Абулмамет-хану с единственным кувшином воды, навешанным на шею тяглого раба. Он явно неудачно выбрал раба в бегство, с ним было хлопотно, и хотя невольник был достаточно силен и большую часть пути пронес его на спине, однако много пил, и на последнем ночлеге обнаружилось, что воды в кувшине осталось всего ничего. Тогда Аблай велел рабу лечь в песок и зарезать себя, что раб, кривя ртом и подвывая, не сделал. Пришлось самому исполнить сие. Можно было бы просто прогнать его в пески, но зачем же зря заставлять мучиться животину? Изнуренный жаждой, Аблай, однако, после этого не поспешил допить оставшуюся воду, а поволок глиняный сосуд дальше за собой и через час увидел, что почти вышел к реке, неглубокой, но и не засоленной. Аблай сел у мелкой волны, хотел было зачерпнуть из нее ладонью, но вдруг передумал и допил ту тухлую водицу, которая еще плескалась мутно на дне кувшина. Ровно девять глотков.

Отца, Уали-султана, и ту женщину, родившую его, мальчик видел. Об этом ему иногда говорила ужасная старуха с титулом редким – Его Бабушка.

Старая карга пребольно щипалась, ловко, не увернешься. Из всех учителей наследника она отдавала предпочтение муалиму математику с его дурацкой пирамидой. Сам муалим никаких толкований этой штуке не давал, а вот Его Бабушка не оставляла пирамиду в покое. Как только она ни вертела ее! Тыкала пальцем в вершину и уверяла, что это пик горы Казыкурт, на которой после потопа сохранил себя Ной с ковчегом, или указывала на квадратное копытце этой геометрической фигуры и твердила малышу: вот видишь, с этой плоскости начинается жизнь и суть ее начала – удивление явившегося в этот мир всем его четырем углам. Это место для рабов, они не знают никакого иного чувства, кроме удивления, и высшая точка волнения для них опять же удивление, приносящее им и слезы и смех. Тут же она незаметным кивком вызывала огнеглотателя, и когда мальчик в удивлении замирал, увидев вырвавшееся пламя из рта безбородого

болвана, тут же следовал щипок до синяка. Затем снова показывалось маленькому Аблаю нечто поразительное, но мальчик знал уже, что последует щипок, и чтобы успеть радостно удивиться, отскакивал от старухи, но Его Бабушка ловко и длинно выкидывала вперед босую сухую ногу и жестоко щипала его пальцами стопы. Так она отучивала его удивляться, и наследник сделал первый шаг, поднявшись над плоскостью рабов. Затем пошли другие возвышающиеся к острию пирамиды человеческие чувства, через которые он должен был пере шагнуть, дабы иметь дух возвышеннейший, дабы свершить то великое, что вписано в книгу судеб Всевышним и подчеркнуто Его Бабушкой.

Вот до уроков родственной любви она его не успела довести, умерла во время месяца поста Рамазана, а через неделю после ее смерти Туркестан и был взят эмиром-соседом. Так что пришлось Аблаю через этот срез перебираться самому. Став сиротой, он не нашел тепла знатных родных за горячими песками Мойынкумов, и, отчаянно голодая, пошел в услужение к какому-то глупому до животного состояния баю. Но гадкая баба этого богатея и не думала его кормить, не позволяла из своей посуды даже выпить сырой воды, а из юрты гнала, не разрешая пригреться и у порога. Тогда он научился есть корни трав, пить туман и как кони, к коим был приставлен, спать стоя. Что ж после этого удивительного в том, что еще юным безызвестным воином на краденном у этого дурака бая коне он поражал всех в походах безразличием к еде и открытыми глазами во все часы суток. Он выжил, и дальше бабкину пирамиду он усвоил легко и равнодушно. Что чувства потери, обездоленности, мести, власти, да и страстной любви и отцовства тоже, если где-то уже у вершины прожитой им жизни даже лесть не подогнула его под себя! И над ней он встал, как и над другими невольно пройденными им ступенями: и простолюдина, и батыра, и бека, и избранного единогласно всем народом хана.

Как-то любимец его, бард-жырау назвал его великодушнейшим государем среди всех великодушных, уговаривая не губить аулы строптивного алтайского владельца в страшном гневе своем, и он разорил людей алтайца без гнева. А ведь этот вольный стихоплет иногда умел уболтать его. Как хохотал однажды хан после какого-то неудачного столкновения с китайцами, у которых после гибели джунгар разгорелся аппетит и на киргиз-казаков! Тогда на позорном привале от скорого отступления поэт долго и нагло наигрывал на одной струне домбры китайскую мелодию, и, когда же Аблай поднял над ним плетку, запел:

Не ищи ума при бегстве.

Будь хладнокровен и спокоен.

Бегать хорошо лишь в детстве.
У китайцев клячи, а не кони.
Знай же, воин,
Хан наш не бежал, и не пришлось
Узнать ему подобное словечко.
Затапывая китайцев, как овечек,
В азарте он передвигался просто вкось!
О, хан мой, Абылай, широкий станом,
Атакою своей китайцы неучтиво
Лишь оттянули лука твоего тетиву,
Что гибок, как хребет кулана.

Престарелый хан хотел было просмотреть последнюю запись, сделанную писарем, чтобы восстановить в памяти, о чем же он вот-вот наконец-то вспомнил... Или о ком? Но писаря уже, как спеленатого младенца, вынесли вон с его свернутым ухом и бумагами.

Он хотел вспомнить! — это совершенно известно.

Но тут же хана всего, от выбритого черепа до мозолистых пяток, протянуло болезненной тревогой, занывшей как неимоверно многолетняя боль в мелкой косточке, о которой он никогда не подозревал, хотя, возможно, которой и никогда не существовало в теле.

Все чувства испытал и презрел седобородый хан в своей день ото дня только все возвышавшейся, как пирамида Его Бабушки, жизни, кроме этой неведомой ему никогда прежде болезненной тревоги, только она, кажется, принялась глумиться над его душой. А мужественная душа хана была, естественно, очень неопытна в таких делах и смутилась до отчаяния. Да и разум не мог найти возникшему неприятному чувству объяснения. Ведь ничего сейчас не могло обеспокоить сильного хана. Все он устроил в своем государстве, даже своих жен, как возможно было подальше от себя. И сибирские наместники Екатерины II отказали мятежным султанам в жалобах на него как на похитителя власти, и Император Поднебесной вернул со знаками его власти сына с посольством, и авганский шах, слава Аллаху!, отказавшись от своей миссии исламского освободителя, полез за алмазами в Индию и там застрял. Что же еще? Ничего, вздор. И тревога его эта пустяшна, как сквозняк. Стоит только плотнее прижать двери. Он прошелся проверить. Нет, не дуло. Тогда он решил, что все это ему мерещится от мышинового шуршания его парчового халата.

Всю свою жизнь

он отдавал предпочтение сукну из верблюжьей шерсти, и вот надо же, задумал облачиться под конец соответственно своему венценосному сану! Аблай скинул с себя парчу и вернулся на мягкую убаюкивающую софу, а вот покой не поспешил за ним. Тогда он вскрикнул и велел набросить на шелковое ложе пропитанную конским потом попону. Опять прилег, и опять тревога не исчезла. Больше того, боль, ему казалось, грудной косточки, усилилась до того, что даже терпкая вонь любимого коня не отрезвила его от этой никчемности душевных треволнений.

Хан Аблай никогда не занимался всякими там воспоминаниями своей жизни, но держал свою память, как все же нужный на всякий случай боевой заряд, в полной сохранности. И сейчас под вдруг навалившейся на него безжалостной немощью он решил кое-что вспомнить, но память в нем, как сухой порох, вспыхнула разом и осветила слепящей вспышкой всю его пирамиду жизни изнутри. В ней, как в китайском фонарике, задвигались какие-то силуэты людей, животных, строений, они множились, и сцена сменяла сцену с калейдоскопической быстротой. Ничего нельзя было разобрать и понять, но одно совершенно четко увидел хан: его пирамида жизни, которую он, казалось бы, завершил полностью до конца и этим возвысился над всеми смертными, оказалась усеченной.

Но все что ни происходит, решил хан, к лучшему. Мысль не новая, но верная. И он сказал: «И это мое!», тем самым покоряя в себе последнее еще не подвластное ему человеческое чувство – чувство болезненной тревоги.

Ноющая где-то в груди неведомая косточка и должна была занять собой вершину его легендарной пирамиды, но этого не произошло. И понятно – прежде чем стать хозяином того или иного чувства в себе, по меньшей мере надо знать, отчего оно возникло в тебе. А хан в этом своем, казалось бы, последнем ходе оказался бессилён.

Он так и не мог понять, отчего в нем эта мучительнейшая тревога. Ведь, как уже думалось, все у него ладно!

Хан застонал.

Вот так в первый и последний раз он стонал в пору первой зрелости, когда он еще в звании батыра зарубил в бою наследника джунгарского престола и был после небывалого давления выдан благоразумными султанами и ханами Галден-Церену. Нет, не предательство опять же кровных родичей вызвало в нем те стоны, а глаза матери убитого им принца. Его каждый день с восходом солнца выводили из зиндана и ставили перед черноволосой женщиной. И она так же с самого восхода солнца до заката, не отрывая глаз, молча смотрела на

убийцу ее единственного сына. И все. Ни угроз, ни пыток. Во взгляде этой бабы не было ни злобы, ни презрения, ни проклятия. В первые дни это вызвало в юном батыре усмешку, сменившуюся затем раздражением. Он перестал улыбаться и принялся кричать и оскорблять ее. Затем он затих снова, стал думать. Ничего не придумал, только теперь делал все, чтобы охране не удавалось вывести его из подземелья, рвал жилы зубами на своих руках, бился головой о каменный пол, но его все равно выволакивали к той, под чьим взглядом больной колдуньи против воли его и разума все время хотелось стать меньше ростом. И как бы он ни противился этому, с каждым часом он становился все меньше и меньше и уже почти превратился в карлика, а сердце его оставалось крупным как прежде. Ребра его стали сдавливать сердце, но оно по-прежнему билось сочно, резко, а суживающиеся безжалостно обручи ребер давили, давили, сердце пыталось протиснуться на волю через гортань, но и глотка Аблая сузилась, как жесткая соломинка... И такая боль, такой ужас охватил тогда Аблая, что он застонал. Тогда Аблай стал резать кожу на своей груди и вставил меж ребер своих серебряные китайские квадратные монеты. Дышать стало легче, и он уже мог посмеиваться над калмычкой, пытавшейся своим колдовским взглядом свети его с ума: «Эй, тетка, где твой сынок Чарча? Давно его не видно. Не заблудился случаем на моих землях?». К этому времени задвигались вокруг восходившей фигуры султана и полководца Аблая дипломаты тех двух Империй, между которыми потом ему суждено будет балансировать как на канате. И Галден-Церена с предельной неохотой отступился от него, отпустив скрытно на волю. Аблай с головой укутался в потрепанную попону и в тот день и на следующий и еще семь дней не вставал. Он стал болен.

Нет, Аблай не лежал беспомощно, питаясь запахами попоны, хранившей в себе бег жеребца, пыльные смерчи и истошные боевые кличи, он все-таки в ночь после девятого дня встал. В ту же ночь вновь бежал из Туркестана, не выбирая пути, через пески Мойынкумов к той самой реке Тала и лег изнуренно Ставкой на ее берегу.

Естественно, такой исход смутил всех, никто не знал причин. Ждали скорой войны, набегов, ждали, ждали, нет, не случилось. Принялись ждать конца света, но это оказалось очень долго и главное совсем страшно. Как же так?! Было все хорошо: смирный скот стоял над пастбищами, народ мирно пас скот, над народом стоял давший ему мир пастырь. Лучше бы этот патриарх свято скончался, чем бежал от них, думали люди. Выбрали бы другого хана. Хотя... Если до Аблая было три хана, то уж после него будет девять и еще парочке самозванцев место останется. И такая неразбериха опять пойдет.., которую,

говорят, в одной древней и давно исчезнувшей богопротивной стране называли демократией.

Хотя бы поговорил он с ними, с верными подданными, или приказ какой-нибудь дал, что ли, а потом уж валялся бы там себе в удовольствие... Но проходили недели за неделями и никто не был ни призван, ни допущен в новую Ханскую Ставку. Наконец народ, пришедший в окончательное смятение от страха и разнодумий, так отчаялся, что, вытолкав вперед с десятков беков, биев и султанов, пробился без высочайшего позволения дерзко в его отшельническую обитель с единственной целью: просить его воротиться паки взять свои государства на любых условиях: если есть изменники и ослушники, то на них опалы класть, а иных и казнить, имущества их брать в казну и чтобы никто ему в том не мешал.

Притащились с дрожащими коленками и увидели хана своего одряхлевшим и измученным духом донельзя и поняли, что приди они к нему часом позже, случилась бы такая беда... Такая беда! И что уж совсем страшно, никто не в силах был догадаться, какая беда. Правда, кто-то сказал: да не будет никакой беды. Тут его чуть было не разорвали, но он успел отговориться: я, мол, имел в виду, что такая беда, какой и быть даже не может! Ладно, вырвали ему ус и отпустили, а вельмож своих затолкали дальше в трехшатерную юрту хана.

Аблай немо оглядел ввалившихся к нему степных сановников, не узнавая никого и не понимая зачем они здесь. Особенно непонятен был ему ритуал загибания пальцев, словно его куда-то поднимали: ты, хан, повел народ за собой, ты дал ему радость, вознося тебя, он гордится тобой, ты дозволил народу кормиться под своею дланью, теперь, слава Аллаху, в ось государства вставлено тобой последнее четвертое колесо, ты дал нам страх лишиться тебя. Ты как всегда оказался мудрее всех, ты прав один, но дозвожь хотя бы издали иногда зреть тебя, а то от того, что границы замиренны, мы, не занятые ратными делами и скорбными заботами, от невольного дикого вольнодумства, что заводится как червь в стоячей воде, еще натворим, накуролесим, набедокурим Бог знает что! Ответа не последовало.

Султаны, беки, бии, не смея оглядеться, все же переглядывались, от молчания хана затрепетали еще сильнее и чернее. Они поняли, что попали в самое скверное положение, которое могло с ними случиться, уклонение от них хана мгновенно превратилось в невозможность теперь им уклониться от него. Ну чего они притащились, кто их звал, кто требовал их?! Мало ли народ толкал, всегда можно при желании и уме самим растолкать эту толпу. Сидели бы в своих юртах да чай гоняли. А теперь? Хан не слышит их, но видит. Не понимает, но слышит. Не видит, но все понимает!

Неведомо как они догадались, а впрочем, им не оставалось другого выхода, и они, чтобы хоть как-то перескочить через разверзнувшуюся под ними пропасть, воспользовались древней степной хитростью. Вот как бы ехали по делам своим, но мимо проехать не могли, убоявшись этим оскорбить встречное кочевье. Расчет был верен, будь Аблай хоть трижды хан, трижды велик, трижды грозен, но древние традиции никто еще не мог полностью смести. Гостей не убивают. Так что им ничего от него не надо, они пришли без всякой прямой или задней мысли и в минуту эту, перед тем как двинуться, поблагодарив за гостеприимство, дальше лишь ведут обязательные в степи беседы о том, о сем.

– Да.., – протянул срывающимся голосом один из биев, как бы продолжая естественную паузу, а не ту жуткую немоту. – Не стало достойных внимания новостей. Что сегодняшние наши заботы, по сравнению с теми временами, когда гибнул в крови наш народ, и по велению божьему и по зову своей благородной печени, оставив тепло и прочность родительских стен, выехал из Туркестана благороднейший султан Аблай, чтобы стать над нами ханом и этим спасти нас. А чтобы враги от страха не поспешили довершить свои злые дела и скрыться, выехал он тайно и лишь в сопровождении своего дядюшки Ураза. И по тем же причинам он решил некоторое время пожить под видом табунщика у бая караульского рода Даулетбая и приглядеться к тому, что и как сложилось во всех несчастных трех жузах. И вот баба Даулетбая вскоре заметила, что молодой табунщик никогда не просит пищи, пока она сама не подаст, и что даже тогда берет не охотно, а из не ополощенных при нем же чашек не пьет совершенно. Никогда, даже если очень усталый, не садится, как прочие работники, на голую землю, а с солнцем заговаривает как с товарищем, а с месяцем, как со слугою. И поспешила она это сказать своему мужу. Взглянул Даулетбай на пришедшего юношу и сам не зная почему, тут же подарил ему лучшего коня из табуна знаменитого Чалкуйрука, чей хвост как пламя. На нем в час нужный и отбыл молодой султан к дяде своему хану Абулмамету, который ждал его нетерпеливо, как спасение, и на нем же составил первое звание свое батыра и уважение всех киргиз-казаков». «Истинно так!» – вздохнули с облегчением остальные, закивали бородками, уже удобнее усаживаясь в седла внимания в караване разговора.

Аблай же так и не понял, кто же это такие и зачем они так громко говорят, весь окостеневший от так и не стихнувшей в нем тревоги.

Хотя скала молчания хана и продолжила нависать над вельможами, но уже появилась надежда у них потихонечку пятясь назад выбраться из-под

нее. Второй оратор, принявшийся дальше убаюкивать льва, начал проникновенней и тоньше.

Глубокомысленно вздохнув, он изрек:

– Да, каково светило, таковы и звезды вокруг него, – и как бы желая указать на звезды, пришедшие к светилу и при этом как бы сам не претендуя на место в столь великолепной плеяде, он скромно отступил за их спины. – Скажу вам я, высокочтимые, о Бухари, истинном барде и преданнейшем слуге и соратнике нашего великого властелина. Раз направил Аблай-хан воинов своих пресечь проступки заносчивого Эрденэ-батыра и в гневе на него так был недоступен, что никто не мог решиться высказать словечко в пользу обреченного виновника. Тогда по просьбе народа Бухари-жырау явился перед очами Аблая Мудрого и затрубил так: «О, Аблай, Аблай! Подобно ари и гури – сферам абсолютного пространства, возносится за седьмое небо и соперничает с ним твое великодушие. Не помещаются в пяти вратах добродетели толпы рабов твоих – отпущенников, не пустеют все дороги великодушия от прощенных пленников твоих. Перейди, если это так важно, хребет Алатау, но там потуши гнев свой. Если потушишь, то не придет ли с восемьдесятю тюками даров Эрденэ называемый, твой пестрохалатный раб сам».

– Это твоя единственная просьба, Бухари-певец? – спросил его тогда раздосадованный помехой хан и услышал почтенное подтверждение и еще более утомительное продолжение:

– Перешел Аблай-хан Алатау, потушил в снегах гор гнев свой и тут же радостный Эрденэ поспешил лечь перед ним. «Я прощаю тебя, – произнес Аблай-хан. – Но разорю во всем моем страшном гневе людей твоих со всем скотом и семьями, ибо о них никто меня не просил!». Услышал это, Бухари-жырау заплакал, не смея больше раскрыть уста. Но Аблай-хан посмотрел вокруг на поникших головами людей и воскликнул одно: «Прощаю и вас, но гнев мой носите на затылках своих, и не идите более за такими, как этот лежавший в пыли прохвост!» Так неимоверно милостив был и есть наш хан».

– А вот что ответил, высокочтимые, – подхватил сеть словоблудия третий посланец народа, но уверенней и даже как-то задиристей, считая, видимо, себя уже почти праздным собеседником хана. – Однажды Бухари-жырау в песне своей, когда светлейший Аблай забеспокоился о судьбе своих двух батыров, ушедших в походе вперед для разведывания джунгар: «Джанатай-батыр пройдет через Талкын, батыр Богембай, как гордый акын, путь только свой изберет, за Кульджаном улусы пройдет и тот край для тебя оторвет и в придачу

тебе, Аблай, привезет чужестранную птицу – белолицую девицу». «Я рад за Богембая так, что темя мое от радости задевает небо, – воскликнул тогда Аблай. – Но пусть оставит девицу себе, если батыр мой Джанатай один остался, у крепости Талкын проходы тесны и опасны: скачем же на Талкын!». Что говорить, никогда и ни за что не бросал соратников своих наш хан. Мы за ним как за каменной стеной!

За этим достойным вполне откровением следовало султанам, бекам и биям еще кое о чем легко посудачить и какой-нибудь фразой перейти к благодарностям за прием да откланяться, но вот четвертый гость, вспотев обильно от тяжелого напряжения своей мозговой массы, с первых же слов сбился, не нашелся и вновь стал упоминать имя Аблая прямо:

–Проклятый Галдан-Церен, узнав о смерти своего любимого сына, приказал схватить виновника, кем бы он ни был и где бы он не находился. Сто девять походов совершили калмыки и только на сто десятом удалось им наскочить на батыра Аблая, спавшего в горах после удачной охоты. Так спящего они его и схватили. Схватили и привели к Галдан-Церену. И на вопрос: «Как смел ты убить сына моего?», Аблай отвечал: «Обвинение пало на меня, а убит он был народом, через меня только исполнилась воля моего народа над сыном твоим Чарчем». Галдан был так доволен этим ответом, что несколько раз повторил лишь: «Мон, мон», и велел с почетом отпустить Аблая».

Ничего не понял Аблай в речи этой толпы, только слышал «бу-бу-бу-бу» и, не видя их четко сквозь застилавшие его глаза слезы, он мертвой хваткой балхашского тигра, уловив запах человечины ноздрями, цепко схватил ближайшего к нему посланника за бобровый воротник и закричал: «Болтать?! Вздернуть его, дурака потливого!» Отправленный в петлю простейшим жестом бек хотел было отговориться, в отчаянии заорать: «Не я, я не болтал! Я как раз-таки не сказал ни слова!», однако то, что и он вспотел ужасно, так спутало его сознание виной и с его стороны, что через несколько минут он висел на перекладине меж четырех горбов пары бактрианов, смотревших на него с природным презрением, что всегда дополняло высокое достоинство этих животных.

Изгнав незваных гостей, Аблай вдруг с облегчением вздохнул. Вздохнув, поднялся, прошелся, задержал дыхание, повертел с хрустом в затылке головой, задержал дыхание и еще несколько раз выдохнул зацветший воздух своего дыхания. Левой рукой он с силой потолкал свою грудь, а правую сжал в кулак, и ему показалось, что еще чуть-чуть и он схватит вьевшуюся в него тревогу под уздцы и выдерет боль эту, наконец, из себя. Однако он снова не смог вспомнить,

как и последнюю фразу, продиктованную им писарю, с чем же связана эта уверенность в скором избавлении. Что-то очень важное произошло вот-вот только.

Хан вызвал цирюльника, предполагая, что свежевыбритая голова сообразит скорее, но нет, она не отзывалась на заботу о ней. Зато все хорошо помнил брадобрей. Аблай тут же велел определить и привести к себе всех султанов, беков и биев, бывших утром у него. Они явились, но теперь не раскрывали рта, словно дали обет молчания на святой книге. Тогда хан начал прямо допрос, те принялись клятвенно отнекиваться, но постепенно выяснилось, что «да», кто-то все же говорил что-то, но, к сожалению, скоропостижно умер, а они, ну, совсем ничего не помнят.

– Я объявляю, что тот, кто говорил мне то, что я хочу услышать – жив и к вечерней молитве пусть придет и скажет, – мягко не согласился с ними Аблай.

Сановники вышли от него вновь опечаленные и бродили по Ставке как связанные овцы. Пока не наткнулись на Бухари-жырау. Стихач и балалайщик лежал пьяный бузой в юрте у поваров и долго, сочувствуя, не мог понять, отчего так горько рыдает у его плеча степное барство, и время от времени тоже жалостливо всхлипывал вместе с ними. Постепенно, отпаивая любимца хана крепким наваристым бульоном, заправленным кислым творогом, они смогли поднять Бухари.

– Так, значит, я тот повешенный бедняга?

– Ага, ага, – закивали бары, затем смутились. – Не иди к нему, уважаемый Баке, вздернет. Что-то с ним не то.

Любили все-таки, надо признать, этого певца киргиз-казаки.

– Прежде чем вздернуть, меня надо поймать, а поймать меня можно только за язык, а язык мой, как вон та птица в небе, – отвечал им Бухари.

– Где, где? Не видим...

–То-то! – заключил Бухари, ополоснул свежей водой руки, заушья, лоб и губы и, гулко растревожил струны домбры – провозглашая себя минуту без слов, двинулся к хану и, переступая порог трехшатерного убежища, запел такие строки:

О-о, хан мой Аблай!

на коновязи ты держал одних коней мухортых
и скачками решал все споры и раздоры.

На то была и есть народа воля,

коль скоро скакунов ты услаждал зерном без сора.

Не в силах тысяча верблюдов перевезти твое добро,

Оружие в чехлах, монеты, перстни и тюки ковров.
На то была и есть народа воля,
коль при тебе тут каждый находил еду и кров.
В сабе с серебряной оправой ты держал кумыс,
не опрокидывал фарфоровые чаши горловиной вниз.
На то была и есть народа воля,
коль даже с перцем и изюмом
подают твой жирный рис.
Держал твою секиру над куполом высоким Ставки
Твой ангел счастья законности во имя и порядка.
На то была и есть народа воля,
коль трон твой украшают золотые
с письменами главки.
Князей джунгарских Эренчи, Галдан-Церена
пригнул к земле ты, перерубил на шеях вены.
На то была и есть народа воля,
коль к стенам крепостным округ
воздвиг свои ты стены.
Ты в праведности шах Хосров,
ты ат- Таи, своим судом
безгрешно ты казнил всегда и всюду как Али мечом.
На то была и есть народа воля...

—Так! — все-все вспомнив, воскликнул хан Аблай и сунул в рот Бухари-жырау алую жемчужину с перепелиное яйцо. — А теперь ступай. И скажи от меня, всем уйти, быть здесь только писарю. Тут же все покинули его Ставку в Мойынкумах, правда, писаря не оставили, сообщив хану, что писарь, обкурившись маком, засунул ухо свое гнилое в слуховую дыру, отчего и умер от загнивания мозгов. И наступил час, когда хан Аблай, спокойный и удовлетворенный, прежний, вошел в пески, где когда-то зарезал своего первого человека, и крикнул: «Эй, раб! Ты слышишь! Не я тебя убил, через меня исполнилась тогда неутомимая воля моего народа».

— Слышу, — отвечал дух, поднявшийся из земного праха. — Народа воля твоего. Но при чем здесь те девять глотков воды?

Хан ему не ответил, прислушался к себе, но в нем вопрос духа никак не отозвался. Им покорены все человеческие чувства и он, наконец, встал полностью над человеком.

— Я все-таки...», — начал было хан.

Но дух перебил его:

– Как же! Жди! Ишь, как разлетелся...

– Ты что думаешь ...

И снова дух не дослушал его и очень грубо ответил: «Нет».

Значит, и этим его пирамида не завершилась, но что собой тогда представляет последний камешек? А вдруг еще одно такое же мучительное для него новое чувство?!

– Ты не знаешь? – спросил Аблай духа.

Дух хмыкнул и ушел в песок.

– Тьфу, – сплюнул хан. – Умру и сам узнаю, – и, развернувшись, пошел прочь, крепко ступая по песку и глине человеческой.

В представлениях нынешнего народа хан Аблай предстает как могучий богатырь. На самом деле, как шепотом мне, еще ребенку, рассказала моя бабка ханша Айганым – его невестка, он имел небольшой рост, был щуплого телосложения и уже в молодые годы потерял все передние зубы. Что не мудрено – ежели с пятнадцати лет бьешь и бьешь холодным оружием, так и тебе непременно достанется от врагов.

Очнувшись от таких не самых приятных видений, я испытал настоящее желание почувствовать свое тело еще живым и, тут же вскочив на ноги и отчего-то круто развернувшись, бодро замаршировал назад по подземной дороге. Выучка кадетского корпуса очень кстати пригодилась.

Я шагал по подземному тоннелю, вновь замечая все мелочи по пути. Свет теперь струился откуда-то снизу, словно там ниже в глубине земного шара было еще одно светило. «Небось джины там живут, – думал я. – Небось не заметят меня и я как ни будь прокрадусь мимо». Это русское «авось» защитило меня от никчемного осмысления моего безумного положения в совершенно невозможном для нормального человека мире. К тому же я каждой клеточкой тела ощущал, что надо мной теперь не просто пласт земли, а горы. Непременно – Памир. Были бы горы помельче, мне бы и шагалося полегче. Силы уходили. Здесь я в одной из ниш заметил крохотный бассейн с каменным дном. В нем мирно мерцала голубая вода. Я тут же наклонился к ней и жадно напился. Была она на вкус солоновато-сладкой. Бодрость вновь наполнила все мои сосуды и сердце. Кажется, я теперь верю, что живая вода существует на этом свете...

Восемнадцатого апреля 1856 года по Копальскому тракту мы направлялись на Аягуз. Дорога шла через казачьи пикеты и лежала в солонцеватой степи. Из всех станиц киргиз-казакской степи Старая Аягузка, кажется, самая невзрачная на вид. Маленькая крепость, формштадт, где несколько деревянных домов, мечеть в татарской слободке и землянки. Признайтесь, панорама унылая. Но по самой реке Аягуз жизнь словно вырвалась из-под сухой, пыльной корки земли, разлилась светлым ковром зелени, заговорила, запела в теплом небе жаворонками. Листья на карагаче, дикой акации и тальнике были уже распущены, да и самое солнце грело более южным жаром. Берега реки, густо окаймленные кустами жимолости, таволги и черемухи, между которыми высоко возвышались тополя, производили чрезвычайно приятное впечатление после трехдневной езды по солонцам, где не было ничего, кроме белых кочек чия. Недаром в преданиях киргиз-казаков так поэтично воспевается благословенное течение Аягуза. При пустынности и безводности окружающего пространства, Аягуз действительно может казаться раем. Левый, возвышенный берег, покрытый лугами и лощинами с сочной травой, был, нет сомнения, местом постоянной кочевки в оны дни, когда не было здесь военных пикетов. Теперь киргиз-казакских аулов здесь нет. Вообще, чувство самосохранения — есть чувство похвальное, но не думаю, что окончательной откочевкой можно решить национальные проблемы. Если нечто чужое теснит вас и невозможно никак избавиться, то следует не бежать, а, навалившись, прижаться и сделать чужое своим.

Я очень люблю и восхищаюсь Аягузом. Может быть, поэтическая легенда о любви прекрасной Баян к золотоволосому Козы-Корпешу, возникающая из драмы, развернувшейся именно на этой реке, есть немаловажная тому причина. Я знал, что в десяти верстах от нашего последнего привала стоит знаменитый мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Слу, сложенный из грубого степного камня и посему, несмотря на то, что выехали глубокой ночью, хотелось взглянуть на этот славный памятник. Конечно же, ямщику было приказано ехать так, чтобы утром при восходе солнца, когда жаворонок поет свою первую песню, когда с одной стороны мрак и ночные тучи уходят на запад, а с другой восстает утреннее солнце и свет с надеждой освещает верхи деревьев и воду каким-то чудным лучом, быть у мавзолея. Хотелось в этот лирический час у самого надгробья: приятно в дороге пить чай и, особенно, на развалинах древних могил. На этих камнях яснее всего осознаешь, что эта земля — твой родной дом, а сами камни есть очаг, в котором многие века пылали и сгорали жизни всех твоих предков, предстающих в такие минуты

особенно великими и достойными всяческого подражания. Лишим мы себя древних развалин и окажемся в роли стада животных: вольны бродить туда и сюда, с одинаковой охотой прожевывая траву да и шерсть с боков пасущегося рядом, и не осознавая, что давно отмечены для заклятия кем-нибудь более памятливым.

Так думалось перед предстоящей встречей с легендарным мавзолеем. Но человек предполагает, а Бог располагает. Всю ночь крупные капли дождя стучали по зонту тарантаса. Истомленные лошади, скользя по грязи, перебирались шажком. Только усиленное хлопанье бича и фыркание усталых коней и отчаянные крики ямщика нарушали однообразный бой дождя.

Скверная была ночь и скверно было ехать. В тревожном сомнении, опасаясь как бы дождь не помешал нашему плану, я несколько раз обращался к ямщику с вопросом:

– Ну что, не разъяснело?

Ямщик, промокший до костей, брюзгливо отвечал:

– Нету.., – и потом в виде обращения к судьбе прибавлял. – Эка, погода! Бррррр.., – и стряхивал набравшуюся на коленях воду.

Жаль мне было ямщика, если бы ехали скоро, он бы давно отдыхал на теплой печке. Так мы ехали час. Вдруг до меня донесся глухой голос ямщика:

– Ваше благородие, вот и могила!

Я высунул голову наружу. Солнце тускло выходило из-за угрюмых туч, все небо было покрыто сплошной массой грязно-матовых облаков, дождь шел как прежде. Замылившиеся лошади едва тащились по грязи солончака. Налево за рекой высилось нечто мрачно-монументальное – это виднелся через верхи тополей остроконечный шпиль мавзолея. Казался он багровым, возможно, от красного камня, тревожил душу и властно тянул к себе. Но в такую погоду переправляться на тот берег было невозможно и, следовательно, нечего было думать о философском чаепитии и комфортабельном осмотре киргиз-казакского антика. Ямщик, хлюпая мокрыми шароварами, встревожено и в то же время обречено и покорно просипел:

– Кажись, и река в разливе, ваше благородие. Не переедем...

Он угадал мои мысли.

– Ну, поезжай вперед, – сказал я ему. – Посмотрим в обратный путь.., – и, завернувшись в шубу, я повернулся на правый бок, закрыл глаза, чтобы уснуть.

Времени задерживаться здесь основательно никак не было. Предстоявшая нам миссия замирения родов дикокаменных киргизов – тюркских родов,

живших в у побережья озера Иссык-Куль, требовала скорейшего разрешения. Так что уже 19 мая мы, поднявшись на возвышенный перешеек, соединяющий горы Алатау с хребтом Куулуку, вышли к высокому, тесному лого, по дну которого извивалась довольно быстрая речка Первая Мерке. С высоты течение реки было особенно живописно: по зеленому и отглаженному полотну синела тонкая ленточка, окаймленная с обеих сторон аллеями ив. Можно ли было думать, что подобный пейзаж почти английского сада предстанет авансценой диких трагедий?

На Первой Мерке мы должны были еще разгрести снег, чтобы при усиленном и всеобщем содействии отряда благополучно поднять на лямках артиллерию.

При впадении в Гарын Второй Мерке перед нами предстал не менее удивительный ландшафт. Крутые берега обставленные громадными утесами, пирамидальные ели растущие на граните, кажется, сами принуждали под собою струиться и пениться зеленоватые волны.

Подъем же на Третьей Мерке был, наоборот, легкий и приятен своими желтыми розами, вереском и кизилгой, пепел которой туземцы кладут в нюхательный табак. Проход, образованный Третьей Мерке, и есть памятное дефиле, что вывела нас к Иссык-Кулю, предмету нашего риска. Отсюда и вышел слух, что пишпекский фарманчи, сиречь губернатор, с полутора тысячью воинами разбил манапа сарыбагащей Умбет-Али и взял его в плен. Некоторые болтливые бугинцы говорили, что этот слух распущен ложно, чтобы мы из опасения стычек с кокандцами не шли на это озеро, занятием которого нами свобода иссыкульцев может навсегда уничтожиться. Другие говорили, что четыре подданных Кокандского хана находятся теперь в ауле у Бурунбая, влиятельного манапа рода бугу. Понятно, что бугу теперь хотели отделиться от нас, чтобы в союзе с сартами окончательно разбить сарыбагащей. Вот она азиатская политика, черт ногу ломает. Но мы решили во что бы то ни стало все же идти на озеро.

Оставив отряд в предгорьях, я с несколькими казаками отправился в аул манапа Буранбая, что стоял на Джиргалане в верстах тридцати пяти от нашего лагеря. Я проехал через брод Туп и потом поднялся на возвышенную гряду Тасба. Наконец в полдень перед нами открылись аилы в виде белых точек, на берегу сиявшего чистейшим кобальтом озера Иссык-Куль, сливавшимся с сиянием неба и дальним рельефом снежных гор. Жаркое палящее солнце бросало на озеро и на долину круглообразные от облаков тени.

По уверению народа, на месте, где теперь Иссык-Куль, была прежде обширная равнина, заселенная богатыми городами. Хан народа, населявшего эти города, народа языческого, неверного, до глубокой старости не имел детей. Сокрушаясь о предстоящей участи своей фамилии, он в отчаянье обратился к Богу и просил дать ему сына, хоть в образе осла. Молитва его была услышана. Одна из жен его, гулявшая в это время в саду, встретила длиноухое существо, которое обнаружило к ней чрезвычайное внимание. Ханша, по неисповедимой воле судьбы, почувствовала тоже удивительную нежность к этому необычному кавалеру. Завязалась интрига, плодом которой был младенец – сын. Старый хан был в восторге, что, наконец, небо послало ему наследника. Хан нисколько не изумился, увидев длинную, в виде трубы, челюсть ребенка, и не огорчился его ослиным ушам, все было в порядке вещей. Он просил сына хоть в образе осла, и Бог ему дал сына и в неисчерпаемой своей благодати украсил его только ослиными ушами да и чуть-чуть великоватой челюстью. Ребенок вырос и после смерти хана сделался сам ханом под именем Джанбек. Государь он был умный и справедливый, только желание скрыть свои длинные уши заставляло его приступить к предохранительной мере, которая не посвященным в тайну его рождения казалась жестокой. Все брадобреи, очищавшие царскую голову, больше не возвращались в свои дома... Такое тайное и непонятное исчезновение всех цирюльников привело народ в ужас, и никто не хотел заниматься этим, прежде доходным, а теперь столь ужасным ремеслом. Брадобреи перевелись. Хан вынужден был теперь заставлять своих подданных бросать жребий, дабы кто-то все же шел к нему брить его башку. Прошло много лет, погибло много народу, пока жребий не пал на одного единственного сына одинокого старика. Молодой человек, отмеченный перстом судьбы, принялся с особенным искусством за процесс бритья и, в одно мгновение окончив свое дело, сказал: «Государь, шабаш!», при этом сделал вид, что совершенно не заметил странную форму ханских ушей. Хан ладонью потер свою голову, голова была бела и чиста как точеный шар, потрогал свои уши и спросил коварно:

– А уши ты мне, брадобрей, не поранил?

На что юноша ответил:

– Уши? А я их сразу и не заметил.

Сильно понравился Джанбеку ловкий ответ молодого человека. И так как хан понимал, что дальше он не может проводить тот порядок, лишивший его ханство многих граждан, он твердо решил покончить эту кровавую игру, и, передав свою тайну клятвенно молодому цирюльнику, сделал его

своим визирем. Дружны были хан с визирем до того, что пили из одной чаши вино и ели из одной тарелки пилав. Но справедливо говорит пословица: если худая лошадь обрастает жиром, то и сесть на себя не позволит. Не умел с покорностью и довольствием перенести богатство и честь новый визирь. Возгордился, и гордость погубила его.

Хан любил соколиную охоту, и визирь сопровождал его на ней, оба имели своих птиц. Однажды сокол визиря обогнал ханского и взял лебедя. В припадке радости, визирь начал в забытьи кричать: «Мой сокол лучше сокола хана Джанбека, у которого ослиная голова». Весь народ, присутствовавший на потешном зрелище, ясно слышал эти слова и теперь понял, отчего хан извел столько брадобреев. Джанбек запылал от стыда, бросился бежать в свой дворец, успев приказать только убить своего визиря. Между тем, визирь опомнился, увидел свое положение и бежал в горы. С этого времени Джанбек получил прозвище Ослиная голова.

Долго скитался визирь в горах и только редкими ночами посещал город.

В один из своих ночных визитов он пришел к царскому колодцу с золотой крышкой, вспомнил былые славные времена, когда пил воду из этого колодца, вспомнил свое визирство и стал в обиде громко молить Бога, чтобы он весь этот город спустил в преисподнюю.

Аллах в это время был гневен на этот город за его разврат и безбожие и изрек: «Куп орай куп!» и вода начала бить огромным столбом из колодца, и в одну ночь на месте города стало озеро – озеро Иссык-Куль.

Легенда эта, напоминающая Содом и Гоморру, как можно полагать по вулканическим признакам озера, имеет основанием своим землетрясение, разрушившее прибрежные города. В сильную бурю из озера выбрасывается разная утварь домашнего обихода, что утверждает народ еще более в справедливости сказки о Джанбеке – Ослиной голове.

День был жаркий, солнце палило, как на экваторе, нужно было отдохнуть и при вечерней прохладе или как говорят казаки: по «салкинчику», беря в основу киргиз-казакское слово «салкын» – прохлада, отправиться далее. С этой целью мы повернули в ближайший аил. Хозяин аила, молодой человек, вышел нам навстречу, и мы расположились в его палатке. Нам, как почетным гостям, принесли чаю, заваренного вместе с солью в кувшине, что-то вроде калмыцкого затурну. Мальчишки со всего аила собрались около нашей юрты в ожидании полакомиться бараньими косточками, которые останутся после нашего обеда. Ожидания их были тщетны – я освободил хозяина от этого долга, обедать было некогда. Каракиргизы, даже те, кто в душе надеялся

принять участие в нашем пиршестве, держались поодаль. А женщины, надо сказать, вообще нас боялись и не выходили из своих лачуг. Только раз показалась молодая баба в полосатом бухарском халате и девка в белой рубаше, заменявшей ей платье, и в красной остроконечной шапке с кисточкой. Впрочем, и они скоро скрылись. Попутчики мои, а у них, как у тех, кто много бывал в степи, взор быстрый и острый, заметили, что баба была очень недурна собой, но худа, а девка, говорили они, была совершенно красавица, разумеется, в их вкусе.

Въезжая в аил, я заметил, что все, завидев нас, бросались в свои юрты с криком: «Урус! Урус!» Чтобы отстранить страх и завлечь любопытство местных обитателей, я, по скромным в пути возможностям, переоделся в киргизского франта. Уловка моя действительно увенчалась полным успехом – по крайней мере дальше меня встречали без стеснения и подозрений. Во втором аиле даже бабы посыпались к нам как горох из своих юрт. Одна из них затеяла похоронный плач, адресуя его ко мне, как своему, правоверному. У каракиргизов, как и у нас, киргиз-казачков, вдова должна в продолжение года оплакивать с криками смерть мужа. И когда проезжают путники, они должны затягивать свои траурные песни. По расспросам мы узнали, что плакальщица лишилась мужа в побоище между сарыбагашами и бугу. К тому же над юртой после смерти вывешивается флаг, если флаг красный – умерший был молод, черный – средних лет, белый – старик. Над юртой этой несчастной висела черная тряпка.

Мы остановились послушать элегию дикокаменной матроны. Признаюсь, я ожидал услышать что-то о печальных чувствах или нечто близкое к этому, но прозвучала только жалоба к Богу о том, что будет с ней, и обращение к покойнику с вопросом, кто же будет совершать теперь с ней обыденные и естественные нужды, кто будет шить сапоги, кому она подаст блюдо с просяной кашей и так далее. Все это быстро меня утомило, и я вступил с окружившими нас каракиргизами в разговор. Узнавши, что я сам киргиз-казакский султан и потомок ханов, они сделались еще приветливей и доверчивей, а пожилые женщины-аячи с участием смотрели на мое худое тело и безрумяное лицо и выводили резонные заключения, что я, бедняжка, наверное, скучаю по матери и сожалели, что такого мальчика, как я, в такой далекой стороне вряд ли кто приголубит и очистит белье от докучливых кровососущих насекомых. Последние наивные их слова меня рассмешили. «Что за добрые и простые люди», – думал я. А во взоре одной старушки я увидел так много истинной доброты и участия, что разом осушил чашку,

чтобы только сделать ее довольной. Через минуту я знал, что дочь другой почтенной старушки была в замужестве за киргиз-казакским султаном наймановских родов. А так как здесь считали всех султанов почти за одно лицо, то и весь аил стал с нетерпением расспрашивать о судьбе своей родственницы. Я счел нужным не только объявить себя знакомым того султана, а даже его братом, и на вопросы отвечал положительными фактами, выставляя их родную как любимую султаном жену. Говоря эту невинную и утешительную ложь, я имел намерение сблизиться с народом и приобрести их родственную любовь. По крайней мере, мои человеческие и дипломатические цели не расходились. Ответы мои на некоторые чрезвычайно трудные вопросы: как зовут султаншу-каракиргизку, сколько у нее детей, были согласны с имеющимися у них сведениями, что я сам удивлялся своим надувательским способностям. Как бы то ни было, между нами начался доверительный разговор. Мы шутили с молодками-аяч, и они в ответах своих обнаруживали неожиданную откровенность и остроту. Вообще женщины иссык-кульских жителей имеют много прекрасных сердечных качеств и, проживши несколько дней, можно было с ним познакомиться коротко. Даже теперь они без сомнения были к нам благосклонны, хотя нет ничего без исключений. Со мной тут же случился почти дорожный анекдот. Я, в припадке мании к прекрасному полу дикокаменной орды, имел неосторожность, проходя мимо одной юрты, заглянуть, как говорят персы, в эндерун – женскую половину дома, откуда прежде за мной следили быстрые глаза, по моим расчетам непременно хорошенькой аяч. Я не обманулся. В юрте действительно сидели две недурные собой девицы, но одна из них, к великому моему ужасу, удивлению или радости, не знаю, была только во всей своей натуральной красоте. Comme de gaesson, что пойманная моим взглядом аяч устыдилась очень и очень, только не совсем. Она, оправившись от первого испуга, принялась страшно бранить меня. Следуя ее проклятьям, мне суждено было глотать камни, глазам моим предназначалось искривиться, а в довершение всех бед, долженствующих обрушиться на меня, она назвала меня курносый казак! С одной стороны я имел от ее слов порядочную печаль, с другой – был рад, что удалось разом познакомиться с изощренным словарем ругательств, что не последняя статья в языковеденье. Я было уже хотел войти в этот эндерун, чтобы принести свои извинения в более тесной обстановке, но тут меня почтительнейшим образом, но настойчиво пригласили в отдельную стоявшую от аила юрту, которая сразу же за мной наполнилась старухами. Они принялись путано и длинно объяснять мне нечто, и наконец, в разговор

решительно вмешалась пожилая женщина с длинными зубами. Она сидела у входа на бараньей шкуре, заменявшей ковер, и грязными руками плела аркан, время от времени кивая и при каждом кивке обнаруживая полный ряд ужасных клыков. Зубы ее выказывались, очевидно, против воли почтенной мадам. Она совсем не была расположена к оскаливаниям, ибо беспрестанно подносила рукав пестрого халата к губам, но при всем при этом говорила спокойно, с явным убеждением в своей правоте:

– Высокочтимый господин аллаяр, у меня есть одна несчастная невестка, одержимая бесами. Я слышала, что вы можете их выгнать.

– Как же я их выгоню этих бездельников? – спросил я удивленно. Мадам с зубами бросила на меня испытывающий взгляд и терпеливо объяснила:

– Очень просто. Надо нещадно бить плетью нечистую храмину, и все бесы уйдут.

– Храмину?

– Да, тело больной, – все так же спокойно отвечала эта странная просительница.

– Да отчего ты решила, что я могу выгнать из больного тела потусторонних гостей? – еще сильнее удивлялся я тем способностям, которые обнаруживали во мне.

– Кто же, как не вы, люди белой костью, можете это, – сказала мадам с зубами, взглядом прося окружающих без сомнения подтвердить ее догадки. – И потом вон в руке у вас и плетка. Не зря же она у вас.

– Да помилуй, ведь эта плетка погонять лошадей!

Спокойная до сего мига мадам вдруг так взвыла, что я отшатнулся от нее невольно:

– Аллаяр! Аллаяр не желает помочь нам, несчастным людям! Зачем же султану погонять этой плеткой самому лошадей, если у него вон сколько верных слуг, обязанность которых и есть погонять лошадь господина.

Последний аргумент мадам с зубами был настолько нелеп, что я и не нашелся что ответить. И за это тут же поплатился. Публика сочла мое молчание за поражение и безусловное доказательство правоты фанатичной аяч и явно приняла ее сторону. Десятки глаз стали на меня обиженно коситься. К требованию мадам с зубами избить ее невестку плеткой присоединились и подошедшие к юрте мужчины айла. Как я ни старался уверить просителей, что все это вздор, никаких бесов нет, что невестка ее, видимо, просто больна, ее надо лечить не побоями, а душевным спокойствием, уговоры не возымели никакого воздействия. Каракиргизы принялись с неудовольствием покидать

юрту, явно подозревая меня в жестокости: человек одним ударом может изгнать бесов и не хочет. Да и вообще, следовало отсюда, какое сострадание можно желать от чужака и неизвестно зачем он у нас появился, конечно же, не с добром. Такие теории грозили при быстроходности киргизских лошадей мгновенно распространиться по всей иссык-кульской впадине. Делать было нечего. Я решился и рекомендовал одного джигита, сопровождавшего меня вместе с казаками, как султана и своего брата. Рекомендованный батыр, не утруждая себя излишними размышлениями и сомнениями, быстро принял марсовский вид, встав с поднятой нагайкой. Несколько баб подвели к нему несчастную жертву и держали ее крепко, пока этот тип с криком и удовольствием не начал свое дело. Несчастная начала визжать и при большом усилии вырвалась и бросилась бежать. Ее опять схватили. Особенно бесилась зубастая свекровь. Иногда казалось, что только она одна производит столько крика, но это кричала толпа вместе с ней:

– Бей! Бей! Ур! Ур! Ур!!!

Меня это возмутило окончательно. Я подошел к мадам и приказал отвести больную домой. В ответ же она нагло обругала меня:

– Если сам не пожелал мне помочь, то не мешай доброму человеку спасти душу этой несчастной! Люди, да этот киргиз-казак вовсе и не султан. Притворщик! Проходимец!

Стоит ли говорить, что за нею и все родные этой сумасшедшей оказались недовольны моим вмешательством. Злобные взгляды устремились на меня. Вот уж действительно превратности судьбы! Еще с полчаса назад я был лучшим гостем этого аила, теперь мне явно угрожали побоями. Следовало быстро удалиться, но как оставить эту больную женщину в руках возбужденной толпы. Я не мог вытерпеть, подошел сам к ней и вырвал кнут у подставного султана. Тот сразу потерял свой воинственный вид и принялся робко кланяться передо мной, бормоча всякие извинения. Этим извинениям грош цена, подвернется ему завтра безнаказанно избить и меня, сделает это с превеликой радостью. Несколькими резкими словами я отослал его прочь. Это отрезвляюще сказалось на толпе, и все же айльчане расходились неохотно и были в душе возмущены моим произволом. Одна только сумасшедшая бросилась мне на шею, называя меня разными нежными именами:

– Ой, дяденька... золотой, золотой, да буду я твоей тенью, дяденька! Луна, солнце, звезды! Зеркальце мое... дяденька...

Я снял руки сумасшедшей со своих плеч и хотел было идти к ожидавшему уже немало меня тарантасу, но тут появился крепкий усатый парень и, увидев его, она снова ткнулась куда-то мне под руку с криком:

– Кара-джан! – а закончила очень жалобно и протяжно. – Зеркальце...

Крик ее, видимо, смутил усатого парня, и он в нерешительности остановился неподалеку. Постепенно все успокоились, и я, с усилием, наконец, отстранив эту привязчивую больную от себя, принялся рассматривать ее. Ей было, по-видимому, не более пятнадцати лет, хотя двухрядная коса подтверждала то, что она была замужем. Она была очень хороша собой. Большие карие глаза с особенной болезненной живостью блуждали во все стороны, как бы ища кого-то. Лицо было бледное и худое, нос тонкий, изящный, губы припухли и ярко покраснели от невольных прикусов, лоб высокий как купол бухарской мечети. На ней не было вовсе платья, только дырявый халат внакидку, но и при всем при этом она не производила дурного впечатления.

Я попробовал с ней заговорить, но она на все мои вопросы отвечала отрывисто, одними именами:

– Джанбек! Золотой... Ай-ай, Джанбек! – затем, указывая беспомощной рукой на усатого парня, засмеялась и, безумно хохоча, добавила. – Он! Зеркальце... Нет зеркальца! Воротник порвал, рвал, рвал! Он – Кара-джан!

И, сказав это, с обезьяньей поспешностью сорвала с головы свой платок и спрятала под халат, озираясь и пугаясь, как бы кто-то не заметил ее уловки. Видимо, этот Кара-джан был ее мужем и бил ее, расколол зеркальце, порвал рубашку. Я обратил на него строгий взгляд и приказал ему более не ломать зеркал и не рвать рубашек, на что он вяло, с оттенком безразличия в голосе ответил:

– Не слушайте ее, благородный господин. Не рвал я ничего и не ломал.

– О-о, Джанбек! Не верь ему, не верь, он рвал, он расколол твое зеркальце, Джанбек... – хотя и тише, но продолжала упорствовать сумасшедшая.

На этом я посчитал эту историю законченной и было собрался ехать дальше, видя как мои казачки вдалеке уже проявляли усиленное нетерпение, но меня остановило то, что я уже слышал здесь на Иссык-Куле о каком-то Джанбеке и о странной истории, связанной с ним. Я спросил:

– Кто таков этот Джанбек?

И тут же вспомнил о Джанбеке-Ослиной голове из легенды об озере.

Услышав мой вопрос о Джанбеке, айльчане примолкли и перекрывали рты, словно в ожидании предстоящего интересного происшествия. Ответил мне усатый Кара-джан, хотя не сразу и очень неохотно:

– Это вор.

Пожалуй, этот ответ меня вполне удовлетворил бы, но вот сумасшедшая невестка вскочила с земли и гортанным голосом, ошеломившим меня неистовостью, воскликнула:

– Нет, нет! Это неправда! Джанбек... Джанбек! Он как солнце!

Здесь есть у меня случай заверить, что каракиргизки вообще не отличаются робким нравом. Английский лейтенант Вуд имел редкий случай видеть дикокаменную амазонку, гарцевавшую на рысистом быке, как Европа, похищенная Юпитером.

Вслед за больной заорала и ее свекровь с зубами, хищно протянув к лицу больной свои растопыренные пальцы рук:

– Замолчи сейчас же, бешеная! Дрянь! Аллаяр, неужели вы не видите, как ее, бедняжку, мучают бесы! Оставь нас! Люди, сородичи, да где же вы?!

Ее вопли возымели во мне обратное действие, я остановился и сказал:

– Бесов я не вижу, а вот кто мучает эту бедняжку, хочу узнать. А ну, скажи, несчастная, кто это твой Джанбек?

Здесь, к моему удивлению, закричал с превеликой злобой ее муж, казавшийся до этого человеком меланхоличным:

– Это разбойник! Проходимец! Он попрап законы наших предков, и кости его долго будут еще тлеть в аду! Нет хуже собаки, чем он. Нищий! Побирושка! Каждый вправе убить такую гадину!

Затравленная невестка снова вцепилась в край моего платья и забормотала со стонами и всхлипываниям:

– О-о-о... Джанбек... Не оставляй меня здесь... знала, что ты придешь за мной, Джанбек...

При всей неестественности ее поведения, плач ее был настолько по-детски горек, что я никак не мог подумать о новом приступе ее сумасшествия. А когда она, подняв свое лицо ко мне, я увидел глаза не только полны слез, но и здорового ума. Затем она вся напряглась, как тростиночка, и кинулась к мужу с криком:

– Ты убил его!

Ее усаый муж в ответ тоже завопил:

– Замолчи, тварь! Кто тебе разрешал раскрывать свою гнусную пасть?! – и дернул ее за косы и оторвал их от головы.

Я остолбенел, хотя знал, что длина волос считается здесь первой красотой, и поэтому многие женщины носят фальшивые волосы. Но у моей подзащитной свои волосы были не жидкие, а неровно стрижены почти под корень.

Мне вся эта кутерьма основательно надоела, а последняя картина подтвердила всю нелепость положения, в которое я попал. Продолжи я так покорно выслушивать крики и вопли обитателей этого сумасшедшего аила, скоро они совершенно затолкают меня. В этих случаях нелепость, как клин клином, вышибается еще более бессмысленной нелепостью. И я, выставив одну ногу вперед, руки заложив за спину, а свой впалый живот как можно более вздув, как скверный актеришка, изображающий римского консула, напыщенно проговорил:

– Я, султан Мухаммед-Ханафия, сын султана Чингиза, сына хана Уали, сына Аблай-хана, я именем своим и именем предков своих объявляю суд для разрешения спора людей, стоящих передо мной, и, выслушав их беспрепятственно, заключу между ними те обязательства, которые сам сочту справедливыми, – и завершил эту тираду несколькими фразами из Корана.

Толпа айльчан загудела, повторяя «Аблай! Аблай», и мужчины вместе со мной подняли к лицу ладони в знак принятия всех милостей, которые несут собой священные слова. Без сомнения, эти люди были, как наши киргиз-казаки, весьма охочи до всяких площадных представлений. Тут же сбегали за белой кошмой, если можно так назвать серый клочковатый войлок, расстелили его в тени юрты. Я вальяжно прошел к предназначенному посту и, изобразив глубокую задумчивость, разместился там. С полчаса, как этого требует церемониал подобных действий, я глубокомысленно молчал. Молчала, изнывая от жары, и толпа. Наконец я, порядочно отдохнув от стоявшего здесь ора, вяло указал рукой в сторону мужа несчастной, и суд начался. Не буду, чтобы не утомить читателя, приводить все то, что здесь самым отчаянным образом было бестолково и запальчиво произнесено, лишь протокольно приведу суть происшедшего. А она вся заключалась в том, что эту несчастную девочку выдали замуж против ее воли. Усатый Кара-джан, питавший к ней, без сомнения, нечто вроде любовных чувств, смог заплатить за нее калым в тридцать баранов, а вот ее избранник – некий Джанбек, не имел такого умопомрачительного количества скота. Обычная история, осложненная, правда, тем, что и проданная девица и нищий Джанбек проявили весьма неблагоразумное упорство, кажется, даже бежали вместе. Сейчас эта несчастная утверждает, что ее возлюбленного Кара-джан с дружкой сбросил в пропасть, сам же Кара-джан, естественно, принялся все отрицать, заявляя, что этот пес Джанбек просто сам свалился в какую-то дыру. Интересно, что никто из них за более чем двухчасовой спор не произнес слова «любовь». Зато чрезвычайно много было сказано о девичьей шапке этой невесты, которую по местным обрядам должен

сбить ее жених. Кара-джан заверял, что шапку он с головы своей будущей жены сбил легко и играючи, она же утверждала, что нет, шапка была не сбита. Бедняжка, как я понял, даже под корень срезала на голове себе косы, чтобы и стыд ей помог во что бы то ни стало удержать эту роковую шапку на голове. Очень странным было то, что этому увальню Кара-джану непременно хотелось доказать, что именно он сбил ту шапку. Сбивал он ее, не сбивал, разве это важно, если он все равно стал полноправным хозяином этой женщины, а впрочем – рабыни? Убедившись, что у этой несчастной нет иного выхода, как смириться, так как любимый ее погиб, а родственники вполне довольны теми тридцатью баранами, я призвал ее покориться судьбе и, быть может, она наградит ее за терпение красивыми детьми. А мужу ее строго приказал более не обижать жену, что он мне тут же клятвенно пообещал. Несчастная безмолвно выслушала мой приговор, сникла вся и уже без всякого, я уверен, умысла, сказала мне:

– Прощайте, господин! Вы были добры ко мне, не били. Я скоро умру.

– Почему ты так решила? – спросил я.

Она помолчала и потом, нисколько не волнуясь, ответила:

– Наши звездочки стояли рядом. И когда упала звезда Джанбека, моя скатилась следом.

Признаюсь, я растерялся. За это очень короткое время эта изуродованная девочка стала мне не безразлична. Была она бита, была обманута, но что все это по сравнению с тем, как она была одинока! Узрев, что я заколебался в правоте своего приговора, мадам с зубами решила укрепить во мне судейское решение:

– Ничего с этой дрянью не сделается, аллаяр, – заметила она уверенно. – Вылечим.

– И как же ты собираешься ее лечить дальше? – удивился я.

– Известно как! – ответила свекровь и с таким клацаньем захлопнула свою пасть, что вздрогнул даже ее сыночек.

Времени на последующие раздумья не оставалось, и я сам, не ожидая того, произнес:

– Люди! Я судом своим и судом своих благородных предков объявляю: невестку этой женщины действительно мучают духи. И от того, что эта несчастная так неистово призывает некоего Джанбека, я вижу, что не робкая душа погибшего юноши волнует ее, а в нее вселились подводные духи озера. Они сильны и коварны, неровен час, поднимут волны озера и зальют вас вместе со всем вашим скотом. Так что, один вам мой совет: скорее собирайте кочевье и бегите в горы.

Мужчины аила схватились за свои бритые затылки, старухи взвыли. Что ж, толпа получила то, что так упорно желала. Тут же предложили забить бешеную невестку камнями, на что я ответил, что подобная мера ни к чему хорошему не приведет, ибо и над трупом ее будут витать те же духи и станут еще опасней. Толпа сочла мой довод весьма резонным и бросилась выпрашивать, что же им делать и как избавиться от такой смертельной напасти. Посоветовал я им только одно: подсунуть эту несчастную какому-нибудь глупому и никчемному человеку, лишь бы он был из дальних мест, и пусть он ее увезет. Бог даст, духи, видя, куда их заманивают, отстанут по дороге и не причинят этому путнику большой беды. Представьте, эти наивные люди без всякого смущения принялись тут же предлагать мне эту несчастную взять с собой. Да и наивность ли это? Впрочем – наивность, наивность толпы, так как толпа не знает совести и морали. Как бы там ни было, они настаивали на своем, высказывая при этом самые нелепые уговоры, вплоть до того, что если и я стану жертвой духов, то они отошлют моим родным трех быков и семь коров, за что мои родственники будут как никогда мне благодарны. Наконец я с явной неохотой согласился. Однако здесь поднял бунт усатый муж.

– Стой! Куда? Это моя жена! Не смеешь, убью! – закричал он и, подняв с земли железный кол, видимо, от такой-то треноги, размахнулся им над моей головой.

Нынче модно быть фаталистом, но думаю, фатализм по большей своей части происходит от безысходности тех ситуаций, в которые мы попадаем. И верно, стоило мне как-то запротестовать или попытаться уклониться, кол этот обрушился бы на мой нежный череп. Дикокаменные киргизы не знают жалости в драках.

На наших глазах был пример, когда род бугу убил манапа Урмана. Последовала война между родами, кончившаяся совершенным разграблением бугу. Во всем роду не осталось ни одной юрты. Я проезжал через места происшествий: повсюду валялись кошмы, мертвые тела на пространстве четырех верст.

И я продолжал невозмутимо сидеть под оружием моей смерти до тех пор, пока этот усатый парень сам не отступил, и, выронив из рук кол, упал на колени. Лицо его приняло, как у всех неуравновешенных натур, плачущее выражение, и он принялся ныть:

– Аллаяр... господин... великодушный султан... не троньте мою жену, я куплю ей платье... два платья и платок! Господин, аллаяр, Аллах не забудет вашей доброты. Что ж от того, что в ней бесы, значит, так суждено... больше не трону ее и пальцем! И никому не позволю даже в чем-то ее обидеть.

Между тем, старухи уже тащили несчастную невестку к моему тарантасу, а ее клыкастая свекровь набросилась с кулаками на своего сына и, избивая его, произносила не то проклятья, не то укоры. Она вскрикивала что-то вроде: «Мать-огонь, или Дух-отец» и колотила своей великовозрастного сына. Мне же вслед она с ненавистью крикнула:

– Да чтобы конь твой спотыкался обо все камни и колоды, да чтоб ты упал с коня, да чтоб ты скатился в пропасть!..

Так в обозе нашей экспедиции оказалась эта особа, никому не доставляя беспокойства и хлопот. Всякие безумные действия у нее исчезли, по крайней мере, мне на нее никто не жаловался. Я предполагал доставить ее по пути на верховье Тургеня, где живут киргиз-казаки-хлебопашцы и сидит султаном Али, муж зело глупый, покрытый густо-рыжими волосами, как первобытный человек по Бюффону. Он хочет казаться цивилизованным, потому-то и смешон, но, впрочем, добр. Там можно было выдать ее замуж за какого-нибудь приятного и старательного работягу. Но, когда я попытался рассказать, какая ее ждет прекрасная перспектива, она плакала и просила отпустить ее на свободу. Меня искренне удивляло, откуда в этом худеньком существе столько влаги. Она одна могла наплакать целый Иссык-куль.

По завершению дел мы возвращались в Семиречье через горный проход Санташ. По нему минуют хребет Кунгей-Алатау и караваны. Обыкновенная дорога, вследствие бывшего перед нами в горах снегопада, была закрыта, и мы шли по крутому кряжу гор, рискуя изгибами своих шей. Лошади наши по таявшему снегу скользили, сбрасывая в пропасти камни. Казаки спешили, между тем как привычные к таким обстоятельствам проводники-киргиз-казаки спокойно покачивались в своих седлах, бросив поводья и напевая песни.

Круглый час мы перебирались по этой тропе, и, наконец, начали спускаться. Спуск оказался гораздо круче и более неудобным, нежели подъем. Начинались еловые леса. Мы приближались к самой трудной тропинке, которая шла по краю отвесного обрыва саженой сорок высоты. Еще не доходя до страшного места, со мной случился казус. На дороге лежала огромная еловая колода. Я пришпорил коня. Лошадь поднялась на дыбы, но задела копытом валявшееся дерево и упала. Меня отбросило в сторону, а бедная лошадка, потеряв равновесие, рухнула в пропасть. Я только услышал глухой рокот и увидел ее уже далеко внизу в реке.

Случай этот имел свою хорошую сторону, нет худа без добра, за мной он упрочил мнение спутников в смелости и ловкости. Я же, встав на ноги, сразу

вспомнил страстное напутствие мне мадам с зубами из сумасшедшего иссык-кульского аила. Вспомнил и о ее несчастной невестке. Велел казакам внимательно присматривать за ней на этом опасном пути, но те сказали, что киргизка исчезла. Я огорчился и сам решил проверить, но нигде ее не обнаружил. Что с ней стало, я не знаю. Может быть, кинулась сама в пропасть, может быть, отправилась разыскивать могилу своего Джанбека, а возможно, вернулась к своему усатому мужу. Пути женщин, как пути господни, неисповедимы.

Ко мне подвели другую лошадь, и на ней я продолжил путь. Кругом среди диких камней уже рос вереск. Выше лежали пройденные нами снега; воздух был заметно холоден, ветер резок, так что я надел шубу. В эти дни аулы спускаются с гор на долины, где пашни, собирают там свой скромный урожай и идут в конце августа на Балхаш в пески на зимовку. Всю ночь мимо нас, остановившихся уже в киргиз-казакском Баскане, шли кочевья. Утром, когда мы встали, все еще шли вереницы верблюдов, ведомые нарядно одетыми женщинами.

Мысль писать романы не оригинальна. Однажды в Омске во время почти семейного приема в доме генерал-губернатора мадам Гасфорд наотрез объявила: романы врут, следовательно, все, что в них есть – вздор, и что все дамы, читающие романы, учатся врать и, следовательно, лгуны. Все это было сказано так твердо, решительно, как факт, как аксиома, как подобает российской генеральше, что мы, все присутствующие, и ваш покорный слуга – юный в те времена корнет, изъявили полное и совершенное согласие с ней. Тогда-то Его Превосходительству благоугодно было изречь в назидание всех чающих и в особенности супруге следующие праведные (а иных он не имел привычки произносить) словеса, или, как он выразился – экспрессии: «Ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да – я, твой муж, писал тоже романы. Но это было давно, в годы моей юности, когда я был молод и горяч и... увлекался подобно всем смертным оптическим обманом неопытной молодости. О юность, юность, что не заставишь ты делать! Действительно, господа, я писал романы, но писал не так как нынче. У меня порок был наказан, выставлен в самом грязном, отвратительном виде, а добродетель, как звезда первой величины, ярко сияла на безоблачном горизонте келейной жизни. Черные тучи, омрачавшие небосклон сюжета, расходились, и она торжествовала. Поверьте, господа, таким романам принадлежит будущее отечественной словесности. Если так, то в литературе, коли она

объективность, появятся свои генералы. А под ними объединятся прочие литераторы с единым уставом. Но я отвлекся, извини, жена, так вот, я был романист по призванию *ex proffesso*. Если за *maximum* – высшее мерило литературных способностей индивидуума – принять светлый взгляд, увлекательное изложение, естественность и натуральность в изображении общественной и частной жизни человека во всех ее обстановках и коллизиях, все то, что отражает реализм социальный и одухотворенный идеями. Так что мои труды, как я заметил, могли бы выдержать самую строгую критику и через сто лет. Я ни в коем случае не *arobu* писателей нынешнего времени. Пресловутая Жорж Занд с желанием какого-то изолированного счастья, бесплодного совершенства и с желанием еще чего-то неопределенного кажется на мой взгляд не более не менее вздорной бабой, которую нужно высечь. Все, что она ни писала – это пустая отвлеченность, риторические фигуры, грубая утилитарность. Только женщины с испорченным вкусом, не имеющие никакой женственности, могут кричать в восторге, читая эмансипированные химеры госпожи Дю Дефан, и, закатив глаза, восклицать: *que charmant!!* Совсем это не *charmant*, просто фантасмагория и неприличная *exsate*. Вот еще один идол – Гоголь. Ну что, скажите на милость, господа, вы находите в его творениях – циничную вседозволенность грубой жизни, описание смачных блюд, мир галушек и вареников и непристойные выражения, собранные в кабаках и на ярмарках. Как возьмешь книгу этого господина так и пахнет салом, дегтем, тютюном. *Fi donc!* *Ma chere*, ты никогда не читай Гоголя. Эти его планы разве что для чумаков. Какая в самом деле приятность, когда перед вами откроется совершенно новый мир, как я уже сказал, галушек и жирных вареников, мир, в котором первую роль играют свиньи. Это значит не иметь никакого уважения к законам в отечестве и дерзко насмехаться над святыней зеркала. Его «Ревизор» – ложь, бесконечная, нескончаемая ложь! Где он видел этих молохов, которые сидят на краешках стульев? Я, слава Богу, изъездил всю матушку Россию вдоль и поперек, а, признаюсь, нигде не встречал ни Добчинских, ни Бобчинских. У нас даже в Сибири нет подобных образов. Вот судья в Канске – урод, ха-ха-ха, а исправник в Бердске это истинный род зверолова, да и тот молодец по сравнению с гоголевским городничим. (Пауза. Его Превосходительство изволили проглотить сдобную булочку). Ну так о чем я бишь говорил? Да, о моих романах. Нуте-с, господа, слушайте же, да мотайте на ус, уверяю вас, что все, что ни скажу, можете себе безвозмездно усвоить. Жаль что я не издал свои романы, но мне тогда было не до них. Служебные

дела, военные экзерции и, наконец, главное мое призвание быть генералом, знаете, отвлекают. Сюжет для одного романа был взят мной из библейского сказания о посольстве аравийской и абиссинской царицы к Соломону. Я легким языком и увлекательным изложением хотел наглядным образом ознакомить массу публики с историей, религией и правами аравитян и абиссинцев, сделав свои открытия в области наук и искусств популярными. Многие темные факты истории тогдашнего времени были разъяснены мною до степени занимательной ясности. Факты изложены до совершенства логично, аргументации сильны. Театром, местом действия я избрал пролив Баб-эль-Мандеб. Вы знаете, где этот пролив, корнет? (на вопрос губернатора я отвечал утвердительно и имел дерзость перевести название – «Врата воплей и плача», чем вызвал на себя строгие взгляды). Вы молоды еще судить о художественных приемах, корнет. Наоборот, я этим хотел дать читателю сразу ноту изящности, беспечности и радости. Итак, дело у меня происходит на мысе... (Здесь месье Гасфорда вдруг охватили беспокойные порывистые жесты, обнаруживающие состояние человека, которого забирает смертельная охота сосречь и который, по известной только ему причине, не может привести в исполнение свою забавную шутку: но вот наконец с силой ударив рукой по столу, так что звякнули чашечки, он произнес решительно) Гвардапуп на Бабе-эль-Манда-б! Ха-ха-ха! Ты, жена, не красней, что же ты сделаешь с ними, с нерусскими. Одно слово: арабы! Лучше представь себе картину на мысе... я уже говорил каком, ха-ха-ха! Стойбище аравитян и уединенная палатка царицы Савской на песчаном холме. Стада верблюдов, пасущихся на сытых пажитях счастливой Аравии. Звездное небо и луна в ущербе. Светило ночи бросает дрожащий свет на весь этот пейзаж. Грозные утесы пролива как-то страшно чернеют, море спокойно, и луна отражается на багряных водах Нептуна. Там и сям горят костры и по временам ярко светят, мерцая, огни, и аравитянки сидят у дымных очагов и готовят свой скудный ужин. Только в уединенной палатке царицы не видно огня. Она сидит задумчиво, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловое ожерелье. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. Вдруг она с лихорадочной живостью поднимает глаза в глубь небесной тверди, на звездное небо, и тихие слезы льются ручьем – она молится, ибо аравитяне были сабеисты, сиречь – звездопочитатели. (За этим герр Гасфорд выпивает последний глоток пива). Жаль, корнет, что этих романов у меня теперь нет, я бы дал вам их, как своему адъютанту, в полное и неотъемлемое право. Если бы Вы их издали под своим

именем, нет сомнения, Вы получили бы репутацию и авторитет лучшего писателя. Пишите, пока ум юности счастливо порхает под сводом раздумьев государственных мужей...

Однако моего порхавшего тогда ума юности хватило на то, чтобы не броситься кропать романы под каким бы ни было сводом.

И слава Богу! Но все же через некоторое краткое время, когда я уже пребывал в чине поручика, а от поручика до генеральских погон рукой подать, некий литературный бес принялся серьезно меня смущать: вот-вот, и я бы уселся бы за письменный стол, непременно, как соответствует классику, из краевого дерева, с гусиным пером в легко взлетевшей руке. И все от того, что был я в те годы неосторожен и знался с кем попало, как считал наш провинциальный свет. Даже с ссыльно-каторжными. Среди них в те годы находился и один небезызвестный в России литератор. Готов держать пари, если и существует тот потусторонний персонаж, о котором я уже рискнул упомянуть, то он непременно должен был тесно знать с г-ном Достоевским, а от кого он ему достался по наследству, от Пушкина или от Гоголя, это не важно.

Бесу от литературы как всегда мало испытывать своих хозяев, он сует свой противный нос и в судьбы тех, кто как-то оказывается рядом с ними. Я совершенно уверен, что именно этот парнокопытный тип водил рукой всячески уважаемого и любимого мною Достоевского, когда тот писал мне в одном письме, что мне непременно надо написать записки о степном быте, о моей жизни и т. д. В духе Джона Теннера, уверяя при этом, что это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Уверен в этом, потому как при личных встречах Достоевский наоборот всячески предостерегал меня, как молодого человека, приятного ему, от такой пагубной напасти. Последний разговор на эту тему у нас состоялся уже в Санкт-Петербурге, куда он все же вернулся из ссылки и солдатчины, а я работал там в военно-учетном комитете Генштаба.

Не скажу, что я часто бывал у Д-ского. На столичной квартире у него принялась отчаянно вертеться куча всякого любопытствующего коленопреклоняющего народа, племя особо ненавистного мною. И мне всегда не везло, я обязательно заставлял у него посетителей, прием людей знакомых еще по Сибири, а значит не везло мне вдвойне. В так пришлось мне раз встретиться с одним очень уж умным бароном В. Барон имел прекрасные манеры, но вдруг с ностальгическим пылом заговор о пыльных берегах Иртыша, о сильных и свободолюбивых людях, живущих на тех пространствах.

Этот монолог я стоически выдержал, но когда, казалось, все уже было сказано, он снова разволновался: «Вы, верно, помните госпожу С. Так представьте же, ей, немыслимо как, но все же удалось открыть свой театр!» «Да, сиротский край...», – заметил наш литератор, приподнимаясь посмотреть, не несут ли самовар. Кстати, о сиротах. Конечно, каждый вправе занимать свое внимание только, скажем, явлением самовара, причем когда это ему угодно, но именно по рекомендации Достоевского я имел несчастье заняться любовью с этой самой госпожой С., когда был проездом в прошедшие времена в том самом степном городке с верблюдом на гербе, где Достоевский уже раздавал приятелям выслуженную унтер-офицерскую форму, дабы вернуться наконец свободным в столицу к своим естественным занятиям. И посему я тоже счел возможным не ответить тотчас же утвердительно барону о своем знакомстве с госпожой С.

Наш отличавшийся роковой неистовостью литератор так тосковал в этом пыльном деревянном городке о искусстве, что готов был в каждом выискивать творческое зерно, луч света в темном царстве. Естественно, что миленькая супруга ротного командира тамошнего гарнизона, известная своим личным участием в делах какого-то губернского театра, не могла не вызвать в добрейшем Достоевском сочувствия. И идею создать среди казарм театр он страстно приветствовал и молил всех принять в этом самое деятельное участие, отзываясь о госпоже С., как о необычном таланте, какой только может нам дать эмансипация. У меня же сложилось впечатление, что местная Мельпомена была знакома с театром больше через костюмерную.

– Ах, поручик, – тархтела она в самые неподходящие минуты. – Вы не представляете, какой бенефис был у великолепнейшей Растухоло-Лебедевой. Одного голландского атласа ушло на платье для одного выхода одиннадцать аршин! Я верю в ваше благородство, поручик, и вы обязательно поможете мне! Вот и господин Достоевский уверял, что вы не откажете. Люди тянутся к храму, как зеленые немощные побеги к солнцу в этой выжженной пустыне! Ах, поручик, я отчаялась! Я совершенно отчаялась! Что мечтать о публичном театре, если я не смею думать даже о крохотной интимной домашней сцене. Прошу сыграть простенькую водевильную роль моего супруга и что слышу в ответ?! Ах, боже ты мой, как он смел мне так отвечать! Пришлось ввести в роль примы-любовника нашего денщика Абдулку. Хам, конечно, дикарь, но что делать? К тому же роль была простенькая – изобразить статую, а этот сразу в крик: «Ты мне солдат не растлевай!» Как же теперь жить, чем дышать? Нет, поручик, вы положительно должны мне помочь. Прикажите ему. Вы можете,

можете, можете! Не лгите мне! Вы особа приближенная к губернатору. Не смейте мне отказывать! Что стоит вам? Пустяк, один приказ и все! Будьте благодетелем, поручик, Бог вам воздаст. Есть силы у нашего народа, стоит их лишь разбудить. Возьмите хотя бы нашего болвана Абдулку. Признаться, ему сложно произнести простейший монолог, но зато в какую он умеет вставать позу! Нисколько не хуже чем сам бесподобный трагик Геродот Васильевич Огневой. Что вы так глупо смотрите? Я вам уже не раз говорила о нем. Ну вспомните. Только к нему склонила свою гордую головку Растухоло-Лебедева. Какой это был трогательный и пламенный роман! И никакой грязи! И я посвятила себя таким же принципам. Признаюсь вам, художественная правда требовала, чтобы тот же Абдулка играл роль с обнаженным торсом, но я во имя целомудрия искусства воспротивилась даже ей. Ведь театр не терпит попраiania высокой морали. Вы, конечно, согласны со мной, поручик. И потом... в моем будуаре... видите, до какого отчаянного положения вы довели меня, поручик. Выведите меня из четырех стен к публике, к народу, к России! Там раскроется лишь вся художественная правда моего театра!

За один вечер я пришел в такой ужас от ее феерических наскоков, что уже на следующий день скрытно бежал в Омск. Каким же было мое горе, когда всего лишь через несколько дней она появилась там в пестром окружении Достоевского, дабы иметь честь с толпою про водить его дальше уже из Омска. Я очень любил и люблю г-на Достоевского, и хотя не терплю толпы, не мог позволить себе не прийти проститься с ним перед его желанной дорогой. Простились. И как только мы сделали последние жесты тарантасу, увозившему его от нас, госпожа С., сразу же возобновив свои кавалерские атаки, охватила меня плотным кольцом осады. Надо сказать, что у нее была удивительная способность легко сблизаться с людьми и вызывать у них душевное беспокойство, которое многие воспринимали отчего-то как свое искреннее сопереживание ее заботам. Еще немного и все мои знакомые сочли бы меня виновником какой-то великой трагедии этой премоилой женщины. А надо сказать, что просьба ее в нашем генерал-губернаторстве была совершенно фантастична. Азиатское купечество, как ни выкручивай им шеи, на такое богопротивное дело не вывернешь, а дворянство в наших краях бедное и темное. Правда, светилась неясным пятном одна надежда – провести ассигнование ее затеи через военное ведомство...

Это было то славное и дикое время, когда мой патрон-романист, изнемогая в борьбе со славою князя Потемкина-Таврического, не только отменял решительными циркулярами редкие и оттого неудобные для классических

диспозиций на картах горы в степи, но и усердно покровительствовал всем музам. Улучив момент, когда Его Высокопревосходительство находился в особенно боевом настроении, я Робко заметил, что есть господа, считающий делом армии только казармы, во но театры. «Это форменная чепуха! – воскликнул герр Гасфорд. – Извольте не забывать, что первым видом искусства было воинское искусства, а театром – театр боевых действий. Вообще непонятно, каким образом в нашем цивилизованном обществе еще осталась деятельность...» и etc. И тут я поспешил вставить, что слышал о некой даме, мечтающей поставить спектакль по мотивам неизданных генеральских произведений, среди которых особенно известен сюжет о царице Савской и Соломоне, разлученных водами пролива Баб-эль-Мандеб. На меня вновь обрушился его аравитянский роман, но я стерпел... и в городок госпожи С., точнее ее мужу, верному вояке, стрелянному еще в Крымскую, полетело предписание считать инвалидную команду гарнизонным театром и составить ей особое довольствие с выплатой соответствующих затрат.

Но я отвлекся, вернемся же к месту, где наш литератор не пожелал кинуться в воспоминания о госпоже С., и я, естественно, предпочел вслед за старшим товарищем отмолчаться, а между тем барон все говорил, оглядывая наши непроницаемые лица, с удовольствием осведомленного рассказчика:

«В этом театре участвуют жены офицеров, несколько инвалидов, но все же! Первый театр в этом Богом забытом крае. А вы, султан, видели этот театр?» «Нет, инвалидный театр мне еще не приходилось видеть, но я был в цирке лилипутов», – отвечал я. Чем вызвал укоризненное покачивание бороды деликатнейшего Достоевского, которая, как бы отыгрываясь за бритую солдатчину, дала к этому времени удивительно быстрый рост. «Инвалиды, – отвечал мне барон, поджимая губы, – больше за кулисами бьют в железо, изображая выстрелы и гром. И хотя сама госпожа С. в силу слабого здоровья давно уже не ставит спектакли, а только как бы попечительствует, ее гражданский подвиг достоин всяческой похвалы и даже, может быть, описания!» И тут тот самый литературный бес, который так и крутился вокруг, принялся щекотать меня и подзуживать: ну-ну, мол, вот он очень удобный случай подтвердить благосклонное отношение к твоему таланту со стороны знаменитого писателя. И я не выдержал и, поглядывая испытательно в сторону Достоевского, сказал: «А не написать ли мне об этой музе, отдавшей жизнь на просвещение дикого края, роман?»

Достоевский сразу поскуchnел и уже громко принялся распоряжаться внести самовар. Я понял свой проигрыш, но, решив отступить с наименьшими

потерями, продолжил: «А начну сий роман так: «... ночь. Царица Савская уединенно и задумчиво сидит, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловые бусы. Верблюд, должно быть, из тех, что когда-то паслись на пажитях Аравии, тереться линялым боком о стены и стучал ставнями. Вдруг царица с лихорадочной живостью поднимает глаза к небесной звездной тверди и, хотя видит только лишь скверно выбеленный потолок, молится, ибо аравитянки были звездопочитателями. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. «О, мой властелин, – восклицает она, обращаясь с кровати к мужу, занятому своей трубкой. – Будьте хоть бы вы мне на миг Соломоном». На что ротный командир, прикурив суровый табак от расплывшейся свечки, строго отвечает: «Я, жена, крещен и быть Соломоном никак не могу», – и выходит гнать прочь от дома облезлого верблюда в темноту азиатского городка. Взглянув с почти девичьей обидой на удалявшуюся сухую спину старого мужа, царица Савская заплакала еще горше».

Достоевский с самым серьезным видом раскалывавший сахарную головку, не выдержал и хмыкнул: «Вы, барон, – обратился он к своему визитеру, – не сердитесь на нашего поручика, который, впрочем, уже штабс-капитан... простите, ротмистр. Я его люблю, но он ужасный фантазер. Надо же было побеспокоить столь уважаемую тень Соломона!»

В том же водевильном стиле я бросился оспаривать такой приговор на свой предполагаемый талант: «Между прочим, один весьма и весьма крупный чин уверял меня, что ежели я именно так с Соломоном и аравитянками начну свой роман, то успех мне обеспечен».

Достоевский не ответил. А барон продолжил свой рассказ, правда, более сердито: «Описывать жизнь нашей театралки, может быть, и не надо, но вот помочь мы ей должны. Все-таки это гражданский акт. И поверьте, нельзя, чтобы эта искра потухла. Ведь в этом театре уже собрались удивительные люди. А какие таланты! Верьте, очень и очень незаурядные. Прошу, господа, верить мне на слово, но в этой труппе есть субъект, который без сомнения великий актер. Гамлета он не играл, да и не ведает, видимо, о нем, но то, что я в его исполнении роли какого-то московского франта вдруг увидел принца датского, поразило меня. Вам представится, что это галлюцинация, но я почему-то после спектакля только так и подумал!» «Отчего же галлюцинация, – обжигаясь почти кипящим чаем, пробормотал Достоевский. – По степени душевных мук, мук выбора, когда невозможны компромиссы... Даже, быть может, русский человек еще более страдалец, хотя бы потому, что русский и

не может до конца решить, как европейский принц: «Быть или не быть». Но кто же он, ваш талант?» «Всего лишь денщик ротного командира! – развел торжественно руками барон. – Белокурый татарин, почти не знающий языка, но при этом свои монологи произносящий безукоризненно чисто. Вам обязательно, султан, необходимо по возвращении сблизиться с ним. Редчайший случай!» «Конечно, редчайший, – согласился я. – Особенно если вспомнить и моего денщика, тоже татарина и тоже произносящего без всякого акцента «водка» и «копейка». «Да как вы можете, султан, каламбурить, когда речь действительно идет о подлинном и, может быть – великом актере! А ведь вначале, вы не поверите, его почти силой, приказом заставили выходить на сцену!», – окончательно разволновался барон, вскидывая руку с бриллиантовым перстнем и голову так, что пальцы и волосы изобразили на его лбу настоящий шторм. – Если бы видели с какой мощью таланта он преображается!». «Совершеннейшая правда, барон, – отвечал я. – По физиономии этой бестии никогда не поймешь: чистил он сегодня мой мундир или нет».

Наверное, и я рассердил. Мне стало досадно, что я снова как мальчишка пытался выпросить это чертово литературное благословение. Хочешь писать – пиши! Чешется – чеши! Твоя забота! Тут Достоевский произнес: «О чем вы спорите, господа? Разве важно чей денщик более актер, да впрочем не об этом у вас спор. Не здесь драма. Она в том, что оба эти денщика денщики поневоле. А если кто-то из них еще и человек таланта, то тут действительно горе. Бездна горя! Вот где тема для книг. Но обязательно такую книгу не купят. Скучно читателю станет, – он притронулся ладонью к стоявшему уже на столе горячему самовару и закончил. – Остыл. Надо писать что-нибудь легкое, занимательное. К примеру, о Соломоне и аравитянках, здесь, дорогой мой султан, ваш крупный чин действительно прав. Или о том, как студент убивает мерзкую старуху ростовщицу. Все понятно... за что, почему и как хитро его ловят. Да вот беда, которую никак не хочет автор, он ее боится, ненавидит, да что делать, если этот студент обязательно там же убьет и ребенка, ну почти ребенка... ребенка, но это невозможно! Зачем же ребенка?! А ведь убьет... и топор еще в руке, а шагнуть назад – ног нет. Что же обманывать себя, искать оправданий! Ребенок. Сколько бы ей не было, все одно – она дитя и, может, несчастней иного ребенка. Нет, только отказаться, и вы отказывайтесь! Не божье это дело, – отпил глоточек от свеженалитой дымящейся чашки и закончил, уже раздраженно. – Совершенно холодный. Давайте-ка, господа, велим самовар раскипятить! Лучше студент мой убьет двух старух, вначале

одну, затем другую. Или трех. И автор доволен: роман выйдет толще, и читатель: старух жалко. А про этого актера давайте забудем, забудем, пусть он там где-нибудь сам живет... А ведь не даст ваш, барон, денщик ни себе, ни другим жить. И правильно, и поделом. А не буди душу! Не тобой дана, не тебе тревожить!»

По возвращении на следующий год в Омск я уже скоро имел случай убедиться, что пророчества любезнейшего Достоевского сбываются. Впрочем, что тут удивляться, не он ли сам был одним из зачинателей всей этой печальной истории. Да еще если вспомнить его мистического спутника, с кем он время от времени общался, да не раз, видимо, с ним чаевничал, обсуждая потусторонние дела запросто, как мы прочие, смертные, обсуждаем погоду?

Не успел я распаковать свои дорожные баулы, как ко мне со стенаниями и воплями ворвалась госпожа С. «Где вы пропадаете, поручик?» «Прошу прощения, сударыня, штабс-ротмистр», – решил я сразу прибегнуть к строгости отношений. «Какая разница, поручик! Это в конце концов не честно, не благородно. Я ожидаю вас уже целый день! Целую вечность. Ах, ма шер, ма шер, но что мне делать, что? К чьему я могу еще припасть плечу в эту тяжкую для меня минуту? Вы должны, должны, обязаны протянуть мне руку дружбы. Ах, не делайте этих жестов, я ненавижу все, что напоминает мне театр! Представьте себе, поручик, он сбежал!» «Штабс-ротмистр, сударыня!» «Поздравляю, но я это не смогу выговорить. Верните мне его!», – и плюхнулась со всеми своими юбками на мою и так довольно помятую оттоманку, помахивая всером у лица, покрытого тусклой бледностью. «И кого же я должен вернуть, сударыня? – спросил я так же сухо, стараясь вытянуть из-под нее еще не прочитанный номер газеты. «Как кого? Конечно же, Абдулку!» «К сожалению, сударыня, не имел чести знать», – ответил я непреклонно и, бросив свои попытки взять газетные листы, заходил по комнате, делая вид, что вот-вот должен выйти вон по делам службы, даже сунул какую-то папку под мышку. Но все мои маневры закончились полным фиаско. Госпожа С. и не думала покидать меня, с жаром принявшись говорить какой-то нескончаемый вздор, который, впрочем, отчасти заменил мне газетные новости. Я сел в кресло, закурил сигару и терпеливо принялся выслушивать ее. «Ах, мой друг, это животное, представьте себе, действительно вообразило себя актером. Это то, которое понятия не имело, что такое роль, амплуа, выход! И это после всего того, что я в него с таким трепетом вложила! Неблагодарная тварь!». Она гневно вскочила, встал и я, с надеждой сдвинувшись к двери, но она так агрессивно размахивала костяным всером, что я вновь предпочел усесться

поглубже в кресло. Оказалось, что, да, действительно, театральная жизнь не пришлась по вкусу денщику Абдулке. Поначалу он делал все, чтобы его оставили в покое, даже ухитрился в день по десятки раз вызывать у себя чудовищную рвоту и попасть в лазарет. Молился Аллаху по пять раз в день. Но госпожа С. не оставила его и там, вынуждая перепуганного солдата выучивать невесть зачем непонятные сумасшедшие речи. Так всего лишь за месяц она довела этого здорового, видимо, неглупого парня до полного инвалидного состояния. Да простит мне Всевышний мое греховное словоблудие, но без некой потусторонней цепи предопределенностей, видимо, здесь не обошлось, так как из Омска в это время уже катил на перекладных тот составленный мной приказ о гарнизонном театре из инвалидной команды. И как не сопротивлялся взбалмошной жене батальонный командир, но денщика он своего потерял окончательно. Сам виноват, не бери жену из актрис, тем более на склоне лет. Но оставим в мире заслуженного вояку и вернемся к сюжету. От Абдулки госпожа С. скоро сама отступилась, он действительно стал нездоров умом, что выражалось в истерических непрерывных кривляниях лица, тем паче, что и без него теперь у нее было достаточно актеров. Какое-то время он поднимал и опускал занавес, но вот в театре появился какой-то ссыльный чахоточный поляк и теперь он принялся донимать бывшего денщика. Со слов госпожи С. выходило так, что как раз не она, а этот поляк нанес непоправимый ущерб его уму. Он принялся учить Абдулку дышать, как дышит лошадь, уверял его, что человек может быть птицей и, что совершенно безумство, живым деревом. Без сомнения, утверждала она, это и было первым толчком к его безрассудному побегу. Однако, что удивительно, после сближения с этим персонажем Абдулка перестал кривляться и вдруг стал исполнять роли. Правда, не у нее в спектаклях, а у того же ненормального поляка, которого она из-за мнения местного общества должна была терпеть. Поляк поляком, но небольшие сценки уже в своем будуаре, как я понял, Абдулку она все же опять принудила разыгрывать. Хотя почему принудила? Бывали минуты, когда она умела быть очень очаровательной. Так прошел еще год, больше. Батальонный командир смотрел, смотрел на эти спектакли и взял и обратно сунул Абдулку в строй. И его можно понять, да и должно: солдат стал здоров, так что тут один святой долг перед царем и отечеством. Тогда этот Абдулка и бежал.

Поведав все это на одном выдохе, госпожа С. выжидательно замолкла.

—Так чем могу служить, сударыня? — сказал я, вставая.

— Верните мне его, сколько же можно это повторять!

—Как?!

Мое изумление ее нисколько не смутило и она не терпящим возражений тоном (Все-таки жила же она с ротным командиром) заявила: «Поймайте его!»

Жизнь вообще настолько курьезна и неизвинительна, что единственным спасением остается воспринимать ее только как комедию, но на этот раз я не смог даже улыбнуться, просто опрокинулся назад в кресло и так был взбешен, что раскурил свою потухшую сигарету уже без огня.

– Ну что вам стоит, поручик? Вы ведь все можете! Вы там в свите, в канцелярии губернатора! Вам можно приказывать. Если вы думаете, что я влюблена в этого болвана, то это дурно. Что стоит вам поймать одного беглеца?

– Обратитесь в полицию, сударыня, – стиснув зубы, еле выговорил я. Нисколько не отступая от вихревого сигаретного дыма (в тот момент она пошла бы и на картечь), госпожа С. кинулась, теперь уже слезливо, горячо умолять меня:

– Там же такие тупицы! Они никогда не смогут его поймать. Они не там ищут. А я знаю, я думала...

– Что тут думать, – отвечал я механически. – Наверняка этот Ваш Абдулка в каком-нибудь балагане.

– Да-да! Так распорядитесь! Прикажите команде пройти по театрам, проверить гастрольные труппы, расспросить актеров с пристрастием.

– Увольте, сударыня!

– Но я сама никак не могу! Я – дама. А там пойдут вопросы, ворох почему я и зачем мне. Он все-таки солдат, а я... А муж... как будто бы и не бежал у него солдат! Возмутительно! Ну что мне делать, что? Не писать же подметное письмо.

Но я уже не слушал ее, голова разболелась нетерпимо. И потом еще с Петербурга меня стал мучить кашель и грудная слабость. Не помню как мне удалось тогда отбиться от этой особы, возможно, меня спасло то, что почти в тот же день я взял отпуск и выехал на все лето к отцу в Ставку, в степь.

Столичным приятелям я не писал, надеясь самому в октябре быть в Санкт-Петербурге, но здоровье мое к осени, несмотря на полный курс лечения кумысом, не поправилось, да и в декабре оказалось очень слабым. Так постепенно я пришел к унылому заключению, что и в Санкт-Петербурге мне постоянно жить нельзя. Я строил планы получить место консула в Кашгаре, а в противном случае служить у себя в Орде по выборам. Думал я посвятить себя на пользу соотечественников, защищая их от чиновников и деспотизма богатых, и был выбран большинством голосов, несмотря на то, что меня обвинили в толпе в самых жутких прегрешениях вплоть до того, что я-де «не

имею череп гладко выбритый», как предписано правоверному, и не совершаю пять омовений в день, и, главное на то, что партию моего противника поддерживал сам губернаторский секретарь, баварский немец, оставивший когда-то родной Мюнхен, дабы обирать кочевников в независимой Татарии и на их деньги шить жене и сестрице с имечком, оканчивающимся на «chen», померанцевые платья на цитроновых лентах. Тогда мой противник, уступавший мне в голосах в три раза, отвез в Омск тысячу рублей.

Я много читал обличительных статей, но на этот раз думал: постыдятся, подлецы, и не тронулся с места. Гордость обуяла. К этим же неприятностям прибавились и семейные трения. Когда-то отец был дружен с одним из султанов из оренбургской степи и дал ему слово породниться. Вот и решил с матушкой женить меня на его дочери: будет, мол, ему таскаться. Надо сказать, что предназначенная мне невеста была влюблена в моего брата и писала ему часто в это самое время нежные послания. Я, разумеется, отказался от женитьбы, особенно в таких обстоятельствах, и выразил свой взгляд на супружество. Это совершенно озадачило моих родителей и привело в ужас. Сын против отцовской воли! «Вот на что я воспитал его, – роптал отец. – Не уважил меня и мать на старости лет». Матушка заговорила о своем молоке, даром потраченном. Действительно, с киргиз-казакской точки зрения это была ужасная неблагодарность и дурно ставила меня в глазах сородичей. Отец был так огорчен, что где-то торжественно объявил, что не намерен более воспитывать своих детей по-европейски. «Они портятся», – так говорил он в заключение. Но дорогой мой отец, многоуважаемый и высокочтимый полковник султан Валиев, как быть с чувствами? Они ведь не портятся, воспитывай хоть как человека: по-европейски ли, по-африкански ли!

Мои родные – люди добрые, честные и очень неглупые, но все-таки киргиз-казаки и при том киргиз-казаки-аристократы и имеют потому множество как национальных, так и сословных предрассудков и качеств. Особенно выделяются непомерное упорство и тщеславие (последнее качество можно назвать национальным). Понятно после этого, что они имеют слишком высокое мнение о себе, о своем уме и прочее. И понятно, что всякие споры вызывают у них только раздражение, особенно если оспариваются обычаи предков, которые в народе почти боготворятся. К тому же у киргиз-казаков много песен (я разумею это слово в смысле, в каком разумели его в средние века, например, «Песнь о Роланде»), бездна поговорок и афоризмов, сочиненных когда-то их умными предками. И теперь не все мои оговорки и доводы они находили кроме

личных, еще и аргументы старины, при этом испытывая ко мне жалость, которую испытывают при разговоре со слабоумными простаками.

Так под град упреков, нравоучений и благоразумных советов покориться прошла вся эта долгая зима. Бросить все и уехать по отличному санному пути я не мог хотя бы просто из-за принципа – губернские власти все еще не могли решиться окончательно припасть к толстой мощне моего противника. Быть же здесь составило мне сплошную муку. Бог с ним, я готов был часами выслушивать аргументы старины, многие из них были действительно забавны и действительно умны, но видеть, вернее, не видеть каждый день глаза влюбленного в ту девицу брата, прятавшего их от меня при любой встрече, представилось совершенно невозможным. Не решаясь открыто заговорить со мной, как со старшим, он, однако, все же боролся за свое счастье, правда, весьма оригинальным способом: выискивал на всех доступных ему дорогах исполнителей баллад о трагедиях разлученных влюбленных и засылал их ко мне. И то, что я не рыдал, выслушивая их под аккомпанемент домбры и даже однажды гармошки и скрипки, и с довольной физиономией записывал что-то, приводило его, наверно, в полное отчаяние, и певцы с каждым разом пели все более и более безысходные варианты драм, в которых уже без смерти никак не обходилось. Наконец, когда мне спели, начав утром и кончив утром уже следующего дня поэму о Баян-Слу и Козы-Корпеш, где жених убит, а невеста убивает себя, воспользовавшись тем же кинжалом, я понял, что задерживаться мне теперь нельзя ни дня. Тут кстати пришло и известие, что на должность султанского правителя в уезде утвержден самим генерал-губернатором не я, а тот богатей-пройдоха. Я окончательно отказался от оренбургской невесты и опять бежал в противный мне своими сплетнями и интригами Омск. Нет, не искать правды, ибо правда как раз в том, что у нас на Руси законы пишутся не для генералов, да и генералы больше любят, как мне известно, натуральных киргиз-казаков, потому что в них, знаете, больше этой восточной подбострастности: «Гирей сидел, потупив взор...» и прочий вздор. Глупо нынче просить удовлетворения свыше. По моему, это то же самое, что просить конституцию: посадят да потом еще сошлют к Макару на пастбище. В Омске я занялся сгоряча подготовкой юридической реформы и не выходил из архива суда.

Нет никаких сил и желания заканчивать эту историю, начатую весьма не к месту рассуждениями генерала о романотворчестве. Но его жена мадам Гасфорд без сомнения права: романы врут, все, что в них есть – вздор.

В те дни листая дела в коллегии, я наткнулся на папку о принудительном возвращении жены некому батальонному командиру. Ба! – воскликнул я, да ведь это же мои старые знакомцы. Вчитался, и по тому, что можно понять между строк, понял, что дело заведено вовсе не от того, что батальонный командир отчаянно скучал по своей супруге в пограничном гарнизоне, а скорее всего потому, что эта госпожа С. совершила нечто такое, что смущало мораль местного высшего света, и быть этой особе не то чтобы в нем, а даже подле него не полагалось. И по слабости своего характера не мог упустить случая шокировать наших моралистов, появившись снова перед нами с госпожой С. Сколько раз я укорял себя за эту черту! Нет же, снова и снова эпатировал, злил публику. А ей-то что? Обыватель непобедим, пожмет плечами, закатит в возмущении глазки, а сам ты вдруг оказываешься один у той беды, о которой предупреждал теперь уже знаменитый на всю Россию литератор. И сейчас никто меня не толкал разыскивать эту женщину, тем более, что это оказалось сделать крайне трудно. Во-первых, о ней никто не хотел говорить, затем она сама уже нигде не появлялась. Наконец я ее нашел в третьеразрядной гостинице, хотя какая гостиница! Это был, пожалуй, просто постоялый двор. Спросил хозяина. «А, это помешанная? Извольте, в седьмом номере», – любезно пояснил тот и провел меня в каморку под лестницей, где на топчане с сырым солдатским одеяльцем сидела изнуренная баба седыми прядями волос, торчащими из-под кружевного грязного чепчика. «Только вы уж, господин офицер, дверь затворите, – предупредил меня хозяин, почесывая себя обеими руками в самых невероятных местах. «А что?». «Как что-с? Мне четвертной обещано, коли продержу туга до Вербы». «Пошел вон!». «Слушаюсь! Только дверь-то попридерживайте...», – сказал несколько не смутившись хозяин этого сквернейшего места и пошел себе чесаться в темноту коридора.

Признаюсь, я уже был согласен без лишних слов ретироваться, как вдруг она вскочила со своего топчана и, отвратительно кокетничая, принялась приплясывать подле меня. «Ах, поручик! Как я рада вас видеть, идите же сюда, несносный!».

Нет, предпочту все же не описывать далее эту встречу. Только кратко, и только то, что мне удалось узнать позднее. Все это время, когда я был в Ставке отца, она разыскивала по городам и весям своего актера Абдулку, бежавшего от бессрочной службы солдата, и ведь нашла его где-то в затаежном Ачинске в какой-то бродячей трупке. Она готова была на все ради него, даже бродяжничать с этим театриком, не имевшем даже понятия о

ангажементе, да вот Абдулка напрочь отказался и от нее и от тех денежных средств, которые она еще не успела прожить. В порыве яростной ревности она и сообщила о нем полиции, надеясь, что дезертира насильно вернут обратно в роту мужа, а там, смотришь, и в ее будуар. Его арестовали, но случилось совершенно другое, вернее, то, что и должно было произойти. Абдулку провели сквозь строй. Как она умоляла, просила, заклинала этого не делать и кого только не просила! Но добились лишь того, что ее перестали пускать даже на порог. Что же касается Абдулки, то, истощенный голодной и пьяной актерской судьбой, он не выдержал и помер после экзекуции и, кажется это была последняя кара шпицрутенами в истории Российской империи. Я попытался вывести из этого заточения госпожу С., но она вдруг истерично заупрямилась и испуганно зарыдала. Да и хозяин этой тараканьей тюрьмы снова выступил из темноты и так яростно принялся почесываться, что казалось, вот-вот кинется чесать и меня. На следующий день я снова был в этом дворе, но оказалось, что госпожу С. часом раньше увез ее муж.

Не знаю сколько я прошел под землей опять, но видимо большое расстояние, так как снова притомился и сел на песок. Даже прилег и вновь почувствовал, как песчаное русло несет меня туда, откуда я только что притопап. Была мысль воспротивиться, но потом я махнул на все рукой и погрузился в привычные уже для меня, хотя и не самые приятные, озвученные и движущиеся сцены из моей жизни.

Просматривая свой последний дневник, я вижу неровные строчки, писанные при свете походного костра. В этой экспедиции в нем горели серые ветки *Juniperus sabina*, взятые в запас, так как на этом пути до самой границы Малой Бухарии – Кашгара, нет другого топлива. В этой закрытой от британцев и России стране мне предстояла исполнить роль резидента военной разведки.

Перейдя 9 сентября 1858 года воды горной Зауки, мы вступили в страны неведомые и незнаемые. Караван наш только что успел разбить шатры на небольшой болотистой полянке, покрытой местами сугробами. Идет снегопад и холодно. Впрочем, я очень доволен. Еще всего десять дней назад я, дожидаясь этого экспедиционного каравана, скрывался в родных степях среди камней, а ночью рыскал как барымтач. Со мною не было ничего: ни огнива, ни хлеба, ни воды. И сам я был кто? Ни русский офицер, ни киргиз-казакский султан, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Снаряжавший меня и любивший нападать на мой *dendysme*, полковник К. К. Г-ский, лишивший меня всех

удобств ради высшей секретности до той степени, которая, видимо, ему, стороннику натуральной школы, казалась идеальной, не выдержал бы и половину моих тогдашних мучений. Я не имел даже подорожной, которую я бы очень бережно держал под полою плаща, которого тоже не было. А без нее, стоило мне только двинуться с места, отмеченного как точка тайной встречи с караваном, меня могли схватит казаки и представить в приказ как бродягу, или же братья киреевцы могли ограбить, оставив в виде Адама, изгнанного из рая. Но, слава Аллаху, все позади, и я пью чай у этого костра, пью как привык, покупечески. Больше того, кашевар Кошкар готовит мне ужин. Кругом слышно блеянье овец и говор работников, сидящих вокруг огней в ожидании горячей похлебки. Речь, кажется, идет у них о трудностях сегодняшнего подъема. Слышу, как Бекмурза, киргиз из соседнего коша, рассказывает с большим жаром, как его верблюд с вьюком упал с косогора и как он спасал его. Затем о том, как два года назад зимой проходил Хабарасу в Тарбагатае и что путь там среди скал так был скользок, что целыми днями они рубили ступеньки во льду, а в покатых местах клали под верблюдов войлок. Кто-то из них сравнивает пройденную нами Зауку с Кендыр-диваном по пути в Ташкент и находит, что Кендыр круче и выше. Ему возражали, утверждая, что Зауку опасней: здесь дорога малоизвестна и не утоптана. Это все народ бывалый и многие из них всю свою жизнь служат при караванах и отлично знают географию пройденных ими стран. Не удивлюсь, если кто-то из них был, скажем, в Аравии или Индии. Затем после непродолжительной тишины, когда беседа приняла особенно интимный сгусток, вполголоса заговорил один малый по имени Акжол, известный в караване своим красноречием. Я не все слышал в силу отдаленности моего ложа от того очага, где они расположились и беседовали, но какие-то отрывки речи Акжолы все-таки достигали меня:

— ...отец его, джунгарский хан, имел еще сына Калдана. Шуна жил с наложницей Кара-кыз, в которую влюбился, но на ней женился его брат. Оскорбленный Шуна сдержал себя как мог и пригласил своих лучших двенадцать друзей разгуляться по хребтам Алтая. Отъехал он с ними на не один конский пробег от родного аула, рассказал друзьям о своей обиде и, не выдержав тут, развернулся и выпустил стрелу в сторону оставшегося в ауле жилища брата. Стрела летела день, но вонзилась прямо в дверь братовой юрты.

— Пах! Пах! — удивлялись слушатели рассказу Акжолы.

— Калдан узнал по стреле ее хозяина, — огорченно сообщил дальше рассказчик и продолжал еще более скорбно. — И пожаловался хану-отцу. Когда Шуна возвратился домой, хан-отец велел схватить его, вырезать ему лопатки

и связать сыромятными ремнями руки и ноги, а затем бросить в подземелье. Это сделано было быстро и секретно и никто не узнал, куда девался любимец народа. Только один старик, входящий в дом хана, догадался об истине. Сделал от своей хижины подкоп к темнице и в продолжении семи лет тайно питал узника. А между тем, сильный сосед Черный калмык, узнавши, что не стало вешего батыра Шуны, присылает к отцу-хану двух сорок, из которых одна была настоящая, а другая превращенная колдовством из вороны. И условие, если хан-отец отличит настоящую сороку от мнимой, то он, Черный калмык, будет платить ему дань по-прежнему, если же не отличит, то перестанет. Не знал ответа хан-отец и сильно запечалился. И вот старик однажды, доставив еду Шуне, рассказал ему о горе отца. Шуна сказал: «Велика ли мудрость отличить сороку от вороны! Ты посоветуй моему отцу поставить шест, а подле шеста навес и в ненастное время выпустить птиц. Сорока полетит под навес, а ворона сядет на шест». Таким образом, птицы были разгаданы и Черный калмык остался данником, но никто не узнал, что это совет Шуны.

– Пах! Пах! Пах! Барекельды!

– Спустя год Черный калмык опять посылает к отцу-хану послов с поклажей, составленной из дерева, обтесанного гладко со всех сторон, с задачей – отличить где вершина, где корень. Опять отец-хан запечалился, и снова старик рассказал о печали хана Шуне. Шуна научил пустить бревно в воду, и тот конец, который утонет, будет со стороны корня, а вершина поднимется над водой. Снова Черный калмык остался данником.

– Пах! Пах! Пах! Афырай!

– Но через год он уже не загадку задает, а присылает железный лук, чтобы на него натянули тетиву. Однако лук был такой тугой, что никто не мог этого сделать. Бросились тридцать мужчин разом и все безуспешно.

Тогда Шуна научил своего старика заплакать перед ханом с такими словами: «Своего батыра мы сами уничтожили, а теперь должны покориться даннику!». Старик так и сделал. Услышав такие слова, хан-отец воскликнул: «Да не жив ли он?». Пошли посмотреть. Вытащили Шуну из ямы, а он весь оброс мхом, плечи его зажили, но он разучился видеть белый свет, упал ниц и пролежал так целый день, лишь ночью встал. Отец приказал его вымыть молоком и нарядить. Тогда Шуна спросил: «Для чего ты, родитель, меня, мертвеца, пошевелил?». Но хан-отец, вместо ответа, дал ему целую гору вареного до первого закипания мяса и целую чару вина. Съел мясо с кровью Шуна, выпил вино единым духом, подали другую чару, выпил и другую и закусил целым бараном. Тогда хан-отец пересказал ему свое горе. «Пусть

несут лук», – велел Шуна. Тридцать человек, шатаясь от тяжести, поднесли к нему тот лук. Шуна согнул лук и одним мизинцем наложил на него тетиву. Потом сказал отцу: «Ну, родимый родитель, благословляй меня в путь, я тебе больше не сын, ты мне не отец». С этими словами и оставил свое царство.

– Пай! Пай! Пай! – запричитали слушавшие Акжол путники. Вот истинно простодушные сердца.

Чу! Шум: стада бегут на гору. Вот слышен отчаянный голос караванбаши: «Да буду я твоим серым ослом! Чтобы мне заплатить за все расходы!». И рассказчик и все его благодарные слушатели тут же вскочили со своих мест и бегут к гуртам. Слышны крики: «Айт! Гони! Айт!».

Представляю, как разочарован этим наш краснобай, при других условиях готовый рассказывать дальше своей аудитории и о том, как Шуна стал ханом Кокандии, и о том, как, конечно же, сам оставив престол, ушел к калмыкам на Волгу, опять же везде устанавливая справедливость, и тому подобную чепуху, до которой киргизы большие охотники. Такие притчи во множестве ходят в степи.

Постепенно шум стих, и работники стали возвращаться к своим кострам. Болтун Акжол в этот раз направился к моему очагу и пристроился рядом со мной на корточках.

– Волк, что ли? – спрашиваю я его.

– Он сам, – отвечает Акжол.

Вслед за Акжолом подходит еще один пастух и, приняв грустный вид, говорит плачущим голосом, что волк порвал одну из наших овец, затем эгоистически добавляет:

– Нет, чтобы ему, подлецу, порвать у других!

Огонь потух, все замолчали, я начинаю мерзнуть, да и время, должно быть, позднее.

– Кошкар, готовь постель, – велю я.

На следующий день караван поднялся рано. Утро было чрезвычайно холодное. Крик верблюдов и голоса работников не сразу оторвали меня от крепкого сна. В коше снова горел огонь и приятно шумел кипящий чайник. Завернувшись в шубу, я расположился около костра с пиалой. Вдруг раздался повелительный голос караванбаши Мусабая, приказавший снять шатры и выючить верблюдов. Я нисколько не поторопился, согласный недосыпать, что, признаюсь для меня мука, но ни за что не способный примириться с тем, что мне не дают по-настоящему насладиться, пусть с дымком, но чаем.

А кругом началось шумное движение: брань, проклятья, благочестивые призывы к Всевышнему, Пророку и святым оглашали узкое ущелье. Надо предупредить шуметь меньше, не дай Бог, все это вызовет камнепад, что нередко случается в этих краях. Но встать и вступить в разговоры с караванщиком лень. Едва я успеваю закончить чаепитие, как караван выступает в путь. Кроме меня у своего костра задержались бухарцы. Эти не могут тронуться в дорогу, не раскурив свой обычный кальян с обязательными зернами мака. Кальян обходит всех и густое облако дыма покрывает всю компанию. В противовес им я закуриваю обычную трубку.

Наконец, все собрались, и тут в нашем караване замечают, что нет Акжолы. Покричали, он не ответил. Караванбаши уже на коне, мы следуем его примеру. Начиная каждый переход, Мусабай, считавшийся с некоторого числа этого года моим родным дядюшкой, становится серьезен и даже обычную свою присказку об осле, которым он готов стать во избежание следующих нелепостей, оставляет. Теперь он собран и суров, как адмирал у штурвала флагманского корабля. Он погоняет коня, чтобы догнать вереницу ушедших вперед верблюдов, мы тоже дали ход. Между нами царит глубокое молчание, в котором, несомненно, есть нечто тревожное. А между тем, большинству из нас не дают раскрыть рта окоченевшие от холода скулы и растрескавшиеся от морозного горного ветра губы.

Одетые в шубы и подпоясанные крепко широкими кушаками и с красными носами на посиневших лицах, мы похожи на буддийских бурханов: шарообразные наши фигуры лишены в седлах всякого движения. Наши меховые и ватные одеяния, как панцири, теснят дыхание.

Если же приложить усилие пояснице и чуть приподняться, то можно увидеть, как наши верблюды уже спускаются рядом к долине реки Аксай. Затем караванная тропа предположительно перейдет эту реку и где-то там, через проход Кокия, выйдет на первый маньчжурский пикет.

Рабочие-киргизы в своих войлочных плащах, обслуживающие караван, вообще похожи на неодушевленные существа. А если признать, что окрестная картина наводила серое уныние, то можно понять возникшую во мне мрачность мыслей: кругом желтые горы, лишь впереди виден кусочек выветренной долины. Остовы лошадей и баранов покрывают все кругом, на некоторых из них еще висит лохмотьями шкура и видны высушенные ветром куски мяса. Этот скот, должно, погиб год назад от здешнего снега и морозов. Я слышал, что тогда были особенные своей смертельной силой снега, которые

горные киргизы весной называют сарыкар – желтыми. Не удивлюсь, если среди бесконечных этих костей лежат и человеческие скелеты. Но кроме меня, видимо, никто не думает об этом, нисколько не отягощаясь местностью, и спокойно двигаются вперед. Впереди на сопке стоят наши товарищи по путешествию – хивинские купцы. Один из наших сартов срывает господствовавшую печать безмолвия, и мы, удивленные раздавшимся обычному человеческому голосу, разом оборачиваемся к нему.

– Что вы встали, – говорит он хрипло. – Разве не видите, что нас зовут, – и озабоченно показал рукой на ту дальнюю сопку.

Действительно, один из стоявших там купцов делал телом вольты направо, что принято считать знаком призыва. Мы поскакали к нему, признав в нем знакомого, который до нас уже несколько раз бывал в Кашгаре.

– Что такое? – спросили мы после взаимных приветствий.

– Пока, слава Аллаху, – говорит этот купец с окладистой белой бородой. – Опасности, видимо, нет, но надо быть осторожными. Дело в том, что эта долина есть самое опасное место, все разбойники проходят по ней. А потому я прошу вас зарядить ружья и не отходить караванам далеко от нас.

– Воля Аллаха да будет, – говорит наш караванбаши Мусабай, склонный к фатализму. – Без его воли и волос не выпадет из бороды, – но все-таки остановил караван и переставил людей. Теперь и впереди и сзади появились молодцы с ружьями. Выяснилось к тому же, что тот краноречивый малый Акжол так и не появился. Он был из числа тех работников, которые присоединились к нам уже у самой границы, в общем – чужак, и Мусабай решил махнуть на него рукой. Мне же стало жаль этого спутника – пропасть здесь не составляет никакой трудности. Я, таясь, развернул свою лошадку и поспешил к тому месту, где мы давеча разбивали лагерь. Заметь мой маневр Мусабай, он ни за что не разрешил бы мне это сделать. Еще бы, ведь бедняга отвечал за меня не только головой, но и всем своим торговым состоянием.

У потухших костров Акжола не оказалось. Я проехал дальше за отвесную гранитную скалу и увидел, как за ней, на краю пропасти, прямо на валуне стоит человек. Стоял он прямо, разве что выставив вперед ногу, и, казалось, в нем ничего не было особенного, если бы не серое его лицо, окаменевшее на ветру. Глаза сузились до сущих ниточек. Нос заострился как клюв. Не будет преувеличением, если скажу, что он стоял как монумент Чингисхану, принимая во внимание то могучее своей величавостью пространство, расстилавшееся перед нами. Я несколько раз окликнул его, но он, попирая стопами Азию, не отозвался. Он не только не изменил позы, но даже на лице его не дрогнула ни единая черточка.

Возможно, он стоял так «дум великих полн», но скорее всего, свихнулся от разреженности воздуха. У меня не оставалось времени разбираться в тонкостях его психологии, и я, подъехав к самому валуну, протянул руку, схватил его за ворот ватного халата и просто стащил вниз. Он не стал отстаивать свою странную, надо признать, затею, и молча, как продрогший кот, поспешил за моим конем вслед за караваном.

Бежал он скоро, не поднимая на меня глаз. Но все же осталось какое-то впечатление, что я невольно проник в его какую-то тайну. И, как следовало ожидать, теперь не сторонился, а наоборот, как можно больше вертелся вокруг меня весь оставшийся путь, словно хотел вернуть себе то, что я незаконно у него отнял. Правда, заговорить со мной он не решался, да и я по причине мрачности мыслей, не покидавшей меня, не был разговорчив.

Чем ниже спускались мы и чем выше поднималось солнце, тем более становилось жарко, до бесед ли! Однако после полуденного привала, когда мы окончательно оставили свои черепаховые панцири шуб, ему удалось, загадочно отводя глаза и горестно вздыхая, сопровождая все это невероятными ужимками лица, завлечь меня в сторону, к заброшенному караван-сараю Таш-рабат. Тем более, что я сам хотел идти осмотреть и зарисовать это замечательное по своей архитектуре здание со сфероидальным куполом, но было лень вставать и тащиться туда по песку, да и приходила в голову мысль, что это лучше сделать на обратном пути. Но так как Акжол не отставал от меня, я оказался среди этих развалин с ним. Этот рабат имел множество легенд. Одна из них гласит, что если один раз считать, то в нем оказывалось сорок комнат, если в другой раз – тридцать девять. Исчезающая комната была не единственным его достоинством. Дикокаменные киргизы почитают этот рабат за несомненное чудо и приносят, проезжая мимо него, в жертву двух баранов, и мы, подойдя к зданию, увидели его свежее-окровавленный порог и головы архаров, навешанные на сами ворота.

В большом зале рабата я, увлекшись настенными мистическими надписями, не сразу заметил, как Акжол снова встал в позу. Только когда он довольно внушительным тоном заявил: «Ставя тебя достойным, указываю на свидетельство», я вспомнил о нем.

Бог с ней, с позой, сейчас она была просто комична, нежели загадочна, а вот предмет, который он протягивал мне, был весьма и весьма любопытен. Это был изрядно потрепанный лист лощеной бумаги длиной не менее девяти и шириной около четырех вершков. На нем отчетливо виднелся знак бычьей головы, что уже свидетельствовало о его высоком значении. Скорее всего, это была печать крымских Гиреев. Так оно и оказалось. Первая строка, написанная

золотом, гласила: «Слово Давлет-Гирей-хана», затем шло: «Великого улуса уланам и биям правого и левого крыла, начальствующий тьмой, тысячью, сотней, десятком, даруга-бекам внутренних селений и городов, законоведом, наставникам, судьям, ведателям метрик, набожным старцам, отшельникам, священникам, муэдзинам, ладейщикам, мостовщикам и письмоводителям, проходящим и едущим путникам и путешественникам и многому народу, всем сущим властям букаулам, ясаулам, и всем причастным к какому бы не было делу».

Далее, повеление великого могущественного владыки в этом всесильном ханском ярлыке таково: «Вследствие спора и тяжбы за земли владельца сего августейшего фирмана знатного в роде Тайган Ахмед-бия и Али-Паша-уланом, был послан по священному и обязательному ярлыку знаменитый из скромных ученых и превосходнейший из законоведов Маулана Махмуд, да возвысится его благодетели, который осмотрел все по законам, сделал чертеж и дал Тайган Ахмед-бию в руки копию составленного акта. По чертежу, сделанному в Карасу, границы четырех сторон определяются так: на юге – Караагач, принадлежащий Мунал-бию, на востоке – земли Али-Паша-улана, на западе границей служит Степная дорога, а на севере – земли Абу-Салям-бия. Основываясь на чертеже и удостоверении известного муллы Махмуда, поднес Тайган Ахмед к нашему счастливому порогу лошадь и испрашивал от нас ярлык с красным знаком и голубой печатью на земли, определенные вышеупомянутыми границами. Приняв благосклонно лошадь, я наградил и пожаловал ему земли в описанных выше границах, дал в руки это государственное письмо с красным знаком и голубой печатью и приказал: дабы на будущие времена никто, не исключая больших и малых султанов, уланов, биев и других, не чинили препятствий и обид вышеупомянутому Ахмед-бию, когда он будет владельцем пожалованных земель. Воины и слуги наши так же да не делают ему притеснений, обиды, беспокойства и страха, ибо он нашей ханской милостью обласкан и пожалован. Воспрещается им под каким бы ни было видом, на каком бы то ни было основании и какими бы то ни было средствами и путями заводить споры и причинять ему обиды. Тех же, кто нанесет ему оскорбление, местные власти обязаны останавливать, обуздывать и удалять. Пусть он, сидя спокойно, с чистым сердцем, воссылает молитвы и благословения для нас и ради нас. Так говоря, для держания в руках дан ярлык с приложением перстневого знака. Писано в благословенном месяце Мухаррам, лета 977. Карасу».

Ярлык Давлет-Гирея меня заинтересовал, но слышно было, что уже поднимают караван, и я предпочел вернуть его Акжолу и поспешил скорее осмотреть рабат.

Акжол же, в силу своей величественной позы, не в силах был задавать вопросы, ожидая, видимо, благосклонно их от меня, и не мог мне помешать. Я сделал некоторые наброски карандашом и поспешил к своему коню. Тронулись.

Первая встреча с кашгарским пикетом Иссык-караулом состоялась бестолково, и в этом была моя гарантия дальнейшего беспрепятственного продвижения в Тегга incognito.

Пикет стоял у входа в ущелье и был окружен глиняной стеной с башнями. Перед ним зеленели аллеи больших тополей и тутовых деревьев. Не доехав до него несколько верст, я отстал от каравана и зарыл в одно приметное место несколько книг, дневник и уничтожил все бумаги, написанные по-русски.

Караван остановился в пятидесяти саженьях от Иссык-караула, и так как прибыли мы к нему очень рано, было около пяти часов утра, то и хотелось, если можно, взять скорее пропуск у офицера и следовать дальше.

Наши кокандские охранники уверяли всю дорогу, что местные караульные службы их очень боятся и, что если увидят при караване, то не осмелятся сделать остановки, и, что если неверные, то есть воины-маньчжуры, и вздумали бы это сделать, то они проведут нас далее и без пропусков. Только на деле вышло другое.

При нашем приближении с одной башни закричал часовой, и солдаты, сидевшие в тени деревьев перед стеной, бросились поспешно в пикет и заперли ворота, а на других башнях появились несколько бритых с косами голов, да и те скоро исчезли. Видимо, они приняли нас за авангард какого-нибудь мятежного ходжи. На многократный крик и стук в ворота через время, явно чего-то опасаясь, показалась физиономия кашгарского землепашца. Высунувший его солдат подсказывал ему вопросы и тот, как кукла, повторял за ним:

— Кто вы такие?

— Мы? Да разве ты нас не знаешь? — говорили наши кокандские сипаи, обязанные перевести нас через незамиранных дикокаменных киргиз и рекомендовать нас кашгарским властям.

— Ах! А это что за странные люди?

— Это — наши подданные, слуги хана, пришли с торговым караваном.

— Позвольте, я доложу.

— Поворачивайся скорее обратно, а не то я твою сестру! — выкрикнул вконец рассердившийся кокандский унтер-офицер и ударил рукой по своей сабле.

Пришлось еще долго ждать, когда, после кудахтающих криков, ворота приоткрылись и вышел бледный и худой, как скелет, капрал, с трубкой в

руках, и, очевидно, подверженный курению опиума, в сопровождении все того же крестьянина, использовавшегося в роли толмача.

Капрал оскалил свои острые зубы цвета ляпис-лазури и закричал:

– А ну, признавайтесь во всем! – и затопал ногами.

В ответ ему завопил наш унтер:

– Я твою сестру!..., о которой я уже сказал свое дело, и еще раз сделаю!!!

Они принялись отчаянно ссориться, мы же, предпочитая не вмешиваться в этот дипломатический диалог, подумали, подумали, а затем подняли наш караван и спокойно, никем не останавливаемые, прошли мимо этого караула и двинулись вглубь страны.

За Учбурханской возвышенностью сплошная масса садов. Это и был легендарный Кашгар, совершенно не известный Европе и оберегающий свои тайны так ревностно, что летели только головы тех, кто пытался проникнуть сюда и приоткрыть полог таинственности над ним.

Минуя окрестные деревни, мы, наконец, добрались до самого города, но радость наша была сразу же омрачена ужасной пылью у городских ворот. Кругом двигались ослы, навьюченные мешками, и тележки. Дорожные мелкие торговцы бегали взад-вперед, крича так, что, казалось, вы, не купив у них безделицу, отнимете этим у них последнее. Здесь сновали пешие солдаты, монахи, бабы, мальчишки, скулящие собаки. И здесь мы вынуждены были остановиться.

Караванбаши поехал в цитадель представиться городской голове – аксакалу по-тутошнему.

Кроме криков и пыли, надо признаться, нас беспокоило еще одно соседство – одиннадцать человеческих голов с лохмотьями кожи, с волосами, насаженные на длинные шесты. Надо было, созерцая эти кости, или отчаянно пугаться или думать о тленности мира сего. Я выбрал второе.

Но вот, наконец, к нам вышли туземные чиновники и принялись осматривать наш товар. С нами они не заговаривали, а между собой довольно свободно и я, уже действительно с тревогой, услышал, как один из них, поглядывая в нашу сторону, сказал второму:

– Вон тот, как две капли воды, похож на русского.

– Да ты разве видел русских? – засомневался его коллега.

– Нет, да уж так я думаю.

В Кашгарию свободно заходят только доверенные купцы, да и то после многочисленных проверок и обязательно с рекомендациями кокандского хана. Жизнь тех же, кого сюда приводит любопытство, как я уже говорил, ценится

мало, что почувствовал на своей шее не так давно географ Адольф Шлагинтвейт: его белокурая голова, говорят, украсила вершину кашгарской пирамиды черепов, если и уступавшей несколько величиной Хеопской пирамиде, то в своем жутком величии превзошедшей последнюю намного.

«Трудно, – говорит здешняя народная песня, – содержать в Кашгаре осла, потому что связка сена стоит двенадцать пулов, но еще труднее сохранить голову, потому что: вай, вай!»

Наконец мы прошли ворота с будкой, в которой сидели, должно быть, часовые, потому что возле нее были навешаны ру – Из Семипалатинска.

– Кто вы?

– Андижанцы.

– Какие андижанцы? Из России?

– Нет, из Маргелана. Мы были в России, купили там товаров и привезли к вам.

– Зачем же вы из России приехали к нам? Разве русские товары не покупают в Маргелане?

– Купец едет туда, где можно иметь большие выгоды.

– Сколько вас хозяев и сколько прислуги? Отчего в донесении из Иссык-караула сказано, что у вас на семь огней сорок человек, а сейчас вы показываете сорок два?

Огромного терпения и труда доставили нам объяснения, что нас именно сорок человек, хотя по бумагам – сорок два. Двое по болезни отстали. И все равно нас пропустили в город с недоверием. Не успели мы хорошенько расположиться в отведенном для нас караван-сарая, как ко мне прибежал Акжол и, хитро поблескивая глазами, сообщил, что кашгарцы ищут в нашем караване русского. Я не ответил на его доверчивость, но он, продолжив, выдвинул другую гипотезу, которая очень меня бы устроила:

– Эти хитрецы делают вид, что ищут русского. Но я знаю, что это не так..., – сделав паузы и, так и не дождавшись моей заинтересованности в разговоре, продолжил шепотом. – Я думаю, они ищут... Шуну-батыра.

Киргиз-казакская степь не только в прошедшие столетия, но и теперь служит убежищем разного рода рефюжье. В прошлом там скрывались недовольные и обиженные со всех сторон света. Бежали из татарской Сибири, из Коканда, Джунгарии, с низовьев Волги. Кроме множества дезертиров из простого народа, здесь нередко укрывались и люди аристократического происхождения, принимались с полным гостеприимством и даже сохраняли высокое положение. Так, два несчастных джунгарских князя – Дебачи и Амурсана –

бежали из своего отечества вследствие политических событий и были приняты в степи и получили целое киргиз-казакское поколение в управление. Карасакал, возмущивший башкирский народ в 1740 году, был самый загадочный и удачливый из степных авантюристов. Поселившись в степи и получив хоть и небольшой удел, он сразу же сделался опасным как для Российской, так и для Китайской империй. Первая боялась, как бы он при поддержке степи вновь не поднял на мятеж башкир, вторая была напугана его самозванством: он выдавал себя за ойротского наследника Шуна.

Князь Шуна, погибший наследник джунгарского престола, уничтоженного китайцами, был так любим джунгарским народом, что джунгары готовы были в любой момент восстать против тогдашнего хана Галдан-Церена, брата его. Более того, не раз представители разных слоев джунгарских калмык осведомлялись у русских и киргиз-казаков, не знают ли они, где Шуна. Был слух, что он командует русским войском, а этому было основание – Шуна был обласкан в свое время императрицей, получил чин под фамилией Краснощеков, но затем, оставив Петербург, снова ушел в степь за своей погибелью.

Джунгары даже были готовы сдаться без боя русским войскам, при условии, если их приведет Шуна.

Батыра Шуну знают на всем пространстве степей, где еще кочуют номады от Монголии до Волги. Не бывает и пяти лет, чтобы этот легендарный покойник не оживал где-нибудь и не будоражил умы. Сила образа Шуны постоянно подкрепляется не только сказками и легендами о нем, но в большей степени желанием свободы тех народов, которые не представляли ее себе иначе, как под рукою бунтующего принца. Сами же киргиз-казаки, охотно принимавшие всех самозванцев под именем Шуна, никогда не вставали под их знамена, хватало своих мятежников, скажем, дядюшек моих Кенесары и Габайдуллы султанов и целой феодальной партии под названием Ак-Арка, требовавших восстановления ханской власти, впрочем в пределах той же Российской империи.

– Скажу вам по секрету, господин Алимбай, – продолжил осторожно Акжол свою любимую историю, оглядываясь отчего-то по сторонам. – Хан-отец не отрекся от сына Шуны, а в путь ему дал благословение и сорок воинов, чтобы он когда-нибудь вернулся и восстановил свой народ, отбросив маньчжур обратно в их Китай.

– Постой, братец, – рискнул я быть несколько осведомленным в исторических фактах, но в тех пределах, которые доступны уму купеческого

племянника. – Как твой хан-отец просил сына освободить народ от маньчжур, если тогда ими и не пахло не то что в Джунгарии, но и здесь в Кашгаре?

– Да, верно, – нисколько не смутился Акжол. – Шуне дал воинов и благословения его мертвый отец.

Ну, чем не Шекспир! Я расхохотался.

– Напрасно смеетесь, господин Алимбай, – обиделся фантазер и твердо добавил, – Шуна такой... он может оказаться в любой момент здесь и гнев его будет страшен.

– Ладно, братец, – сказал я, расположившись удобней и радуясь, что есть хоть какой-то предлог не делать караванных и базарных дел, предложил ему дальше рассказывать свои байки.

Акжол тоже поспешил устроиться поудобней, и с удовольствием принялся за свое бесконечное повествование:

– ...с этими воинами он и ушел через киргиз-казакские и каракалпакские степи к волжским калмыкам. К родной своей сестре, отданной в замужество за калмыцкого хана, и скрылся там. Тогда его злой брат Галдан-Церенхонтайши послал вслед смертельную угрозу – выдать Шуну! Заколебался калмыцкий хан, да и народ его думает: за что мы страдать будем, если джунгары с пушками на нас пойдут? Решили выдать. А сестра Шуны, узнав о предательстве, тотчас поспешила сказать брату. Тогда Шуна научил ее, как дело вести. Пошла она и сказала мужу-хану: «Я согласна, но мне будет грустно без брата моего Шуны». Хан спросил: «Что же мне делать?». Она ответила: «Оденься, как Шуна, стань волосом и голосом похожим на него, вот и не буду я скучать. Так хан и сделал. Тут забежали во дворец к нему калмыки. Закричал тут хан: «Отпустите, я не Шуна!» Тут вышел настоящий Шуна и сказал: «Отпустите его, я – Шуна». Закричали ему калмыки: «Ты врешь! Не станет человек искать себе смерти сам. Ты хочешь укрыть от нас Шуну», – и задушили своего хана. А ханом над ними стал Шуна. Восстановил он среди них справедливость и ушел один к ногаям, а с ними к османам. Там принял мусульманство и дал обещание никогда не говорить по-джунгарски. Тут услышал о нем русский царь и просит...

Что просил русский царь у Шуны, я так и не узнал. В комнату мою вбежал весь в поту и в слезах названный мой дядя Мусабай и, вспоминая осла, которым он непременно станет, принялся укорять меня в безразличии к торговом деле, при этом выпихивая кулаком работника-болтуна вон. Мусабай терпеть не мог моих уединений с кем-нибудь без него, все ему казалось, что я как-то

проговорюсь о том, о чем он сам готов забыть и готов за это сейчас же уплатит любые деньги.

На следующий день в разгар размена и торга в наши лавки появился косой посыльный наиббека – начальник местной полиции и потребовал явиться в полицию. Все это еще больше напугало караванбашу. Пришлось идти, и по дороге Мусабай все выпытывал у меня, почему этот посыльный полиции косился на него и твердил, что это не к добру. Пройдя полгорода, мы вошли в хорошо выбеленный дом, одна из стен которого состояла из деревянных решеток и вела в сад.

Наиббек возлежал на софе, а другие чины сидели на белом войлоке вдоль стен. Начальник полиции увидел нас и сверкая огромными черными глазами, как у негра, приветливо воскликнул:

– А-а, это наши гости! Откуда?

Мусабай воздел руки к небесам, быстренько прочитав шепотом несколько спасительных строк из Корана и ответив учтиво:

– Из Маргелана.

– Сколько же вас маргеланцев?

– Четверо.

– Кто же остальные?

– Андижанцы, ташкентцы, бухарцы, разный другой рабочий народ.

– Когда вы выехали из отечества?

– Двенадцать месяцев назад.

– С какой целью приехали?

– С торговой.

– Сколько вас человек?

– Сорок живых и двое – умерли в дороге.

– Имена всех? Был ли кто из вас прежде здесь? – любезность постепенно исчезала из голоса наиббека.

Но и мой Мусабай еще имел дух не теряться и отвечал твердо:

– Все имена и данные в списках.

– Что заставило вас приехать в страну незнакомую, отдаленную, подвергнуться опасностям как от бурутов, так и от суровой природы? – снова смягчил голос наиббек.

– Желание открыть дорогу себе и наследникам. Разве это не достойный повод?

Тут наиббек встал, выдвинул одну руку вперед и грозно произнес:

– Как вы смели вторгнуться в пределы наши, не объявив полно о себе в пограничном пикете? И зачем вы ложно показали численность людей?!

– Мы торговцы и не знаем, что такое вторжение, – с достоинством ответил ему Мусабай и откровенно обиделся, даже слезы выступили у него на глазах.

Пока я мысленно аплодировал Мусабаю, наиббек что-то туго соображал, стоя с простертой рукой, затем махнул ею и снова развалился на своей софе.

Подставной дядя мой сделал паузу, как бы пережил обиду, и с вынужденным покорностью сказал:

– Если ваши люди в пикете даром едят хлеб и только тем и занимаются, что курят опиум, а писари там не умеют считать и путают живых людей с мертвыми, то это не наша вина. Кто берет государственное серебро, говорят должен служить без единой малой ошибки, иначе как им верить потом в большом?

Я давно заметил, что призывы блюсти государственные порядки производят на чиновников гораздо большее впечатление, чем какие бы не было другие аргументы. Кашгарский наиббек глубоко задумался над простой фразой нашего караванбаши, но задумчивость эту сразу же принялся сопровождать верноподданническими кивками. Вряд ли его голову, несмотря на весь его задумчивый вид, посетили какие-то думы, но это был обязательный ритуал, и мы покорно ждали, когда он вернется к нам из мира государственных размышлений. Наконец он последний раз обвел глазами сидевших у стен на войлоках своих подчиненных и снова обратился к нам:

– Хорошо, я верю вам.., – затем, как бы заскучав, нехотя задал еще один вопросик. – Меня интересует теперь одно, ответьте и можете идти торговать. Есть среди ваших людей русский чин? Мы так давно не видели русских, что хочется просто взглянуть на него, – и надул губки, как капризный мальчуган.

– Нет, среди нас нет, ни русских чиновников, ни просто русских.

– Ай-яй-яй! Если бы вы, андижанцы, пришли к нам по пути, открытому для вашей нации, то мы бы вам поверили. Но вы шли иначе. Мог же к вам по дороге скрытно присоединиться какой-нибудь русский. Может быть, вы сами не знаете об этом, но у вас есть, какие-нибудь догадки, так скажите их нам и сразу же облегчите свои души и судьбы.

– Если вас очень интересуют русские, так поезжайте к ним, к ним дороги открыты. Они близко здесь, в илийском округе.

– Вот видите, как они оказались близко к нам. А это чрезвычайно опасно!

– Что же тут опасного, если есть граница? Если соблюдать ее, то можно вообще никогда с ними не встретиться.

– Как же не встретиться? Если уже в вашем караване есть русский! Если бы его не было, то вы бы не шли из России.

Вот болван! Ему кажется, что он поймал за хвост дракона, а это был только его собственный палец. Поговорив так еще с полчаса, мы ушли. Но, к сожалению, этим наши встречи с властями не закончились. Через день, не очернив, слава Аллаху, святую пятницу, нас повезли уже к хакимбеку. Не знаю, с чем это было связано, быть может, градоначальник хотел показать, что власть его распространяется не только на сам город, но встречу он нам назначил за пределами Кашгара. Пришлось в самое пекло выбираться за городские стены, где мы увидели у небольшого леса несколько шатров вокруг родника и какие-то сооружения из бревен, весьма похожие на виселицы. До этого мы решили и перед хакимбеком не делать поклонов и не сгибать колен, а честно, как и наибеку, отдать положенную взятку и приветствовать его как свободные люди. Но теперь же, увидев перекладину, Мусабай затрепетал и принялся щипать мне руку. Вообще-то порядочные люди в отчаянии терзают себя, но что не простишь «дяде»! Я уже стал бояться, как бы он не упал в обморок.

Шатры были окружены стражниками, конюхами, стремянными, которые являются здесь тоже высоким сословием. Все это составляло огромную толпу и черные подозрения нашего караванбаши увеличились, он еще сильнее побледнел и задрожал, при этом не забывая повторять свое обычное:

– Да буду я твоим серым ослом, какие расходы! Какие расходы!..

Если мы тут оставим наши головы, то расходы будут, действительно, большие. Нас ввели в двери центрального шатра, где мы увидели перед собой четырех сановников, сидящих в креслах. Один из них, черный, со следами оспы на лице и с красным шариком на мундирной шапочке, так и не проронил ни слова. Расспрашивал другой, сам хакимбек, сидевший справа от молчуна:

– Откуда вы приехали? Сколько дней шли? По каким местам? Далеко ли русские? Кто из вас какого племени?

После этого уже привычного нам допроса, на котором Мусабай все еще держался молодцом, нас отпустили, велев вечером явиться с товарами во дворец хакимбека. Видимо, наши подарки его не удовлетворили. И все же то, что нас не сразу повесили, как-то нас ободрило, и мы, вернувшись к себе, с аппетитом пообедали, я даже вздремнул затем.

Вечером мы были во дворце. Нас встретили, посадили в канцелярии и велели ждать. В это время мимо провели танцовщиц и во внутренних залах дворца раздались звуки туземной музыки и звон бубен. Сидели мы так долго, что я не выдержал и обратился к молодому чиновнику, караулившему нас:

– Скоро ли хакимбек нас примет?

Он засмеялся и сказал:

– Если бек водрузит знамя разврата, так уже не покинет это бранное поле до утра.

Вид у меня, думаю, стал крайне раздраженный, и этот чиновник протянул мне в утешение книгу, причем русского автора, вполне современную, правда, скверно отпечатанную и с множеством неразрезанных страниц. Я повертел ее в руках и вернул ему.

– Как? – удивился этот ловкий соглядатай. – Разве вы не читаете по-русски?

В эту минуту к нам вышел знакомый уже толстый мандарин с оспенным лбом и красным шариком на шапочке. Он шатался и не мог взять баланс. Увидев нас, он сделал неприятную гримасу и сказал по-маньчжурски:

– Пусть ждут, – и подхваченный такими же страшно пьяными приятелями, прошел дальше.

Становилось совершенно ясно, что за всей этой историей стоят маньчжуры. Оставалось последнее: обратиться в этой запутавшейся стране к третьей политической силе – к аксакалу, наместнику кокандского хана.

Мы с Мусабаям не сговариваясь поднялись и вышли вон. Перед домом все тот же мандарин, окруженный дружками, пытался вскарабкаться на низенькую лошадь. Это ему никак не удавалось. Наконец его потащили к колымаге и запихнули туда. Нас же ожидали грустные последствия.

Самое опасное произошло уже дома, когда под утро ко мне, еще не успевшему забраться после обязательной молитвы и омовения под пухлые крылышки бога сна Морфея, ввалился и тяжело протопал по комнате Акжол. Тяжело, потому что вышагивал он в позе, широко расставив ноги, и пытаясь свесить между ног несуществующее брюхо, очевидно считая его признаком высшего достоинства и важности. Пожевав губами, он нетерпеливо заговорил о своем намерении открыть мне государственную тайну, точнее, тайну государств, никак не меньше! Кратко, его тайна государств состояла в том, что знаменитый Шуна не умер, а долгое время скрывался у бурутов, но теперь перед великими делами он раскрывается. Да, он, Акжол, и есть принц Шуна! А сейчас он почти прибыл на свои родовые земли, право на которые записаны в том документе, который он, из-за благосклонности ко мне показывал в Ташрабате. Здесь в своих пределах он намерен вновь поднять народ и восстановить все свои права. Быть может, в другое время я разъяснил бы этому горе-самозванцу, что дарованные века три назад Давлет-Гиреем земли некоему татарину, но уже владения графа Безбородко или князя Юсупова, находятся совсем в другой стороне, и что там, среди бахчи азовских арбузов, вряд ли можно кого-нибудь поднять, но ужасно хотелось спать, веки слипались, и я в

согласии лишь махнул рукой, почти падая головой на твердую ватную подушку. И вот тут он изрек такое, что мне сразу стало не до сна:

– Я знаю, что ты, Алимбай, русский офицер. А так как мне лично русским царем дано звание командующего русскими войсками, то ты обязан служить мне и выполнять мою государеву волю.

То, что беки искали среди нас русского, было вполне естественно, как и то, что в каждом караване, вышедшем из Индии, они на всякий случай ищут франка. Все эти их поиски пустые хлопоты, искать они не умеют, служат государству скверно. Но то, что этот трепач указал именно на меня ставило под угрозу всю нашу экспедицию. А ведь как тщательно мы готовили ее. Никто не мог знать обо мне, кроме караванбаши Мусабая.

Мы исключили, казалось, любую, самую невероятную случайность. В расчет брался даже некий регент Кузнецов, болтавшийся в Коканде и знавший меня со стороны. Из-за него мы пошли не обычным путем, а через малознакомые горы, рискуя переломать все свои кости. И надо же, какой-то болтливый детина, неуч, стоит и тычет в меня грязным пальцем! Мало того, он принялся приказывать мне и говорить совершенно гнусные вещи:

– Я решил уйти сегодня и для восстановления имени мне вначале нужны средства, поэтому ты сейчас же передашь мне казну каравана. И не смей шутить!

Следовало его немедленно отхлестать кнутом, но в силу отсутствия этого замечательного инструмента, я вынужден был встать и за ухо выволочь его за дверь.

Утром, обсуждая наш предстоящий визит к аксакалу, я попросил Мусабая взять с нами этого нахала и болтуна. Караванбаши так был подавлен свалившимся на него испытаниями, что не в состоянии был ни удивляться, ни любопытствовать и велел кликнуть этого работника. Акжол присоединился к нам на улице и хотя в позу не вставал, но по всей его щенячьей фигуре чувствовалось озлобленность и решительность укусить.

Мусабай, как и было положено, по приходу в Кашгар, первым делом посетил аксакала, передал ему рекомендательное письмо от своих влиятельных знакомцев из Кокандского ханства и оговорил зякат: с сорока по одной, что составило сразу сто двадцать четыре золотых и еще четверть, не считая баранов. Теперь мы снова несли «юсун», точнее, тюк с подарками нес Акжол. Заприметив груз на спине нашего слуги, выдрессированная стража пропустила к аксакалу немедля. Сам же аксакал, чистый узбек, прямой, добрый, но ужасно мужиковатый, увидев нас, панибратски закричал:

– Ха! Что вас так давно не видно, господа? Представились и вдруг исчезли, как багдадские воры, – и захохотал, довольный своей шуткой, при этом похлопывая нас по плечам и загривкам, а так же по тюку, возвышавшемуся на Акжоле.

Вместо того, чтобы веселиться вместе с ним, мы с Мусабаем неблагодарно разом опечалились, что, впрочем, аксакал не заметил. Он тут же заговорил о кашгарских женщинах. Затем, не прерываясь, перешел на анекдоты, идущие к предмету и не идущие. Он уже седьмой раз был женат в Кашгаре и смотрел на женщину как на вещь, даже хуже, как на негодную вещь – азиат! Наверное, это продолжалось бы вечность, если бы Мусабай, известный во многих караванных дорогах как мужественный и отчаянный караванбаши, не закрыл рукавом халата свое лицо и не зарыдал, горько всхлипывая, как дитя. Кокандский сановник изумился столь странному поведению купца и прервал свой монолог. Этого было достаточно, чтобы я вступил в разговор:

– Таксыр! Мы измучились, как самые проклятые из проклятых, как самые обиженные среди оскорбленных! То зовут на допросы к наиббеку, то к хакимбеку, то к собаке беку, то к свинье беку, а беков в Кашгаре больше, нежели волос у шайтана на хвосте, да не будет упомянуто имя этого проклятого существа. На все вопросы мы дали ответы, так все равно нас мучают, зовут показать товары, а сами напиваются с кафирами, призывают танцовщиц, а мы сидим без еды и чая в темной комнате, лишены возможности и торговать и помолиться. Избавьте ради Всевышнего, таксыр! Мы совершенно сошли с ума!

– А что им надо от вас, бедных? – участливо спросил аксакал, настолько участливо, что не стоило и отвечать: конечно же, и он был в курсе событий.

– Нас считают за русских, таксыр, пришедших взять Кашгар, – под всхлипы Мусабая продолжил я. – Мы имели несчастье привезти русские товары. Но им не товар нужен, а русский. Что ж, признаюсь, этот русский я.

При моих последних словах Мусабай перестал рыдать и так затрясся, что мне слышны стали клцанья его зубов. А у Акжола отвисла челюсть и вывалился язык да в такой степени, что, когда я указал на него и сказал, что этот человек может подтвердить мои слова, он и рукой не мог затолкать его обратно. Думаю, надолго он лишился способности краснобайствовать.

– Ай-яй-яй, – еще более участливей и приветливей, как мог, произнес аксакал. – Что мне слова вашего раба, ты сам скажи, русский, какого ты сословия и чина?

– А какого вам будет угодно, таксыр. Мне все равно, – голосом самоубийцы произнес я. – Пусть лучше полетит моя голова, чем разорится весь наш дом.

Наступило молчание. Аксакал рад был продолжить свои анекдоты, но вопрос был поставлен так, что он вынужден был принять какое-то решение. Наконец он спросил:

– А может быть, вы мало дали?

– Помилуйте, таксыр, – вскричав Мусабай. – Давали и рады бы дать сверху, берут, но при этом еще и издеваются. Хоть бы позволили продать товары по самой низкой цене, тогда бы и я на радости признал себя и русским и китайцем!

– Это нехорошо, – философски произнес аксакал. – Государство без взяток несовершенно, как дом с детьми без сладостей. Это было известно и древним, но нельзя же допустить, чтобы дача шла не в укрепление государства, а на произвол и издевательство!

Затем он, оставив философские нотки, затопал ногами и закричал на своих приближенных, стоявших вокруг с готовыми к делу саблями и чернильными перьями:

– Как вы позволяете, отчего не заступаесть?! – и после этого снова обратился к нам. – А вы, дорогие купцы, с сегодняшнего дня не ходите ни к одному из этих свиней, а если кто-то из них осмелится вам что-нибудь сказать, я, при помощи Аллаха, оскверню его дочь и сделаю смятение не хуже мятежного ходжи!

Мы выбрались из дворца аксакала вполне довольные, правда, Мусабай еще долго укорял меня за авантюризм и риск. А неудачливый самозванец же исчез. Это, признаться, было жаль, стало чуть скучнее без этого караванного фантазера. Да и польза была от него. Кто же как не он подсказал мне гениальный ход легендарного Шуны: никогда люди не поверят в то, что человек сам способен искать себе смерть. И верно, для меня все закончилось благополучно. А вот заступившегося за нас и возводившего взятки в ранг государственной системы аксакала-наместника, как только появилась в европейской печати моя книга о неведомой стране Кашгар, вызвали в Коканд и казнили.

То, что я видел некоторые фигуры из моей прошлой жизни можно объяснить фигурами памяти, но мерзнуть, словно я не проплываю, возможно, под прокаленной пустыней Каракумы, а долго стою на холодном сибирском ветре, не мыслимо! Надо зайти хоть куда ни будь к теплой печи.

Низенький, что полковой орудийный ящик, домик казака Фирсыча Однолюбова состоял из двух половин. В одной помещалась кухня, помещному, сибирскому – изба с русской печью, другая половина называлась горницей.

Старый Фирсыч тих и уступчив и если не сидел у окошечка, то легонько топтался в валенках, встав подальше от икон, – так он приплясывал, напевая себе под нос бодренькую песенку из лихих, отчаянных времен, когда сабли наголо, а голова летит в кусты. Филиппьевна, женка его, полная, с редким белым волосом, сердилась:

– Ай, топтун! Не берет тебя стыдобушка, а может его благородию Григорию Николаевичу книгу какую рассчитать надо, а ты тут пух-бух, пух-бух!

Фирсыч, розовевший от своей пляски в обрезанных валенках, говорит сипло:

– И то верно, Филиппьевна, – и покорно вновь садился у подоконника прокуривать дальше свой голос.

В горнице ходил в вязанных из козьей шерсти носках квартировщик Однолюбовых хорунжий Потанин и дул себе в усы, так удобно он был устроен: за комнату должен платить всего три рубля в месяц, да за ту же плату стол. Старой казачке особенно удавались житные хлебцы – шаньги. Хорошо! Разве что неудобны были хозяйские сундуки, покрытые домоткаными тюменскими полозами, о кованные углы которых Григорий как ни шагнет, так стукнется то коленом, то косточкой стопы. В карауле степной иртышской станицы, конечно, попросторней, но Омск, как Париж стоил мессы, по крайней мере, Григорий Потанин ещё в это верил. Ну помогай ему Бог. А главное, сейчас он был среди своих, как он считал, товарищей по духу. Вот только окончилась, кривая и короткая, как турецкий ятаган, Севастопольская компания. Россия глотнула горький пороховой дым крымских бастионов и выдохнула его этим самым почти мятежным новым духом. В «Современнике», в «Отечественных записках» заговорили страх берет как откровенно, а в либеральном «Русском вестнике» даже задребезжал металлический отзвук герценовского «Колокола». Потанин и попался к ним в сети. Он всегда был таков. Как-то еще в ранней юности я прочитал ему стихи Гейне, а он мне: «Это барабанный бой революции!». Оригинальная литературная рецензия.

В Питере возникло смятение умов, а следовало бы, наконец, по-моему, выбрать что-нибудь да одно: или преобразования коренные по западному образцу, или держись старого, даже старую веру надо исповедовать. Китайская середина не идет теперь к делу.

Друзья же Потанина, да и сам Григорий невесть где выискивали эти не на шутку политизировавшиеся журналы. Нетрудно видеть как, припрятав за пазуху такую книжечку со статьями какого-нибудь Пейзина о ссылке и ссыльных и Березина о колониях, они спешат к вечеру в дом Однолюбовых, где их ждет горячий спор, еще более раскипаченный самовар и миска с шаньгами. А Потанин ждет их в своей комнатухе да, потирая ушибленное колено, конечно же, поглядывает в окно: вот и они! Все было славно, и старички Однолюбовы и теплая горница и раскрытые книги на сундуках и бледневший, как в свой час на площади декабрист, Усов, мрачно, заговорщицки усмехающийся баргузинский бунтарь Пирожков, хохотун Чукреев, и самое прекрасное: разговоры..., если бы не приходил ещё один гость из заоблачных штабных высот с претензиями наследного принца. Тысяча китайских церемоний. Это я о собственной персоне так. Гриня, впрочем, рад меня видеть, сыграть в кости, но не в то время, когда у него его товарищи. Как-то сразу я им не приглянулся. Что ж тут доброго, когда в свойскую казачью компанию вваливается адъютант Его превосходительства генерал-губернатора Западной Сибири, осматриваясь, как в чуланчике с мышами и, если присядет, то только накрыв край сундука шелковым платком с монограммой. Накинет ногу на ногу и примется постукивать отполированным ногтем мизинца по портсигару из слоновой кости, распространяя от себя тонкое амбрэ фран-цузской воды. Не объяснять же всем казачьим командирам – собственно добрым малым, да и всем иным великороссам, что шинель на мне с бобровым воротником всего лишь *cart blanche*. Будь я в малахае и чапане, они, пожалуй, меня и за порог не пустили бы. Впрочем, и султанство мое в этом царстве ещё что-то значит. Грех жаловаться.

Дворянство для меня не пустой звук, выше всякой шубы, хоть золотом её общей. Значит и демократ из меня совсем никудышный. Как бы там ни было, мое присутствие их откровенно теснило. Юный Усов при мне как-то раз попытался высказать что-то либеральное и пламенно вскинуть руку, но не удержал вертикаль и поехал в бок худой спиной по бревенчатой стене... Пирожкова напротив мое присутствие не смущало, скорее, злило, он морщился, кривил губы, но результат тот же – не мог дальше говорить. Только издали тыкал свой бурятский глаз в комично вырезанную на крышке портсигара крысу, сверлящую штопором земную твердь. Я называл крысу геологом. Гриня хохотал. Тогда он ещё не ставовался крепко с этими местными стенками разиными в робеспьеровских колпаках. А сойдясь с ними, видимо, на первых порах рассказывал им обо мне,

приводя шедевры моего чудовищного остроумия. Тому свидетельство сентенция, которой меня ошарашил Пирожков, первый раз увидев мою резную безделицу: «Крысы геологами быть не могут». Я подумал, что ослышался, но нет, серьезен как Папа Римский. Чукрееву же я просто мешал трескать шаньги – что тут сказать? Как увидит меня так руку от миски и отдернет. Почему? Может быть это нервный тик неизвестной природы или, Бог мой, как же я плохо думаю о людях! Верно это изначальный импульс трудного, но благородного порыва оставить и мне вкусить кусочек теста... Возможно, все это мне казалось, но ясно было, что ждут, как только я входил, минуто, когда я уйду. Мне же идти было некуда. Как назло две омские семьи, приветливые ко мне всегда, уехали в Санкт-Петербург. А с Елизаветой Михайловной у меня вышла недоразумение из-за ее чепчика с перьями, который нынче она стала носить в подражании княгине Ш-ной. Я не одобрил этот наряд – и вышла история, вот уже месяц не могу играть в карты с её добрейшим и неглупым супругом. Был еще один шанс убить вечер – с бароном Дюгамелем. Я имел честь быть приглашенным на бал, но визита к баронессе загодя не сделал, и она сама поставила мне шах и мат, теперь и ни туда, никуда... А дома оставаться по вечерам уже не мог, уж слишком нетерпеливо там теперь меня ждали. Так что я их пересиживал. Заткнувшийся Пирожков все больше и больше бронзовел лицом до черноты и вон к двери, споткнувшийся Усов с трагической ноткой хрустел пальцами и за ним. Лишь Чукреев просто хохотнет, шагнет за друзьями и, в полуобороте цапнув огромной лапой со стола шаньгу, утопает довольный. Чем? – опять не понять. Не захваченным на прощанье хлебцем же.

Когда Фирсыч, браво отдавая мне честь, провел меня к Григорию Николаевичу, над сундуками уже вовсю шел диспут, из тех, что не имеют ни начала, ни конца. Все были им так отчаянно увлечены, что на меня взглянули лишь мельком. Это весьма меня устраивало, и я, присев в сторонке, даже вздремнул. Сквозь кисейный сон я слышал: «Европа, Европа, что мне ваша цивилизованная Европа? Кто о нас подумает...», «... это в тебе, Потанин, поднялись местные инстинкты. А мы – Россия, Империя!» «...Мы сами Империя – Сибирь!». На этот раз поджигателем был, видать, сам Григорий Николаевич, хорош, ничего не скажешь! Роли поменялись, это уж совсем скверно. «Вы вдумайтесь, посмотрите правде в глаза. Мы колония! Российская колония! Ведь что пишет господин Березин? Колонии бывают не только заморские торговые, но и земледельческие. Второе! Второе-то совсем о нас! Все сходится». Оглушительно хохочет Чукреев, этот бродяга спать не даст.

«Колония! Мы что, африканцы какие-нибудь? По пальмам скачем? Ну ты даешь, Егорий! Ты это не того... Мы хлеб свой растим, да ещё Россию кормим». «Вот оно! Кормим! Но как?! Сами-то мы лишены права свободно торговать хлебом у них, на уральских перекупочных рынках они бьют нас пошлиной и цену сбивают. Кто богатеет? Не наш брат, сибиряк. Чем мы не африканцы?», – здесь я окончательно заснул и очнулся на крике: «Верно все, мы должны уйти!» – расходятся, подумал я, ан нет, – «...из России бесповоротно, пусть-ка сами посидят в своих лаптях! Во всем прав, Григорий!». «Не о том говорим, если ты гражданин... парламент... равенство всех сословий... Герцен... какая мысль! ...а вы куда скакнули?», – и я опять и надолго провалился в африканские джунгли, где невесть куда скакал с казаками на своих двоих, только Чукреев почему-то важно ехал на хребте чернокожего вождя.

– ...да не спи ты! Послушай, – сквозь лианы и зеленую паутину прорвался в мое ухо голос Грини, он же меня принялся тормошить за плечо.

А ведь должен помнить ещё со времен кадетского дортуара, что будить меня нужно очень осторожно, в противном случае я вскакивал как угорелый и, ничего не помня, кидал в покусившегося на мой покой все что ни попадало мне под руку. Нет, не забыл. Заметив, что я проснулся, тут же отскочил от меня и пошел оглядывать торжествующе лица граждан своей почти скроенной республики:

– Нам надо выделиться из России в Свободные штаты. В Федерацию из земель иртышских и алтайских казаков, киргиз-казакских султанств, бурятских и якутских краев и области забайкальских крестьян!

А затем снова бросился ко мне:

– А ты как думаешь? Что вы там вообще думаете, там на олимпе власти?

– Думать не входит в число моих служебных обязанностей.

Я был очень недоволен таким уж слишком вольным обращением со мной, никакого уважения к аристократии, скоро нас пихать и на улицах станут, прямо беда с этими демократами. Не было мне, горемыке, ни сна, ни покоя, ни дома, ни здесь.

– Оставь ты, Григорий Николаевич, меня, сделай милость. Что касается таких грандиозных проектов, то с меня хватит и генерал-губернаторского проекта по учреждению для киргиз-казаков новой религии, – я раззевался и последние слова вышли у меня особенно гулко. – К счастью, у нас ещё есть Император, твердо знающий, что в его государстве для нас вполне достаточно Христа и Магомеда.

И я снова сунул свой подбородок в бобровый мех, закрыв глаза. Видит Бог, и не думал ни кого обидеть, а просто хотелось снова задремать.

Конечно же, казачьи командиры тут же поднялись, раскланялись, тысяча китайских церемоний! И ушли. Гриня же молча стал укладывать книги в стопки, словно собрался их вязать и сам выезжать невесть куда.

Вот уж месяц я хожу к нему. А ведь знает от чего. Нет, лезет, такой осел! со своей Сибирью, Кучум бы его побрал!

Летом произошел следующий случай, который заставил меня рассориться со своими родителями, которых я люблю и высоко чту. В услужении моей матери была молодая женщина, муж которой пристроил в конце нашего родового летнего аула свою дранную кибитку и жил тем, что так же работал на султанскую Ставку.

Мне, заехавшему чуток отлежаться в доме отца, была поставлена отдельно юрта. И вот эта служанка по утрам начала приносить в чаше, налитой самой султаншей, кумыс для меня. И, присев у постели, ждала пока я не проснусь и не выпью напитка. Она являлась тихо, осторожно. Дивная женщина, без всякого вздора и что за губы были у неё, верхняя чуть вздернутая – это такая прелесть, нет, не всякий способен понять те сладкие поцелуи. Мать же скоро заметила, что прислужница её, отправляясь ко мне, начала подолгу пропадать. И другие служанки, может быть, шепнули что-нибудь откровенное и, однажды, я по сложившейся уже привычке спросонья потянул рукой ее к себе и увидел на постели... старуху. От отвращения у меня даже помутился разум. Я сейчас же послал сказать матери, что бы кушанья посылались с прежней женщиной. Султанша не уступила. Я настаивал на своем. Между нами началось охлаждение. Я использовал для переговоров своего дядю, брата моей матушки, к которому был привязан более чем к другим и он ко мне, быть может, и сильнее. Через него напомнил матери, что я давно совершеннолетний и имею право любить кого хочу, и что приму все меры, что бы защитить свою избранницу, если по отношению к ней будут приняты суровые меры. Родители рассердились не на шутку и велели объявить, что этой женщины я больше не увижу. Она и ее муженек отправились в Кокшетау с моим парламентарием к нему в богатый дом на услужение. Я написал не желавшему меня больше видеть отцу письмо, в котором заявил, что разведу свою избранницу и сам женюсь на ней, не стесняясь ничего и никого. Были вызваны срочно в Ставку близкие нам султаны, состоялся совет и был вынесен приговор, гласивший, что если я посмею без позволения выехать из отцовского аула, то султан Чингис будет вправе убить своего преступного сына собственной рукой. Как

всегда, я послушался всех, выехал в Кокшетау и, забрав особу, вызвавшую столь огромный скандал, из дома дяди, увез её к себе в Омск. Казни ждать.

Прошло время и наказание пришло: она начала мне надоедать. По закону, надо думать, запретного плода, побывавшего в руках. Что теперь с ней делать и что делать с собой я не знал совершенно. Выгнать, совесть не позволяла, оставить, жить нельзя. Что может быть ещё тоскливей в этом подлунном мире?

Обо всем об этом Потанин не мог не знать, так как к нему киргиз-казаки со своим узун-кулаковскими новостями заезжали гораздо чаще, чем ко мне, да и он сам, как естественный степной казак, был весьма охоч к хабару.

Деликатность темы не была здесь причиной его неинтересна к нынешним моим делам, как и моей вдруг невозможности самому заговорить с ним об этом. И хотя с ним я никогда не заводил такие разговоры, но знал, что он умеет быть циничен, как это случается у мужчин. Я бы оставил свою затею, но с кем-то надо обсудить! Пусть если кто и бросит в меня камень, то пусть будет он. Может хоть так мне легче станет. Иногда настолько тяжко проклинаешь себя, валяясь потеряно на подушках, что действительно был бы рад, если бы кто-нибудь вошел и прострелил тебе висок.

Котлы с кипящей смолой и всякую другую механику мучений в аду придумали грешники в минуты душевного самобичевания. И если первыми о них заговорили все же праведники, то не сомневайтесь, что они из тех, кто успели в свое время ой-как набедокурить.

Я знал, что проблему мою никто не мог разрешить, кроме меня самого, но я заставляю его выслушать меня! И сделать вид, что понимает и всячески одобряет мое решение. А, впрочем, как все это глупо. Хотя... если все же сидишь у близкого человека, надо что-то говорить, почему бы и не на эту тему. Начал я как хотел – за упокой, а кончил за здравие:

– Я, Гриня, отчего тебе надоедаю... Я знаю, что я моральный урод и нравственность порядочного человека мне не доступна, но так случилось и теперь... Что-то надо предпринять... только что? Хватит... тебе киснуть здесь. Из станицы в форпост, каков прогресс! Ты здесь нужен мне, пора тебе в свет выбираться.

– Да куда уж нам с суконным рылом! – совсем уж зло ответил мне он, прочно усевшийся за столом к гостю боком. – Мы уж как-нибудь здесь на лавочке посидим.

«Э-э, брат», – подумалось мне, – «Да ты уже совсем ничего не слышишь. Вот что значит зачитываться журналами с прогрессивными идеями».

– ...да книжки амбарные, шнурованные со счетами выданных солдатам белья и ваксы нумеровать будем, – довершил я, отчасти радуясь, что не стал говорить дальше о своем несчастье, отчасти злясь, что он сам так усердно марширует к своей беде.

– Да, будем. Служба такая!

До ссоры довел, каков казак! Что ж, решил я, поговорим о твоей болячке.

– Лихо вы тут замахнулись на устои Империи. Однако, прежде чем дом перестраивать, неплохо было бы узнать на чем он стоит – на сваях или песке, какие народы в нем живут, какие языки им свыше дадены. В иные уголки мы ещё даже не заглядывали. Народы не мебель, что бы их снова передвигать. У них свои идеи, нравы, свой Бог. История создала Российскую империю, где через кровь и силу, где пирогом и рублем. Так дайте время в ней всему устояться, самим народам понять смогут ли или нет жить вместе. Если нет, тогда и посмотрим с какой стороны баррикад нас судьба расставит. А служба разная бывает..., – нет, не слышит.

Кого-кого, а Потанина я знал как самого себя, если уж он уперся, то тут уж ни какими доводами, ни какими кулаками не выбить.

– Да, жаль, а я тебя, как и грозился, сосватал к полковнику Гутковскому готовить движение в Монголию... Нужен ему офицер для работы с картами и в архиве... Уж извини.

Молчит. Я походил по его горнице, ушиб колено о сундук и, нащупав в кармане кости, взял да и бросил их на стол перед ним. Выпали 2 и 1. Он с возмущением поднял на меня лицо, мол, здесь решалась судьба России, а он!.. Кости бросает!

– Если ты выбросишь больше, – указал я на мизерную свою удачу на костях, с ужасом осозная как мне близко грозит участь маршировать в одной колонне с Пирожковым без надежды даже быть убитым в бою. – Будет по твоему, меньше – по-моему.

Григорий взглянул на стол и, не сомневаясь в выигрыше, усмехнулся, взял кости и бросил. Выкинул он 1 и 1.

Хорунжий Потанин выехал со своей полевой торбой и связками книг из казачьего форпоста и снял комнату на мощеной улице в доме статского советника за 9 рублей со столом. Это было втрое дороже, чем у Однолюбовых, зато она была с большим светлым окном на юг, потолок высокий, даже с какой-то лепниной, вместо сундуков стулья, стол под крахмаленной скатертью. К чаю ему теперь подавали французскую булочку, а вечером вместо ужина – вареный язык. Наконец-то жить он устроился если и не совсем *comme il faut*, то

все приличней. Носки из теплейшей козьей шерсти он оставил, но по комнате расхаживал по прежнему и дул себе в усы: «Камильф-о-о...». Сейчас, я надеюсь, он понял, что комнатка его в форпосте с низким небеленым потолком и окошечком, ткнувшимся в серую корку замусоренного проулка давно не по нему. Теперь же он мог каждому смело предложить чай в чашечках и никакие шаньги его не компрометировали боле. Без сомнения, без смущения мог принять у себя даже какую-нибудь графиню. Но при условии, что она будет одна и не обжорлива – новая хозяйка считала возможным подавать, включая и чайную ложечку, только на одну персону. Прикупать Григорий, из-за своего весьма и весьма скромного бюджета, не мог. Но все это мечтания... тем паче, что единственная в Омске графиня уже лет так двести была прикована к постели параличом и вряд ли её скоро следовало ожидать с визитом. Seriously же, с волнением Григорию Николаевичу теперь говорил о других визитерах из столичных университетов... суровых, но тонких умом первооткрывателях земных тайн, ученых, литераторах, рождающих тут же при тебе афоризмы и теории. Быть может и Достоевский пожалует, если вдруг нечаянно вернется в Сибирь. Своими воспоминаниями, как он, Потанин, как-то столкнулся в узком месте В Семипалатинске с Федором Михайловичем и все пытался уступить ему дорогу и, услышав от него совершенно знакомое «Тысяча китайских церемоний!», он меня изрядно бы утомил, если бы при этом не показывал, как он его встретит. Григорий при этом бледнел, останавливался посреди комнаты, вытягивался, щелкал каблуками: «Милости просим, господин...», – но дальше этих элегантно и с достоинством произнесенных слов у него не складывалось. Выходило очень забавно. Мое предостережение, что знаменитый писатель нынче вовсе уже не революционер, а верноподданный гражданин, нисколько его не смущало.

Но после его переезда никаких, как ни странно, визитов к нему ни знаменитых личностей, ни просто нужных не последовало. Только я прятался в его убежище. Как-то раз приходили Пирожков с Чукреевым и Усовым. Хозяева каменного дома на мощенной улице встретили их крайне нелюбезно. Господин Крайс, чиновник городской управы, не приподнимаясь с кресла в гостиной, через которую следовало проходить к Потанину, не ответил на приветствия и принялся шелестеть газетой, а госпожа Крайс сразу отказалась дать ещё чаю: «Месье Потанин, это не входило в наши расчеты!», – такое при товарищах. Посидели молча, поскрипывая густо мазанными ваксой сапогами и утопали прочь. Какие могли быть разговоры, когда рядом из-за развернутой газеты чутко подрагивало большое крайсовское ухо. «Да к её французской булочке

никто так и не притронулся!» – рассвирепел Гриня. Надо было видеть при этом его физиономию. Обхохочешься. В отместку он совершенно отказался обсуждаться мою болячку. А дальше – больше, стал являться в дом, только спать, почти в полночь. Я походил, походил к коротающим в одиночестве Крайсам и отстал от него. Последовав примеру казаков – забыл туда дорогу. Как по стишкам другого революционера, нашего ссыльного приятеля Дурова:

«Дружбе угождая,
Не забудь себя,
Верь – не доверяя,
Люби – не любя...».

А быть может разговор о моей опостылевшей избраннице был вовсе и не нужен, что толку, когда от Грини уж точно тонкого понимания предметов, касавшихся дам, нельзя было ожидать. Тот же Дуров как-то расспрашивал его о семье и Гриня больше говорил о своей мачехе, вызвав у каторжного поэта восклицание:

– Святая женщина! Она сама жертвенность, кротость, изумляющая чистота помыслов, – и понес далее такую же галиматью.

– Вы ее знали? – изумился мой степной офицер.

– Нет.

Кажется, что тут такого. А Потанин вдруг смутился так, что заставил смутиться самого любезного слушателя да вдобавок оправдываться в чем-то.

На зависть мне, Потанин увлекся тем, чем я никогда не мог долго заниматься. В Омском военном архиве, первые акты которого относились к началу XVII столетия, он раскопал обилие нечитанных бумаг. О сношении русских пограничных начальников с киргиз-казакскими ханами и джунгарскими князьями, о самих государствах киргиз-казаков и джунгар. О Сибири, о Хиве. О Серединой Империи и Тибете. Григорий зачитывался ими до расплывшегося воскового пятна от свечи, разглядывал их, как миниатюры, расправлял, как кружева, выписывал, расшифровывал. Давалось это трудно, путано, медленно, до рези в глазах, но с каждым днем, как он уверял меня при наших теперь редких встречах, все строилось в единое, как Вавилоновская башня, которой не суждено разрушиться от множества языков. Он ощущал такой счастливый душевный подъем, что сел и лихо написал две статейки. Одну о диком осле – кулане, другую по памяtnому рассказу своего покойного отца – Потанина-старшего, приведшем в первого в Сибири слона из самой Персии. «Тобольские губернские ведомости» благосклонно рассмотрели их и вскоре напечатали.

Со своими первыми в жизни публикациями он, не выдержал, и, накинув шинель, побежал показывать их мне. Кому же еще, если мы с ним с девяти лет мечтали сопливыми кадетами стать когда-то путешественниками и описателями тайн далеких стран. Даже дрались за право первым открыть миру затерянную в горах толи Тянь-Шаня, толи Тибета поднебесный рай Шамбалу.

Землю Шамбалу вот уже тысячу лет ищут православные христиане. Особенно в этом преуспели старообрядцы, излазив вдоль и поперек весь Алтай. Искали и мусульманские дервиши, а так же буддийские монахи и еще много странных людей. Говорят на ней все люди счастливы.

Представляю, как он с увлажненными от радости глазами, бежал по весенней расплывшейся улице и неожиданно споткнулся о что-то серое, лежавшее поперек дороги. Оказалось – старуха. Живая. Потанин поднял её, но все одно старуха падала и падала. Григорий промучился с ней битый час и только смог понять, что старая женщина отбилась от своего переселенческого обоза и что страшит её не смерть, а эта жуть открывшегося перед ней бесконечного края. Одно она хотела, ежели он православный, – попасть к стенам церквушки какой – «у Бога рядом по-прикрытней будет», и там в благодати и умереть. Весь измазанный грязью, Потанин дотащил этот божий одуванчик до кладбищенской часовни, понимая, что уже никому в этой жути сибирского простора её обоза не найти. Вот ее-то уж точно к Крайсам не приведешь. Пришел он ко мне в потемках, мрачный, скучный. Сунул журнал мне в руки и ушел.

Потанина я устроил как мог лучше, а свою личную заботу так и не разрешил. Была у меня ещё надежда на брата. Я написал ему письмо, кое было верно передано ему в руки, но он теперь, проявляя преданность приговору султанского рода, даже не ответил. И когда я уже не видел спасения, одним прекрасным майским утром явился муж моей сожительницы и молча увел её. Все произошло в какие-то считанные минуты. Открылась дверь, он вошел, она собрала свои вещи и вышла с ним, даже не взглянув на меня.

В тот же день я решил отметить чудесное избавление от моей... не знаю, как назвать. Назвал бы её имя, но, боюсь теперь ошибиться.

С бароном Гюббенетом, Тургеневым и ещё одним молодым заезжим господином, протезе петербургских придворных дам, мы взяли шампанское и на экипаже поехали к Потанину. Причину своего приподнятого настроения я объяснил моим приятелям новосельем друга.

Господин Крайс встретил нас весьма любезно, он непременно был из тех, кто рад расшаркиваться перед важными лицами. А госпожа Крайс поспешила

выставить на стол бутылку мадеры, хотя по лицу Грини было видно, что он платить за непрошеное им вино твердо не будет. А ему и не из чего было. Последний его полтинник серебром ушел на книгу об Алтае и на чудесный олеографический портрет Теккерей, который он поспешил сразу же повесить на стену и даже сейчас с восторгом нет-нет, да оглянется на великолепного мастера английского пера.

Сели за стол. Как не старался хорунжий быть учтивым хозяином, его приветливость никак не отражалась на отполированных лицах неожиданных гостей. Постепенно буйная гордыня, за кою когда-то Петр Великий на гербе Дона посадил казака голым на бочку, вот-вот готова была вспыхнуть в нем простым битьем морд и посуды. Мои же приятели беспечно болтали между собой. Это целая светская наука, мой добрый Гриня, уметь сидеть с улыбкой, когда тебя не посвящают в суть беседы и переглядываются при твоих словах. Она постигается с трудом. И зря он на меня смотрел с обидой. В таких компаниях каждый сам за себя. Это тоже важный закон общества. Усваивай, казак. Но не желавший учиться манерам уязвленный Григорий Николаевич стал цитировать колкие фразы из «Книги снобов». Ему казалось, что ирония Теккерей сейчас была очень кстати. Ответом ему был вопрос, произнесенный петербургским протеже:

– А по какому ведомству служит господин Теккерей?

От такого неожиданного афронта Григорий только по-простецки открыл рот, не смог даже хмыкнуть. Тут я не выдержал и влез:

– Я бы вам не советовал искать здесь встречи с господином Теккереем.

– Почему же, султан? Он так не значителен? – протеже был упорен, что и требовалось.

– Напротив. Очень важная фигура. Но Ваш визит к нему невозможен.

– Его нет в Омске?

– Он здесь, даже совсем рядом.

Петербургжец обиделся:

– Если нужны рекомендательные письма, то извольте... Я не вижу причин, почему я не могу быть представлен господину Теккерее.

– Вы настаиваете?

– Да. Я был бы крайне признателен Вам, султан.

Я поднялся, заметив как Григорий уже с усмешкой посматривает и на барона Гюббенета и на курносого Тургенева, приподнял за локоток искателя знакомства с покойным писателем и повел его к стене, на которой красовалась портретная олеография со словами:

– Вы сами настаивали... Буду очень рад., – и почти ткнув ничегошеньки непонимающего визитера в изображение остроумного старца, сухо договорил. – Разрешите, господин Теккерей, представить Вам нашего столичного гостя...

Гриня разразился здоровым смехом как прежде, до своего знакомства со своими казаками-командирами, значит я был прав, утверждая, что люди моего круга для него полезней. Но, кажется, он по-прежнему считал по другому, всем видом показывая мне насколько мои приятели ничтожней его товарищей.

Со дня обретения мной опять свободы прошла неделя, я уже откутил. И теперь лежал прямо в кителе на своей излюбленной софе, сунув руки в карманы и, закинув вытянутые ноги в мягких тапочках на круглый столик, курил сигару. Низкий мягкий диванчик подо мной с уклоном сплющивался, да так, что я, сдвинувшись к краю, почти падал, касаясь уже локтем руки пола. Встать и поправить подушки было лень. Так и лежал, все дымя и поглядывая в потолок. И, наконец, упал с софы. Помедлив чуть, я поднялся и сел прямо на полу, благо он весь был устлан коврами. Вчера мой отец полковник султан Валиев прислал ещё один тюк с персидским ковром, видать в знак одобрения моего возвращения на путь истинный, и как проявление его всегдашнего желания, что бы внук последнего хана жил комфортно, как подобающей внуку последнего хана. Я некоторое время таскал этот пыльный сверток из комнаты в комнату и, так и не найдя места для ещё одной родовой роскоши, бросил в углу, забыв о нем. Но сейчас в сумерках этот свернутый ковер представился мне вдруг покойником, завернутым в саван. Эта мысль несколько позабавила меня и я сочувственно обратился к тюку: «Каково Вам там, милостивый государь, лежать бревном? То-то небось скучно. Ни друга у тебя, ни брата, ни жены. Я не такой, не уйди она, я, пожалуй, и женился бы на ней. Вот и относись теперь к женщинам с любовью». То, что находилось под грубым холстом мешка, показалось, прислушивалось. Что за чертовщина! Я встал, потрогал руками тюк – не шевелится, и снова принялся таскать его по квартире, пытаюсь все же засунуть подо что ни будь. Потаскал понапрасну и бросил в коридоре, затем вышел на крыльцо дома. В дом теперь совершенно возвращаться было неохота. Как я мог позволить этому болвану увести ее от меня? Я уже стал привыкать к живой душе рядом...

Сибирское сланцевое солнышко уже тихо шмякнулось где-то там за городом в ишимских болотах, но на улице все ещё отчетливо виднелись

фигуры людей. От офицерского собрания ехали в седлах по домам старые приятели Потанина. Первый из них, заметив издали меня, принялся лихо посвистывать. Друзья его поддержали, вот, мол, тебе наша воля.

Вдруг сам того не ожидая, я окликнул казачьих командиров. К крыльцу подъехал один Пирожков и сдержанно отдал честь. Ещё не зная, что предпринять, я самым деликатнейшим образом попросил его о услуге:

– Сотник, вы станете сейчас проезжать мимо дома Крайса, не могли бы Вы передать записку господину Потанину. Я сам не могу, завтра рано уезжаю.

Лицо Пирожкова осталось невозмутимым, лишь конь под ним дернулся.

Я, не дожидаясь согласия, вошел в дом и, вернувшись с пакетом, протянул его казаку-офицеру и добавил:

– Однако просил бы не говорить Григорию Николаевичу от кого, на это есть важная причина.

Пирожков взял письмо и, снова молча откозыряв, отъехал к ждавшим его товарищам.

Дела по экспедиции прервались. Из страшно далекого от сибирского Омска среднеазиатского песчаного тоннеля памяти я видел, как Григория вернули к прежней службе, работы для ума не стало. Теперь я представляю как сумеречные тени по комнате стали пластаться для него серым полотном солдатских портянок: считай не пересчитаешь, сколько на взвод такой-то, сколько на роту, сколько сгнило и украдено... Тут надо немедленно бежать, все равно куда – в Санкт-Петербург или в линейную станицу.

Потанин подошел к раскрытому окну и ещё бы минута, взял бы да выпрыгнул на улицу. В это время показались на ней казачьи командиры на своих коняшках. Григорий хотел было позвать их, но увидев, что они сами к нему двинулись, попытался даже через подоконник обнять Пирожкова, но тот молча протянул ему тоненький пакет и сразу же с друзьями рысью поскакал в темноту. Потанин отошел от окна, зажег свечку и прочитал с изумлением на листке: «Григорий Николаевич, возвратись в Фирсычу, мы отощали от французской булочки, а у Филиппьевны какая благодать, она дает шанег до отвала!»

В тот же вечер Григорий перебрался с Теккереем обратно в форпост к Однолюбовым и тут же послал Фирсыча за товарищами-приятелями, сам расхаживая в носках из козьей шерсти по горнице и потирая ушибленное об угол сундука с полозами колено, придумывая первые слова, которые он

скажет бронзоволицему Пирожкову, юнцу Усову, хохотуну Чукрееву: «Нужна борьба за свободную Сибирь! И мы...».

Одно меня утешает. Дабы проникнуть в недоступную страну Шамбола, где Царь Мира постигает мысли тех, кто оказывает влияние на судьбы человечества и, если они угодны Богу, тайно помогает, надо быть совершенно аскетом: ни семьи, ни страстей. Дружба тоже не идет к делу.

Не знаю сколько я прошел опять, но видимо большое расстояние, так как снова притомился и сел на песок. Даже прилег и вновь почувствовал, как песчаное русло несет меня туда, откуда я только что притопал. Была мысль воспротивиться, но потом я махнул на все рукой и погрузился в привычные уже для меня, хотя и не самые приятные, озвученные и движущиеся сцены из моей жизни.

Подобно Савоафу при сотворении мира, государь Император был краток и начертанное им 17 мая 1860 года слово: «Исполнить» в мгновение ока нанесло величайшие вселенские потрясения: солнце сместилось с востока на запад и подгорела каша на кухне омского генерал-губернатора. Тут же армии встали под знамена и в тревоге замерли народы, ожидая пояснений, что следует исполнить. Оказалось зря. То магическое слово касалось только моей персоны, с некоторого времени к моему удивлению ставшей вызывать к себе интерес со стороны Министерства иностранных дел. Но все равно, шума и пересудов эта воля Государя в нашем диком Омске вызвала много. Говорили, что я в кашгарской экспедиции тайно женился на китайской принцессе и теперь посол Императора Поднебесной требует выдачи моей головы, но снова тайно, без скандала и непременно из столицы, для чего и придумана была вся эта моя карьера, другие же твердо знали и азартно доказывали в светских салонах за деревянными ставнями, что губернатор просто не мог найти иного способа отделаться от своего адъютанта, не обидев мою султанскую родню и с трудом пристроил неугодного выскочку оттачивать разве что перья для невских столоначальников. Как бы там ни было, скоро я был переведен в Азиатский департамент Министерства с приличным жалованием, позволявшем снять весьма приличную квартиру в Новом переулке у дворца Великой княгини Марии Николаевны и иметь выезд. Правда, когда расходы превышали сумму в 3 тысячи, приходилось взывать благородству отца, к моей сыновней удаче неиссякаемому. Но более всего радовало то обстоятельство, что мне теперь не придется есть ту походную кашу за немецким столом своего патрона.

Занят я был, в основном, составлением карт, но времени свободного имел предостаточно. Бывал и в Географическом обществе и обществе поэта г-на Крестовского, имевшего неосторожность сочинить стих про испанскую танцовщицу и нищего, наслушавшись от меня сомнительных восточных сказок. От отсутствия особых забот и пустоты в голове я даже изображал гром и молнию Невского проспекта, опустив на ремне саблю настолько, что она грохотала по камням так, что вздрагивали даже полицейские лошади. Сам Тургенев как-то оступился на ней, чем удостоил её своим эмоциональным вниманием. Понятно, что отмеченное гением русской литературы мое холодное оружие никак не могло в тот вечер рубить между больших прелестей исторической Катерины Монс сахар саблями. Размахивали саблями барон Ашер и Гряфузов. Хотя они утверждают обратное... Эта история остается до сих пор не проясненной. Наконец, может быть досказанной, но кто решится? Я – нет, увольте. И так достаточно самых невероятных слухов.

Вставал я с постели в полдень и этим обстоятельством посещение университетских лекций было несколько затруднено. Но как только я узнал, что профессор восточного факультета г-н Казем-Бек принимает у себя плененного год назад известного имама Аварии и Чечни Шамиля, я сразу поспешил в альма матер.

Мятежный горец интересовал меня чрезвычайно. Впрочем, он и события, связанные с ним, интересовали всех. В первые годы Кавказкой войны убитым шамилевым воинам добровольцы отрубали головы, получали червонец за каждую из них от генерала Вельяминова, зашивали в холщовые мешки для исследований в Академии наук Санкт-Петербурга, Там ученые мужи таким образом пытались разгадать загадку отчего горцы так умело и сильно бьются, видимо, предполагая, что у этой расы что-то не в порядке с мозговыми извилинами.

Имея под руками документы департамента и узнав лично некоторых героев, кто имел непосредственное отношение к Кавказкой войне, я открыл один механизм её, крайне неприятный. Меня всегда удивляло как русская армия, чей Суворов со своими дивизиями перескакивал через альпийские горы, как через стулья и чей Кутузов в конце концов разбил в пух и прах Наполеона Буонапарте, застряла на двадцать пять лет в боях на Кавказе с его тремя десятками аулов да крепостей геродотовских времен. Собака оказалась зарытой в Моздокских и Гехинских лесах, стройные стволы которых прикрывали с севера весь Кавказ. Чиновники из военного ведомства разработали удивительно простой, но гениальный план личного

пользования. Сойдясь с генералами, они быстро убедили царя, что Шамиля никак нельзя достать прежде не очистив для боевых действий весь прилегающий к театру военных действий плацдарм, мол, и артиллерия никак не пройдет и за каждым деревом злой чеченец прячется с кинжалом. И тысячи солдат, отложив ружья в пирамиды, принялись рубить строевой лес, которой, естественно, не проходил по графе промышленной рубки, а рассматривался как затраты самой военной компании, исчезая неизвестно куда. Тут не щепки летели... Конечно, и труд солдат не оплачивался из кармана невидимых лесоторговцев. Миллионы текли во дворцы столичных сановников, а когда все вырубili, никак уже нельзя было отложить и захват упрямого имама. При этом, конечно же, кровавые схватки с неуступчивыми горцами всегда имели место, то один батальон захватит какой-нибудь аул, то другой осадит какую-нибудь башню. А один генерал с фамилией, переводившейся со швабского как Гроб, даже слишком перестарался и на третий или пятый год таких маневров взял шамилевскую столицу – высокогорный Ахульго. Непонятным для петербургских стратегов образом этот Граппе-Гроб за неделю проскочил непреодолимые переправы через бешеные реки, пробился сквозь непроходимые пропасти между голыми скалами с их засадами и заслонами горцев.

Правда, при штурме заоблачной цитадели, на стенах которой все это время стоял сам Шамиль в белой одежде он потерял четыре тысячи русских солдат.

Правда, к везенью сторонников теории невозможности скорой победы над имамом, Шамиль из павшей крепости таинственно исчез...

Правда.., а где она – правда? Больше о генерале Граппе было не слышно. Говорили, что сын его погиб на той кавказкой войне и все. Генералу указали, что он не Суворов и такие марш-броски только вредны престижу российского оружия.

Горцы отчаянные и умелые воины, каждый из них выстоит в партизанской войне против трех отмуштрованных солдат любой европейской державы, но все равно – оглоблю камчой не перешибешь.

С десятков лет три полка российской кавалерии гонялись и за моим дядюшкой султаном Кенесары, поднявшего вместе с другими султанами часть киргиз-казакских тайпов против имперской власти, озлобляя его до состояния затравленного одинокого волка и никак не могли его окончательно разгромить, пока самовольного хана от своих крайних обид не убили дикокаменные киргизы в своих горах, которых он сам третировал и резал как крайний деспот. При желании можно сесть и с пером в руках посчитать,

сколько было выделено фуража, пороха и иного довольствия для походов против восставшего султана, существовавших большей частью только на донесениях. А сколько тысяч скота было взято казаками и драгунами в качестве трофеев в киргиз-казакских аулах? Поди проверь в бескрайней степи всю доблесть этих полковников, один из которых, из семьи далеко небогатого каркаралинского казака, сразу же после гибели своего противника ушел в отставку и купил в Омске каменный дом на Дворянской в два этажа.

Востоковед Казем-Бека я знал ещё по переписке, в Петербурге бывал у него часто, он был чрезвычайно мил, учтив, переводил каноны Мухаммеда и изображал из себя английского лорда. Нас когда-то свела вместе расшифровка ярлыка хана Тохтамыша к князю Ягайло. И как только он испросил у надзиравших за кавказцами лиц разрешение на мое присутствие в его доме во время визита плененного имама, я тут же поспешил к нему. Но прежде мне надо было заскочить к своему братику Макыжану, учившемуся рисованию у художника Тараса Шевченко.

По приезду в Петербург я сразу дал ему знать через работника. Возвращаясь из департамента, вижу – сидит у меня на квартире и с первого взгляда явно узнал меня. Но говорит: «Обличье твое позабыл». Хитрец, к чему же так? На всякий случай я решил денег ему не давать. Он был вполне здоров, но оказался большим лодырем. К тому же принялся таскать без спроса у меня книги. И сейчас шести томов не оказалось, среди них и казембековские. Если не вернуть, никто не выручит меня от профессорских нотаций, а по мне лучше большая беда, чем выслушивать назидательные упреки.

Макыжан, к счастью, сидел у себя. Жил он среди глухонемых ребят, собранных по всей России для обучения нужному ремеслу при полном пансионе, вот и вынужден был читать все что попадалось ему под руки. Я забрал у него книги и тут мне пришла мысль взять его с собой и заставить хоть немного потрудиться на портретом Шамиля. Но младшенький преподнес мне урок, заявив, что по законам шариата рисовать человека есть грех. Нет, каков! Мне стоило поучиться у него так логически обосновано бездельничать.

Казем-Бек с восточными комплиментами представил меня Шамилю. Как и говорил профессор, представленные газетами описания костюма имама, роста, осанки и манер оказались верны и не стоит их повторять. Я не писатель и не решусь на свое живописание обликов героев того дня. Лучше попытаюсь вспомнить о самих беседах с гостями ученого петербуржца.

Больше всего нашего хозяина радовала особенность Шамиля без всякого утомления расспрашивать его о различных ученых, об их сочинениях, о том,

какими книгами он руководствуется в своем преподавании и учит ли он студентов толкованиям Корана и знает ли исламскую юриспруденцию. Ко мне же кавказский аксакал обращался нечасто. Скажем, два раза. Ну, два с половиной. Чем-то я его не радовал. Заявив, что мало знает о киргиз-казаках, он тут же проявил необыкновенную осведомленность, спросив к какой партии моего народа я принадлежу: к пророссийской или противоположной ей мятежной партии Ак-орда, хотя достаточно было просто оглядеть мундир штабс-ротмистра на мне. Услышав ответ, он на секунды чуть приподнял вверх обе руки и устремил глаза в потолок, как бы испрашивая прощения у Аллаха за кривую дорожку иных мусульман и, возможно, делая знак Всевышнему, что он, Шамиль, если и виновен, то ведь не в силах же он был казнить всех отступников от пламенной борьбы за веру.

Шамяля сопровождал его сын Казы-Мухаммед, молодой человек моих лет со взором, опущенным долу. Лицом и ростом он напоминал отца. Но по нему я не мог представить молодой образ Шамяля, вот так чем-то неуловимым отличается точная копия картины от самого оригинала.

При мне Шамиль с благодарностями вернул Казем-Беку книги, которые взял у него в предыдущую встречу. Профессор предложил ему выбрать для чтения ещё кое что из своих фолиантов, при чем с такой охотой, что мне, с трудом выбивавшего у него нужные для работы книги, стало несколько обидно. Стали рассматривать сочинение под заглавием «Мизануш-шарани», где автор доказывает, что все учения ведут к одной главной и абсолютной идее, из которой сами и истекают. Для наглядного объяснения он изобразил смелой кистью источник истины, струя из которой течет в рай.

Имам сидел, на диване, поджав одну ногу под себя и говорил по-татарски, но когда дошли до страницы, на которой были размещены пророки в разрисованном раю, Шамиль, увидев место и положение Мохаммеда, произнес по-арабски:

– Клянусь Аллахом – это верно: таким я видел его в последний раз.

Рука профессора, переворачивавшего широкие страницы иллюстраций, замерла в воздухе, глаза скосились в мою сторону, но не более того. Впрочем, и этого было достаточно, что бы Шамялю стало ясно – есть непосвященные, коим с их скудным состоянием религиозного эфира трудно поверить в то, что можно не позднее чем в прошлый четверг встретить Пророка, почившего в бозе века назад.

Имам несколько отстранился от книги. Принялся перебирать четки и, уставившись в самый темный угол комнаты, заговорил:

– В час смерти Казы-Муллы при взятии Гимрэ я был рядом с ним. Его сразила пуля, мне же солдат пробил штыком грудь, так что острие вышло у меня из спины у левой лопатки. Он был равен мне ростом и молодостью. Я сразу стал холодным и ноги мои заскользили, словно я стоял на ледяном склоне, но тут над солдатом появилась и протянулась ко мне тонкая рука с открытой ладонь, на которой лежала виноградная косточка. О, Аллах, я видел её и она светилась в той ладони. Не буду лукавить, упоминая имя Всевышнего, меня охватил страх, что та косточка вот-вот упадет на землю. Я протянул вперед свою руку и крепко сжал её. Оказалось, что рука моя схватила пальцы руки солдата, сжимавшие горячий ствол у штыка. Они были в золотых крапинках, а большой палец в пороховой гари. И меня снова наполнило тепло. Солдат попытался бросить ружье и вырвать свою руку из моей, но я не дал ему этого сделать и смотрел ему в глаза. Вначале он испугался, потом понял, что он уже стал моей половиной и теперь я волен решать какой половине умереть. Я свободной рукой перехватил ружье, вырвал из себя штык, развернул его и проткнул солдата. Он умер. Вот и все.

Рассказ имама был весьма знаменателен. Северокавказские мусульмане настроены весьма мистически.

В родных мне степных аулах матери во спасение от болезней и сглаза часто меняли имена своих чад.

В горном аварском ауле полсотни лет назад младенец Али оказался тяжело болен. Были употреблены все средства к его выздоровлению: разные умывания углем и святой водою, окуривания, перемена мест, но ребенок все чахнул. Оставалось ещё одно средство, но оно было несколько предосудительное. Это перемена имени. Трудно было отказаться от имени Али, зятя Пророка Мухаммеда, но любовь матери превозмогла. Али был переименован в Шамиля.

Профессор допытывался у имама, как помогло это средство и, он, как обычно призадумавшись, отвечал двусмысленно:

– Я выздоровел скоро, но не знаю, от перемены ли имени. Еще до имамства я встретил на дороге из одного аула в другой еврея. Случилось нам ехать в одном направлении. В разговоре, он спросил: как меня зовут. Я отвечал. «Как! – воскликнул он, – разве у вас, мусульман, есть такое имя? Ведь это наше имя, иудейское – Шамуиль». В книгах я читал, что имя Шамуиль в числе древних пророков и патриархов и по этому решил подписываться им. Но уста народа, особенно соседские, никак не желали произносить это, как они посчитали, жидовское имя. И мне пришлось заставить их признать мусульманское

значение моего имени. Вот и все, – имам оставался весьма серьезен и все же какая-то искорка смеха мелькнула в его глазах.

О Шамиле ходили легенды, что он после битвы под Гимрэ воскрес из мертвых. Так Аллах вернул его на грешную землю во второй раз для защиты ислама. Не менее загадочна смерть и его соперника во власти – Гамзат-бека, считавшегося первым преемником на предводительство после ухода в мир иной имама Казы-муллы и представлявшего влиятельнейший и богатый клан. Не смотря на то, что он бежал с поля боя в отличие от Шамиля, Гамзат в карадагской мечети сам объявил себя наследником имама. Очень многие с этим не согласились, считая Шамиля более достойным, но их кумир ещё с открытой в груди раной написал своим сторонникам: «Русские торжествуют, Гимрэ взят, имама нашего более нет. Для поддержания ислама нужно единодушие. Кто бы ни был предводителем мюридов, – внушите народу повиноваться ему покуда».

Покуда скоро Гамзат не вырежет, взяв Хунзах, весь род аварских ханов и не будет там же проколот мстительными кинжалами Османа и Хаджи-Мурата, молочных братьев убиенных ханов.

Вновь принявшись разглядывать рисунки, Шамиль с некой долей печали, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Смерть со мной дружила.

Став и духовным и светским вождем, Шамиль в отличие от своего учителя, создал настоящее государство – Иманат, границы которого расширил за счет тех территорий, которые были в стороне от Моздокских лесов. Вторгался и в Грузию, где взял в заложники отрока грузинских царей, которого затем обменял на своего захваченного русскими сына.

Шамиль имел регулярные части со знаками отличия. Знаки полкового и дивизионного командиров состояли из круглой серебряной пластинки, разделенной на три отделения. В первом отделении помещена была надпись кругом на арабском: «Если ты предаешься войне, то малодушие в сторону. Терпи все её невзгоды: кому не назначено, тот не умрет». У войск Кенесары воинские знаки были попроще. Красные и синие нашивки на плечах и груди рядовых и три золотых шнура у командовавшего состава.

Неожиданно аварский старец снова обратился ко мне:

– А теперь я хочу сказать тебе, наследник казакских ханов. Русские пленили моего сына в его малолетстве и воспитали его в этом городе, как и тебя, своим офицером. Они вернули его больным и он умер от болезни силл.

Силл по-арабски означает чахотку. В последний месяц петербургский климат стал плохо сказываться и на моей груди, я стал кашлять. Если этот служитель Аллаха действительно дружит с черным ангелом Азраилом, то упоминанием о своем сыне предлагал мне поспешить отсюда пока я не стал одним из бедных персонажей г-на Достоевского. И меня охватила глубокая печаль, печалился я до нового презабавного эпизода.

Шамиль наконец осмотрев все рисунки иллюстрированной книги, закрыл её, отложил в сторону и обратился к профессору:

– Я приготовил для тебя вопрос. Я читал историю Египта и там сказано, что во время управления одного из халифов фатимийских в одном и том же году было затмение Солнца и Луны, что предвещало несчастье. Что говорят европейцы о причине затмения?

Профессор солидно откашлялся, потрепал рукой свою окладистую бороду и, приведя себя снова этими ритуальными действиями в лекционное состояние, начал свои объяснения на арабском языке, без которого нельзя говорить с мусульманином о научных предметах. Не ограничивая себя лишь сфероидными взмахами руки, он изобразил карандашом на бумаге Солнце, Землю и Луну в их относительном положении во время обоих затмений:

– ...и когда Земля совершает свое кругообращение вокруг Солнца...

– Нет, не Земля, а Солнце вращается вокруг Земли, – твердо возразил Шамиль, до последней фразы слушавший ученого внимательнейшим образом.

Профессор неожиданно горячо стал настаивать на своем понимании мироздания, даже призывал и меня высказаться по астрономическому предмету, совсем невпопад заявляя, что я, как офицер, знающий что такое траектория полетов артиллерийских снарядов, должен подтвердить современные представления полетов планет в космосе. Я отмолчался. Давнего мальчишеского спора с муллой в Ставке моего родителя под его неодобрительным взглядом на тему: как и когда возникла наша Земля мне было достаточно. Однако имам не стал ссылаться на Коран, а лишь оглядел лицо своего сына, который явно уже поверил в то, что Земля вращается вокруг нашего светила. Не дав перемениться ни одной черточке на своем лице, Шамиль сказал Казы-Мухаммеду несколько фраз на аварском языке, которого я не понимал. Тот выслушал его и весь восторг познания в миг улетучился с его лица.

Запомнился мне отчетливо и другой монолог главы правоверных Кавказа, высказанный им снова в своей манере:

– Войну я начал молодым человеком и после смерти своего учителя не видел никакого другого исхода, как месть. Газават есть явление законное. Не могут мусульмане жить под власть заблудших или, что ещё хуже – язычников и безбожников. За эти долгие годы погибло от пуль и клинка тысячи солдат и мюридов. И ничего не изменилось. И я устал от этой войны. А если устаешь от дела, то значит дело это не освещено волей Аллаха, значит путь, который я выбрал, Ему не стал угоден. И я отдал себя русским генералам. Наверное, наступит день, когда я присягну на верноподданство русскому царю и новому своему отечеству. Но цель моей жизни не изменится и я не откажусь от газавата. Когда Мухаммед вернулся с одной войны, он сказал своим соратникам: «Мы закончили малый газават. Пора начинать большой газават». Его спросили: разве война есть малый газават и что есть большой? Пророк ответил: «Большой газават есть нравственная борьба и эта борьба труднее чем война». Только сейчас я понимаю, что идти к освобождению последователей Мухаммеда от кафиrow надо идти другой дорогой – дорогой доверительного слова, любви и примерами своей добродетельной жизни. Нам всем надо молить Аллаха, что бы глаза у русского царя Александра и глаза его сыновей открылись скорее и они увидели бы истинную веру во всей её красоте и признали бы они, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед Пророк Его, чем свершится та воля Аллаха, которую мы не поняли правильно и пошли на ненужную войну. Это случится не скоро, но разве не к терпению учил нас наш Пророк, – помолчал и с удивительной уверенностью добавил. – Если бы царь пожелал меня выслушать, он вступил бы на истинный путь скорее. Зачем-то же он сохранил мне жизнь.

В Ставке мятежного Кенесары в свое время составил заговор, а так как участником его был и некий русский унтер офицер, присягавший на верность царю и отечеству, а затем и киргиз-казакскому хану, то просил он за голову султана не обещанные 3 тысячи серебром, а прощения. Царь на это наложил резолюцию: «Да, если достанет живого». Августейшие Романовы, надо думать, хотели видать своих противников живыми не для душеспасительных бесед, а потому что являлись Императорами, а не африканскими вождями, коллекционирующими части человеческого тела. И все же было что-то такое пророческое в этом кавказском патриархе, способное сдвинуть любые чувства в сердце любого человека.

И ещё одна его сентенция, оставшаяся в моей памяти:

– Нас нельзя победить, потому что среди мусульман мы самые обездоленные и эту судьбу выбрали себе волей Аллаха и своей волей. Мы

считали себя суфиями ордена Накшбандийа и воевали за интерес своей веры и своего народа. Только настоящий суфий разве может воевать за народ? В этой жизни ничего для нас не должно существовать, кроме как служение Аллаху. А Аллаху не угодно служение оружием. Это верно, как печать Пророка. Война – это угроза смертью. Проигрывает её тот, для которого смерть есть его поражение. И он боится. Смерть же для нас только продолжение пути к Всевышнему Аллаху. Император оказал мне невиданные почести и подаренные им мне драгоценности были таковы, что мы подобных вещей и не видывали никогда. Золото и оружие – вот что делает людей рабами других людей, но те, кто владеет и гордится тем, что имеет золото и оружие блуждают на пути к Аллаху.

– Значит, ни о чем не сожалеете? – спросил имама профессор.

И имам ответил сам прямо-таки по-профессорски:

– Я жалею лишь об одной утрате. Покинувшие меня сожгли мои книги. Вот и все.

Война между народами всегда в какой-то своей части и война со своими.

Сестрица Кенесары атаманша Бопай со своим лихим отрядом сожгла нашу степную усадьбу. Конечно, дом – не библиотека, но ведь и там были книги, да и вообще жалко.

К концу нашей встречи, Казы-Мухаммед, прежде спросив разрешения у отца, возбудил следующий вопрос. Он сказал, что видел здесь в Петербурге фотографии людей и попросил разъяснений как они делаются. Профессор Казем-Бек нашел очень удачную форму объяснения. Он подвел мюрида к зеркалу:

– Видите свое изображение в зеркале?

– Вижу во весь рост и очень ясно, – отвечал Казы-Мухаммед.

– Как мы видим себя в зеркале? Отчего это происходит? Что это значит? Все эти вопросы относятся к науке, называемой у арабов ильму рвут, по европейски – оптика. Есть оптические лучи, отражающиеся от людей и предметов, они оставляют на всяком полированном предмете свои следы, составляющие изображение. Как на этом зеркале. Есть и другая наука – химия...

– Я знаю эту науку, – воскликнул Казы-Мухаммед, которому видимо всякое знание доставляло явное удовольствие. – Древние философы посредством науки химии делали золото из всяких металлов.

Профессор строго оглядел своего новоявленного студента и, после строгой паузы, продолжил:

– Так вот, юноша, химия имеет такие вещества, которые закрепляют на гладкой, плотной бумаге оптические лучи, которые изображают нас.

– А, я понял! – сказал Казы-Мухаммед с непритворным восторгом. – Как это умно! Кто открыл эти химические вещества? Мусульманин какой страны?

– Нет, – разочаровал Казем-Бек своего слушателя. – Эти вещества открыл один франк и не очень давно.

По глазам Казы-Мухаммеда было видно удивление, что такой умный ученый был не мусульманином. Разве не принявшие ислам могут видеть верно! У Казы-Мухаммеда, как и у его отца во время интересной беседы, физиономия сильно оживлялась, но тут же застывала, когда говорилось о чем-то не устраивающем своей сутью его.

Старик, конечно же, был презабавный, но меня черт дергал и все хотелось смутить душу его мрачноватого, если не сказать угрюмого сына Казы-Мухаммеда, столь крепко державшегося старозаветных правил имама. Воспользовавшись его любопытством к фотографии, я в самой учтивой форме обратился к имаму с предложением совершить путешествие в фотографическую мастерскую и сделать там его карточку для истории, тайно надеясь, то сам имам откажется от этого сомнительного занятия, но своего наследника он отпустит со мной. Сказав, что в Коране нет слов о фотографии и, следовательно, наука эта не противопоказана людям, имам так и поступил.

Прежде я отправил записку Крестовскому. Если уж сам Добролюбов объявил нас с ним сатирами фривольной музыки, то лучшего компаньона, чем поэт для моей миссии я придумать не мог. Затем мы отправились фотографическую мастерскую, затем я немедленно повез Казы-Мухаммеда в новое питейное заведение под модным названием Restaurant. Он оказался отличным джигитом. Войдя в зал, наполненный запахами французских вин и духов он, догадываясь, что здесь не занимаются наукой, называемой арабами ильму рвут, не смалодушничал и только сказал мне тихо:

– Ты мусульманин, я доверился тебе.

На что я ответил, что являюсь не только его единоверцем, но и обладаю таким же именем как у него с незначительной разницей – Ханафия вместо его Казы.

В тот год кавказская одежда с непременно кинжалом только входила в стиль и Казы-Мухаммед произвел на присутствовавшую публику всесокрушающий эффект.

Я заказал обед, исключавший свинину, и парочку бутылок «Мадам Клико».

– Я не стану пить, – сурово сказал сын имама, когда половой разлил шампанское по нашим фужерам.

Самое верное средство уговорить человека это его не уговаривать. Даже в самом праведном человеке сидит маленький шайтан, тем паче в молодом теле, оказавшимся в кошмаре, тонко сплетенном из близких оголенных дамских плеч, венского вальса и светских анекдотов, которые я знал достаточно. Не прошло и получаса, как Казы-Мухаммед сделал свой первый глоток вина. Хотя, кто его знает. Может быть и не первый, ведь виноделие не в северной столице придумали. А когда наконец приехал Крестовский с тремя девицами в белом, малиновом и снова малиновом, но с черными бантами чуть ниже талии, наш петербургский пленник созрел настолько, что на вопрос поэта, нравятся ли ему «Мадам Клико», отвечал прямо:

– Мне нравятся русские женщины, – чем вызвал бурный восторг у наших приятельниц.

Все что последовало далее не отличалось оригинальностью и, как и история с сабельной атакой на округлостях Катерины Монс, достаточно запретная для оглашения. Приведу лишь один отрывочек из диалога за тем застольем и то потому что он имеет непосредственное отношение к самому имаму, точнее к тем словам, которые, как я догадываюсь, он сказал сыну на аварском.

Неотвратимая пьянящая симпатия, возникшая в нашем кругу, позволила скоро романическому Крестовскому обратиться к новому другу в черкеске с пламенной речью за здоровье со словами о наступившем теперь вечном единении и братстве, с торжественным умозаключением, что теперь даже наука пить шампанское не разделяет Россию и Кавказ.

Казы-Мухаммед выслушав мой перевод поэтического тоста, согласился, добавив только:

– Ваши науки очень хороши, но Солнце для нас все равно всегда будет вращаться вокруг Земли.

По всей степи разбросано множество древних и новых могил, курганов, насыпей и пр. Эти немые памятники в киргиз-казакском быте гораздо важнее в географическом, чем в историческом отношении, потому что это единственное, что совершенно неподвижно в жизни народа, и кочевник соотнобразяет свой путь с положением этих могил, как когда-то купцы на европейских дорогах шли по постоялым дворам.

Мола – неопределенное название, под этим словом мы рассматриваем и древние строения и построенные не так давно траурные склепы, но что мы

чаще всего видим? По преимуществу простую, неизысканную насыпь, кучу щебня или какой-нибудь уродливый монумент, слепленный из глины. Этой простотой, безыскусностью и отличается то, что дано нам видеть. Но некоторые из них следует исключить из этого числа, как, например, мавзолей ходжи Йасави, мавзолей Суюк-хана, сына хана Аблая, монастырский свод которого рухнул при строительстве и задавил девять рабочих, и султана Абулхаира, военачальника, разгромившего джунгарскую армию и предавшего свой народ ради единоличного трона в Младшей орде.

Не менее примечателен материал, из которого строятся такие молы. В киргиз-казакском мавзолее и около него выражается весь вкус киргиз-казака, его искусство, архитектура, его вера и фольклор. Созданные не так давно могилы имеют две главные формы: квадратную и куполообразную. При первом условии мавзолей представляет собой небольшой тип крепости, т.е. сооружение с невысокими дверьми на запад, укрепленными наружным траверсом, и за стенами их можно, при необходимости, укрыться от нападения более десятка человек.

Вторая форма более других нравится киргиз-казaku, потому что громадность у него – первое условие величия предмета, и мавзолеи поэтому устраиваются над прахом важных и богатых личностей.

Многие могилы выстроены из обожженного кирпича. Где заняли киргиз-казаки это мастерство, неизвестно, но положительно можно сказать, что обожженный кирпич нельзя назвать редкостью в степи, он часто встречается в наших древних постройках.

Киргиз-казакский кирпич отличается прочностью глины и неровной отделкой; он очень тонок и различной формы судя по потребности: для круглых сооружений – округленный, для пирамид – квадратный и прямоугольный.

Могилы всегда устраиваются на возвышенных местах, караванных или кочевых дорогах и около речки или озера. Это делается и с целью, чтобы проезжий мог прочесть особенную над прахом молитву бата – благословение.

Древние надгробные памятники отличаются большим разнообразием видов, лучшей отделкой материала, употреблением прочных сводов и украшением резьбой. Путешественник, проходя мимо, замечает в своих записях суть произведения народа не дикого, а образованного.

Но когда появились первые строения среди этой пустыни? Постараюсь эту мысль довести до той степени ясности, до которой позволяет историческая истина.

Первоначально следует заметить, что древние могилы по простоте и искусству строения должно разделить на два разряда: на народные могилы с обычными насыпями над захоронением и на палаты, строения, где успокоились души почетных персон. Страна этих могил, наши степи, были заняты до монгольского периода истории тюрками коренными. Четыре племени, участвовавшие в защите хана Огуза, – уйгуры, каладжи, канлы и карлыки составляли основу тюркского союза. Были народы, которые по происхождению принадлежали к другому поколению, но подчинялись тюркскому языку, тюркским нравам. Таковы были хазары, болгары, башкиры, мадьяры и др.

Нашествие монголов совершенно изменило население этой страны, сами имена племен потерялись и только некоторые остались именами киргиз-казакских родов. Старое население, без сомнения, слилось с новым, и здесь на законах монгольских нередко возникали орды, отдельные от Золотой или Волжской орды: Ногайская, или Мангытская орда на Урале, Синяя орда до Сейхуна и Тюменская орда рода Шейбанилов. Вероятно, ханы всех этих орд завещали хоронить себя в глубине той степи, которая породила их, так мы находим могилу основателя Мангытской орды Идигея на одной из Улутавской вершин, которая и носит название этого великого полководца.

О беке Идиге, эмире тюркского племени мангыт, одним из первых упоминает в своей киргиз-казакской истории «Джами» Кадыргали Жалаири.

По Жалаиру неугомонный Идиге, где бы он ни находился, первым же делом сражение или «страшную сечу чинил». Идиге у него отличается и острым словом. Как-то во время какого-то очередного зимнего похода сей славный витязь на жалобы и мрачные предсказания о переменчивости погоды и судьбы человеческой изрек: «Волга скоро не замерзнет, Идиге скоро не умрет». Ничего не скажу о нраве великой реки, а сам бек Идиге протянул действительно, несмотря на всю свою боевитую непоседливость, довольно долго, и погиб только на 63-м году от ран в битве с неким ханом Кадырберды.

Однако не только ученые мужи, но и народы сочиняли сказания об этом легендарном победителе Великого литовского князя Витовта при Ворскле и фактическом единоличном правителе Золотой Орды при четырех ее ханах.

Есть и у моего народа своя сага о Идиге-беке. И если Жалаири писал свое сочинение, сидя в Москве, на никому не понятном там языке, при этом

нисколько не смущаясь, посвятив ее своему покровителю Борису Годунову (хотя черт его знает, быть может, действительно Годунов татарин?), где-то в середине XVI века, то наш эпос-джир, должно быть, составлен гораздо ранее начала XV века.

Это доказывается многими старинными словами и оборотами, которых теперь нет в современном киргиз-казакском языке. Примечательно так же и то, что в этой целой рапсодии нет ни одного персидского или арабского слова, тогда как теперь, с распространением магометанской религии, даже в обыкновенном разговоре между простым народом, вошли в употребление слова из этих языков.

В последнее время моего пребывания в степи джиры почитались уже устарелой формой поэзии. Можно сказать утвердительно, что эта форма сказания под аккомпанемент двухструнного кобыза вышла из моды со смертью знаменитого певца-импровизатора Джанака, он был родом каракесек, из Каркаралинского округа, и вряд ли я теперь осмелюсь претендовать о передаче мной и всей рифмы и размера этого эпоса. Ведь все строки и мелодия из поколения в поколение передавались изустно особым сословием певцов, как в древней Греции поэмы Гомера. Но небольшой отрывок из «Идиге» я все же попробую передать.

Первый список джира о Идиге сделан был моим уважаемым родителем, большим поклонником этого великого тюрка, которого он без всякого сомнения считал, пусть не прямым, но одним из наших предков, впрочем без всяких на то доказательств (после моей аудиенции у Императора, как-то он встревожено спросил меня: «Не проговорился ли ты русского царя о том, что наш Идиге сжег Москву?». Это чуть ли не пять веков назад! – такова его не наивность, а, скорее, осторожность). Затем этот же список дополнялся из других источников и, наконец, мы свели его с моей записанной версией.

Естественно, я не буду следовать тем законам джира, когда герои обязательно свои монологи излагают стихами.

Второе, разрешите мне не всегда следовать различным историческим хрестоматиям, при всем моем уважении, скажем, к работе Ибрагима Хальфина, изданной совсем недавно, в 1822 году. Сухое изложение фактов и так доминирует в моей писанине, а хотелось бы изложить нечто более художественное, пусть даже с немалой толикой народной фантазии. Я думаю, это и интересней писать, и интересней читать.

Только коротко, и по Хальфину, и по древней рукописи Ибн-Арабша можно достоверно заключить, что Идиге был происхождения духовного, хотя тот же Ибн-Арабша вдруг называет его дьяволом Хромого Тимура.

Идиге был потомком Святого чудотворца Баба-Тукласа в 9-м колене. Предание о происхождении самого Баба-Тукласа уже как бы заранее выдвигает его потомку особые дарования.

Случилось так, что некто, путешествуя, наткнулся на череп с надписью на лобной кости: «Я живой убил несметное число людей, мертвый могу убить еще сорок». Человек сжег этот череп, пепел взял в узелок, привез домой и отдал дочери на хранение. Дочь из любопытства развернула тряпку, и, увидев белый порошок, пальчиком попробовала его на вкус, отчего забеременела и родила сына, названного Баба-Тукласом, которого многие мусульмане признают позже третьим по святости после Пророка.

Баба-Туклас, будучи еще учеником обнаружил необыкновенную проницательность ума. Однажды хан той страны, где он жил, увидел сон: будто сидит он на мосту, а из реки вынырнули драконы, двадцать с одной стороны, двадцать с другой, имея гастрономическую цель – сожрать его. Хан тут же созвал своих придворных ученых и велел им растолковать этот сон. Ученые в своих догадках зашли в тупик и подставили хану своего ученика. Юный Баба-Туклас не стал отнекиваться и лишь потребовал, чтобы его оставили с ханом с глаза на глаз. Когда ученые мужи вышли вон, Баба-Туклас разъяснил хану, что эти 40 драконов и есть никто как 40 его придворных ученых, взявшихся тайно и по очереди спать с его любимыми женами. Хан проверил, действительно эти философы-алхимики да звездочеты под видом старух в черных одеяниях так и шастали каждую ночь в его гарем! Ученых казнили, и тем исполнилось предсказание, выписанное на найденном черепе.

Отца Идиге звали Кутлук-кия. Однажды на берегу реки он увидел голубицу, сбросившую на песок свои голубые перья и обернувшуюся девицей. Одни заверяют, что она – Кун-слу, была дочерью Солнца, другие клянутся, что она была дочерью духа Албасты. Не могу быть судьей в этом споре, но знаю точно, что же было дальше. Девица погрузилась в воду, а Кутлук-кия захватил ее голубиное одеяние. Так он принудил ее стать его женой, правда, с одним условием: никогда не смотреть ей в затылок. Естественно, что молодой муж нарушил свою клятву и увидел, когда она расчесывала свои золотые волосы, прямо под гребешком ее мозг. Тотчас же женщина вновь превратилась в птицу и лишь успела, отлетая, крикнуть: «Я тяжела твоим сыном, ищи младенца на берегу Нила-реки».

Так родился Идиге (титулов не перечисляю, их невероятное множество), а имя его свидетельствует, что он родился в безлюдной пустыне.

Опечаленный Кутлук-кий вернулся с сыном к хану Тохтамышу, у которого прежде ходил в приближенных. В чем-то он скоро провинился перед ханом, и тот его казнил, хотел отрубить голову и его малолетнему сыну, но один из учителей Идиге спрятал его среди мальчишек-пастухов.

Первым же делом Идиге переборол всех остальных мальчишек, отнял у них одежду и, устроив из нее кучу, взгромоздился на ней и произнес: «Вот я сел на трон Тохтамыша!», сверстников своих голых рассадив вокруг. В это время мимо ехали на верблюдах двое пожилых людей и возмутились, увидев, что дети не приветствуют их: «Разве мы не старше вас летами?!» «Разве вы старше, а не мы – двадцать десятилетних детей?» – отвечал им Идиге. «Разумеется, мы, – отвечали путники, – Каждому из нас по пятьдесят лет». «А нам всем вместе – двести, – заявил им Идиге. – И потому вы первые должны сойти с коней и приветствовать нас». Старички растерялись, но затем, восхитившись находчивостью малыша, предложили ему рассудить тяжбу: «Ты видишь меж наших верблюдиц верблюжонка, каждый из нас считает, что этот верблюжонок родился от его верблюдицы, и никак мы не можем помириться». Идиге, недолго думая, отвечает им: «Ваша беда ничего не стоит, бросьте верблюжонка в глубокую реку, и та верблюдица, которая бросится за ним, и есть его мамаша». Путники сразу же так разрешили свой спор.

Шли так же мимо овечьего стада в город к судье и две женщины с малышом, и они попросили пастуха-мальчишку помочь им в их деле. Одна женщина заявила, что это дитя было выкрадено у нее еще в колыбели, другая же твердила, что это ее собственный ребенок, и что девять месяцев она носила его в своем чреве и девять месяцев ее крестец сгибался под его тяжестью, а слова ее соперницы чистая напраслина. Тогда Идиге взял и поставил ребенка между двух этих женщин и, вынув свой родовой меч, заявил, что разделит этого малыша пополам, дабы у каждой было хоть по половинке, но сына. Одна тут же вскричала: «Не смей! Отдай лучше сына моего этой женщине, лишь бы он жил!». «Так ты и есть настоящая мать», – указал на испугавшуюся женщину Идиге, вторая же баба со стыдом бежала прочь.

Так возникла слава о мудром отроке, пасущем в голой степи баранов, и настал день, когда сам хан Тохтамыш призвал Идиге к своему двору. И надел на него широкое платье с завязками на груди. Черного соболя шубу подарил, чтобы носить ее поверх платья. Дал ему серого иноходца, к которому был привязан кожаный барабан. Белого кречета – птицу посадил ему на руку. И

велел: «Ты, свободный, путь твой свободен, а держава моя столь велика, что всякая свобода в ней лишается смысла. Будешь первым при дворе моем, придут споры из Крыма, решай их, Идиге, придет тяжба из городов, что на вечной реке Сырдарья, решай их, Идиге, а то, что происходит на Идиле – Золотой Орде, то тем более твоему суду подвластно». От того Тохтамыш посадил его на судейские дела, что опасался нового царедворца как воина, размышляя так: «Видано ли было, чтобы хан бежал, а бий его преследовал?».

Скоро Идиге все споры кончил, всех тохтамышевых неприятелей побил, и начал хан жить спокойно, с великим достоинством. Но как всегда, принялись тут бабы воду мутить. В один из дней жена Тохтамыша говорит мужу, указывая на Идиге:

– Этого наемщика предназначенье вашего предназначенья выше.

–Эй, глупая женщина, как ты это можешь знать?!, – встревожился хан.

Ханша же, не смутившись, отвечала:

– Когда он по утрам входит в вашу опочивальню со словами: «Пусть Бог будет вашим спасителем», вы, сами того не замечая, так пугаетесь, что вздрагиваете.

– Ложь!

– Ах, если вы мне не верите, то разрешите, я большой иглой приколю полу вашего халата к вашему же ложу, тогда все и прояснится, – не сдавалась искательница правды.

Хан на то дал согласие, и когда на следующее утро Идиге вошел во внутренние покои властелина со своим обычным приветствием: «Алланыз жардем болсын», – великий хан Тохтамыш, государь одного из самых крупных государств первой половины XIV века, так вздрогнул, что два конца переломившейся иглы, разлетевшись в разные стороны, намертво впились в стены.

Дальше интриганке совсем ничего не стоило убедить на примере блюда с простоквашей, в которую была подмешана ее моча (каковы приемчики!), нервного супруга в том, что молодой его визирь вот-вот готов вероломно расчленил его империю. И новоявленного бека Идиге решено было убить.

На этом ли зиждилась размолвка Тохтамыша с Идиге или нет, действительно ли августейшая особа гадала на своей моче – не важно, но то, что в те времена в Золотой Орде царевичи и беки резали друг друга уже без всякой надобности, всем известно. И было бы действительно скучно вспоминать такое, если бы народные акыны не разукрасили бы эти истории

своей неумной фантазией, в которой и конь говорящий и Луна – сестра человека.

Быть может, поздно, но разрешите согласиться все же с вами, немец – ты – мой – генерал, месье Гасфорд. Ваш бывший адъютант нынче без колебания отказался бы читать и Жорж Занд и г-на Гоголя ради вот таких баск о Идиге. И дело не в каком-то абстрактном патриотизме, просто это и есть мой кейф.

Но я отвлекся. Ханша предложила взволнованному мужу напоить Идиге и зарезать. Трудность была в том, что и в питье наш герой был совершенно неуголим, но нашелся способ напоить и его. Коварная особа придумала собрать на той весь цвет народа и назначить Идиге главным виночерпием, тогда обязательно каждый возжелает выпить именно с ним. Но разговор этот тайный слышал шестилетний ребенок по имени Ангусын, друг Идиге.

Настал назначенный ханом день, приехали десять тысяч лучших людей для празднеств во дворце Алтын-Сарай. И каждый из них принялся потчевать Идиге: “Пей, батыр, пей! Выпей со мной!”

И Идиге из-за уважения к этим знатым персонам пил, но выпивал из чаши лишь половину, другую половину вина выливал в козий бурдюк, подвязанный им самим под свое платье. Хан смотрел на раздувавшуюся талию своего нового врага и потирал ладошки, время от времени посылая человека узнать, готовы ли те 60 воинов-силачей, посаженных им в засаде на пьяного Идиге. Этим-то коварным батырам мальчик Ангусын незаметно подрезал левые стремяна и, вернувшись к всепьяному застолью, шепнул старшему другу:

– Готов твой конь огромнокопытный, белый в крапинку Тарланбоз, готов он бежать ночь и день следующий весь, едва ли придется биям, сидящим на почетных местах, сегодня насмеяться над тобой, Ангусын я называемый, не заставляй меня говорить долго, помни последнее сказанное между нами условие.

Вспомнил раскрасневшийся от вина Идиге свою беду, и, метнувшись, как стрела, одною ногой коснулся порога, другая уже была в стремени коня Тарланбоза, и остановился только в степи между Яиком и Волгой.

Между тем Тохтамыш, упустив его, вызвал лучшие умы своего государства и держал с ними совет. Но никто не смог помочь ему. И вместе с ним сильный народ закружился на месте одном, растерялся.

Привели, наконец, к хану сухоногого старика в высокой алтайской шапке, по имени Супе-жырау. Немощная челюсть его, давно лишенная и следа от зубов, была подвязана к голому черепу шелковой лентой. Ленту эту развязали, и высохший весь, как травинка зимой, старец просипел:

– Стар я, стар, зачем мне говорить?

Тахтамыш рассердился:

– Говори! Иначе прикажу челюсть твою прибить ржавым гвоздем!

А Супе-жырау продолжает сипеть свое:

– Тогда вели напоить меня женским молоком.

Пригнали семерых кормилец десяти младенцев и те напоили беззубого старца. Тут голос немощного мудреца прорезался по настоящему и он завопил во все горло:

– Долго живу я, я видел все. Сначала был Бастык-хан, его, я, старик, видел, после него был Кидей-хан, его я, старик, видел, после того Ала-хан, его я, старик, видел, после него Кара-хан, его я, старик, видел, после него был безухий Назар-хан, и этого я видел, храброго Чингисхана, покорителя Вселенной, натягивавшего на двенадцать ладоней стрелу, я видел, прадеда твоего Домбаула, построившего башню в сто двадцать аршин, я видел, хоть ты молод, Тохтамыш, я, старик, достигший ста восьмидесяти пяти лет, вижу. Оглянусь ли я на прошлое, будет ли польза от гнева? Испытаю ли будущее, от угроз и брани выйдет ли толк? Я видел много царей и ханов, но такого широкоплечего, вислогубого, бледнолицего джигита, как Идиге, я не видел. Он один уйдет от тебя, высокие вершины гор он пройдет, попирая стопами, в безводных пустынях откроет светлые источники, и снеговой тучей обойдет тебя, поджарый голодный хорек, сзади и спереди, рысью волка, отъевшего человеческого мяса. Он погонит вас меж двух рек, выбьет серебряные твои двери и, не жалея, покроет собой полногрудых твоих красавиц, стерев с их лица алые румяна.

– Что же мне делать? – в отчаянье вскричал хан.

– Он еще не перешел Волгу, – отвечал старец Супе-жырау. – Пошли девять своих богатырей, пусть словами уговорят его вернуться. Вернется, держи при себе, – и, сказав это, старец опрокинулся на спину и почил в одно мгновение, но на всякий случай ему челюсть прибили кованым гвоздем, чтоб не болтал там, на небесах, лишнего.

Послал вслед за Идиге хан Тохтамыш девять батыров со словами: «Обманите, уманите, привезите Идиге, возьму я его опять в приближенные, а если сможете, то в пути срубите ему голову². Батыры нашли Идиге на крутом берегу Волги. Принялись они уговаривать героя вернуться, суля ему все блага и более того, что он имел прежде. Прибегли они к доводу, для нас, испорченных цивилизацией, несколько вольному, но я думаю сильному и по-человечески естественному: «Вернись, батыр, тобою взятая девица, дочь Ал-

Умур-хана, прекрасная, как полная луна, соскучившись, изорвала на себе ткань и желает, чтобы въехал ты в нее перед вечерним холодом. Хан Тохтамыш не сердит на тебя, смирись перед ним и собственными устами проси прощения. Иди, Идиге-у! Оставь свое зло».

Однако как бы долго и упорно ни уговаривали девять посланников хана беглеца, он был непреклонен:

– К Тохтамышу я не поеду кланяться и прощения перед ним не устрою, а стрела моя цела и прошьет свод юрты его. Я, раз сев на коня, с него не сойду, и отказавшись от принятого намеренья, только сделаюсь бабой.

Далее он сказал то, что угадал старец Супе-жырау, а насчет девицы высказался вообще гениально: «Не буду я вместе с нею петь, ни разговаривать, ни смеяться, не обниму ее под воротник за голую шею и не лягу под чий с ней перешептываться – я с некоторого времени совершенно оглох!».

Стоит ли говорить о том, что такой молодец не только не поддался соблазну снова уложить себя в почти лакейское ложе, но и увлек с собой всех девятиерых батыров Тохтамыша. Он с ними отправился за войском к Темир-хану, давнему врагу хана Золотой Орды.

Труден был их путь, шли они пустыней да солончаком не один месяц, и стали тохтамышевские батыры роптать да пугаться смерти в песках. А освободиться они такой гибели теперь могли только прежде убив Идиге. Пригляделся к ним Идиге, выждал, и вот случай: переползла перед ним дорогу змея с девятью головами, велел ее гнать Идиге, змея кинулась в нору, но только одна ее голова вошла в земляную дыру, а другие мешали всей скрыться. Батыры убили плетками ее. На день следующий встретил Идиге с товарищами другую змею, теперь с одной головой и девятью хвостами. Снова приказал батырам Идиге гнать змею, но она скоро исчезла в первой же норе, и хвосты голове нисколько не помешали. И тогда Идиге только одно и сказал: «Видите?». И батыры успокоились.

– Эй, девять друзей, я – десятый! – воскликнул Идиге. – И мои плечи устали от езды, и мое горло пересохло от жажды, и брюхо подтянулось от голода, но я достану еду, я всем вам дам новые платья и заплачу за лошадей, если эти издохнут. Зарежем самых худых лошадей, напьемся, как вина, солончаковой жижи, а если все же кто-то из вас умрет, товарищи мои, мы прочтем над ним молитву, зажжем огонь и, омыв его тело, похороним. Не говорите вполовину, говорите сразу, а пока я жив, вы не умрете.

По канонам классических драм Фердоуси и Шекспира в следующем акте должно обязательно произойти ясновиденье или герой должен увидеть пророческий сон. Так оно случается и здесь.

Идиге видит сон и, проснувшись в испуге, восклицает:

– Эй, девять товарищей, суюнчи – радость, вставайте! Одевайтесь, опоясывайтесь с саблями, умойте лица и руки, я сегодня видел сон. Да будет этот сон хорошим предзнаменованием и пусть обратится все худое в нем на худого толкователя. Объясните мне этот сон, товарищи! Видел сначала, что сел я на белую лошадь с позолоченной гривой, потом, превратившись в белого кречета, я взлетел в небо и разговаривал с летающими там ангелами. Спустившись оттуда, я погнался за серым гусем и, схватив его, прилетел на Тор-гору и принялся клювом разрывать его грудь. Что бы это значило?

Девять друзей-батыров долго думали, толковали друг с другом и пришли к такой разгадке: скажут – паси лошадей, будь табунщиком, увидишь принцессу, не беги прочь, говори с ней; найдешь непобедимого врага – смерть его в его груди. Вот! разгадали сон и поехали дальше. И в один прекрасный день увидели вдаль два шатра, белый и синий. Встретили их грозно: «Кто такие? Мы знать вас не желаем, а если думаете жить, идите к нам в пастухи». Идиге, смирив свою гордыню, отпустил своих товарищей, а сам принялся пасти сорок красивых коней, посылая тайно своим друзьям мясо и кумыс. Однажды из белого шатра вышла красивая девушка и нежно с ним заговорила. Табунщику Идиге угрозой кары запретили в этом стане говорить, но он вступил с ней в беседу. И узнал, что она дочь Темир-хана и похищена от отца непобедимым великаном Кабантин-Алпом. «Если я убью этого Алпа, – спросил у девушки Идиге, – и доставлю тебя твоему народу, будешь ли ты счастлива?». «Ах! – воскликнула дочь хана. – Не я одна, но и отец мой счастлив будет». «Тогда скажи мне, когда Алп-похититель уснет». Через некоторое время девушка передала Идигею семь с половиной баурсаков, что означало, что великан заснет с этого дня на восьмой во второй половине суток. И принялся Идиге сам себе мастерить лук. Да такой, что если его товарищи, все вместе взявшись, могли натянуть тетиву этого лука, то он его выбрасывал и делал другой. Наконец и девять батыров не смогли справиться с новым луком Идиге, и он не сломал его. А стрелу Идиге выковал с наконечником равным целой бараньей лопатке.

И вот настал восьмой день, солнце склонилось с зенита, и сказал Идиге друзьям: «Молитесь Богу, сегодня будет весело». Он направился к синему шатру, где на ложе своем возлег великан Кабантин-Алп. «Открой же ему

грудь», – крикнул он дочери Темир-хана, и та исполнила его приказ. Идиге натянул стрелу с опереньем из крыльев ворона и, пустив ее, перебил хребет Алпа пополам. Нижняя часть Алпа осталась биться в конвульсиях на окровавленном ложе, верхняя же часть великан кинулась на руках навстречу Идиге и раненный Кабантин-Алп успел схватить за уздцы коня убийцы. Однако кровь хлестала из него, как водопад. Обессилел Алп и упал навзничь, завопив: «Гадатели земли моей мне говорили, гадая, что я умру от витязя, рожденного Святым, докажи же!». «Смотри! – воскликнул Идиге. – Вон гробница святого Баба Тукласа, я вызову его дух», – и сойдя с коня, встал перед степным могильным склепом на колени и вознес молитву. И чудо, над сводом могильника встал дух Баба Туклас и произнес: «Сын мой, ты поторопил меня! Я просил Бога за твое потомство, но теперь ты сам будешь счастлив и могущественен, но потомки твои попадут под власть неверных», – и исчез. Увидев такое явление, великан Кабантин-Алп промолвил устало: «Согласен, ты есть ты», – и скончался.

Сам Идиге послал к хану Темиру радостное известие-об освобождении его дочери, велел резать скот и возводить праздник. Народ поднял знамена веселья и торжества. Одна только дочь Темира ходила грустная и, прежде чем дать себя увести на постель святого супружества, сказала Идиге: «Знай же, прежде мною Алп наслаждался, и мне знать надо: беременна я от него или нет. В тот день, я помню, вот эта кобылица-жылкы играла с жеребцом, если она не тяжела, я тоже». Кобылу зарезали, вскрыли ее утробу и убедились, что и дочь хана холостая.

В скором времени пришли гонцы от хана Темира и возгласили Идиге его правой рукой, а темировская дочь родила ему через десять месяцев сына.

Наследника Идиге завернули в соболиные меха, уложили в золотую колыбельку, покрытую тканым из серебра пологом. И называли его Нуралин, а в знак того, что он есть потомок государя, стали звать его не иначе как Хан-Нуралин.

Вообще в нашем племени рождению сына придается огромное значение. Молодой мужчина, не имеющий еще детей, принимается в семье родителя едва ли еще сам не за ребенка. И я, несмотря на свои усы, все прохожу у своих родителей за дитятю и, пользуясь этим до сих пор бессовестно, беру у них иногда на содержание, так, на мелочи – съездить в Париж.

Но, наконец, и я твердо решил стать отцом, дело это не хитрое, но крайне благородное. Тем более, если раньше родитель намекал мне об этой моей

миссии крайне деликатно, скажем, давая народившемуся моему очередному племяннику имя Жан-Мухаммед, этим как бы подчеркивая, что он должен был родиться у сына его Мухаммеда-Ханафии, а не Жакупа, то теперь в письмах откровенно сердится на мое «пустое» жительство на земле. Все! Женюсь! Безоговорочно. Надо еще раз попросить услужливого султана Тезека держать от меня подальше лошадей, не дай Бог кто-то оставит рядом оседланного жеребца!

Однако оставим никчемные подробности моей жизни и вернемся к эпосу, и именно к тому месту, где самым нагляднейшим образом показывается, как много может значить для судьбы человека его сын.

Хан-Нуралин, будучи уже двенадцати лет от роду, играя однажды в бабки, выиграл у всех мальчишек битки и, когда они принялись просить его вернуть им их, он согласился при условии, если они сейчас поставят на кон тащившегося в это время мимо старого бродягу. Мальчуганы, не долго думая, схватили старика и объявили его рабом на кон. Больше всех веселился юный Хан-Нуралин. Тогда пыльный бродяга, поняв, что все мольбы оставить его в покое бесполезны, закричал в отчаянье: «Эй, Хан-Нуралин, сын беглеца, вместо того, чтобы ставить старика на кон рабом, лучше бы пошел и отомстил хану Тохтамышу, который прогнал твоего отца из его же народа!»

Хан-Нуралин в тот же миг навсегда бросил детские забавы, помчался к отцу и спросил с порога: «Отец! Не осталось ли у тебя какой-нибудь не отомщенной старой обиды?» Располневший от своего восточного счастья Идиге не смог сразу вспомнить о Тохтамыше, а вспомнив, сам встал и пошел просить у хана Темира войск: «У меня путь через сорок черных гор, путь сорокадневный в безлюдной степи».

С войском Тимура-хана Идиге пошел на Тохтамыш. Одно военное крыло его, сразу приотстав, бежало от страха назад. Второе крыло, приняв миражи озер за воду в степи, заблудилось и сгнуло. Лишь только центральная колонна довершила поход во главе с Идиге и Нуралином. Подъехали они к Черной горе, и говорит отец сыну-удальцу: «Вот сторожевая гора Тохтамыш, отсюда до его Стана всего полтора дня пути. На этой горе сидит железная старуха с вороньими лапами, поднимись на нее!». Хан-Нуралин вынул меч и пошел вперед, но мудрый Идиге тут же остановил его: «Постой, сын. Можно мечом разрубить даже гору, но нельзя с обнаженным мечом пройти ее незамеченным», Идиге набросил на свои плечи черный платок, концы платка взял в свои руки, то же сделал за ним и Хан-Нуралин. И они поднялись на вершину, размахивая углами платков. Увидела их старуха, но растерялась, не может понять, кто же это мчится:

люди или орлы? Еще внимательней взгляделась старуха с вороньими ногами в летящие силуэты и решила, что орлы. И не дала сигнала тревоги своему хану.

Так отец и сын оказались «на краю народа» им с воли тохтамышевой враждебного и на край этот смело наступили.

Затрепетал под ступнями героев народ, растерялся, ибо своим молниеносным походом Идиге оставил им возможность или умереть или покориться. Сам Тохтамыш велел встречать Идиге с сыном зажженными очагами и кипящим в котлах мясом, а себе выбрал путь беглеца. И, отъезжая из родных краев, сказал: «Эй, Идиге, не гони за мною смерть, что в ней сладкого? Ты был одним из моих витязей и бием моего престола, ездил ты всегда на лучшей мухортой с белым лбом, даренной мной. Ты всегда отличался почтительностью к старшим и младшим никогда не давал злой воли, и если сегодня исполняется предсказания Супе-жырау, то я в этом уже не виновен».

Затем Тохтамыш облачился в свой панцирь с девяносто девятью стальными бляхами, взял в руки копьё с сосновым древком и сел на своего гнедого, к гриве которого была привязана колотушка, предмет крайне необходимый для умирения горячих жеребцов. И отъезжая, зарыдал, прощаясь со своим царством, награждая его целым рядом превосходных эпитетов: «О народ мой, богатый молоком, породнившийся с моим отцом и матерью, о народ мой, ездивший на белых конях... (здесь в записях эпоса особенно много неясностей и текст нуждается в основательной в основательной корректировке, но предположим, что вся эта невнятица произошла от горьких рыданий самого хана, потерявшего от горя способность к ясной речи, и не будем винить пересказчиков, им от меня за их труд и страсть и верность к преданьям старины только земной поклон).

На прощанье хан Тохтамыш верным людям своим сказал, что едет в Тилькуль и там намерен жить, но вернуться грозился через тринадцать лет. Добрался он до далекого Тилькуля, запыхался, снял с себя панцирь, выпил у одной старухи кумыса, но вдруг на него вновь напал страх, и он побежал дальше без доспехов и цели.

Между тем Идиге, устроившись на тохтамышевском престоле, одну дочь хана Тохтамыша взял себе, другую отдал в жены сыну своему Хан-Нуралину. Однако юный батыр был гораздо неугомонней своего отца и, даже не прикоснувшись к своей невесте, умчался догонять Тохтамыша. Сначала он заезжает к той старухе, у которой свергнутый хан пил кумыс, перемешанный со страхом, споткнулся там об панцирь, брошенный беглецом, но и это его не остановило.

В этот день доехал Тохтамыш до озера Киюкюль и устал бояться, на озере вода всколыхнулась и закричала птица-чибис. Хан произнес страстно: «Стой, конь мой, еще наскочишься, сердце мое удрученное, не колотись, сожмись, когда мы сшибемся один на один с Идиге, я успокоюсь, не падай копьё, не колышешься в моей руке, как ветка на ветру, в битве кровавой ты переломишься.

Напрасно ты весело шелестишь, зеленая трава, если я после битвы останусь жив, я приду сюда со всеми своими табунами и стадами, зря не волнуйся, глупое озеро, если я напою из тебя мои табуны, ты станешь просто грязным болотом. Не кричи, чибис-птица, если я приду сюда со своим народом, то велю сокольничим пустить на тебя черного ястреба и ты поймешь, как бежать от родных берегов».

Чибис взлетел высоко и принялся кружиться над головой Тохтамыша, и, увидев издалека кружащуюся в небе птицу-чибис, Хан-Нуралин направил скоро туда своего коня. И, наконец, столкнулся с Тохтамышем.

Хан и батыр приветствовали друг друга кратко: «Салем!».

– Стреляй ты прежде! – предложил Нуралин.

– Нет, ты первым стреляй, – отвечал хан.

И все же Тохтамыш начал битву, три стрелы его не смогли пробить на Нуралине тот панцирь, что он нашел на дороге. И тогда хан сказал в отчаянье: «Я погибаю от своего же оружия!». И неугомонный Хан-Нуралин подъехал к нему и снес саблей с него голову, привязал башку тохтамышеву к седлу своему и рысью поехал назад.

Возвращаясь к отцу, Хан-Нуралин встретил черного всадника и разозлился на него за то, что тот не уступил ему дорогу. Юный богатырь недолго думая взмахнул своей секирой и ударил ею дерзкого незнакомца, но лезвие секиры только прошло через тело черного всадника, нисколько ему не повредило, не пролив на землю ни капли крови. Тогда Хан-Нуралин в изумлении встал перед этой необыкновенной персоной. Черный всадник же проговорил: «Ты смел и дерзок, Нуралин, исполнил ты свое желанье, ты с панцирем тохтамышевым убил самого хана. Доволен своей работой. Знамя Тохтамыша было счастливо, народ при нем процветал и знал одно лишь изобилие, так за что голова его приторочена сейчас к твоему седлу?». Отвечал ему Нуралин: «Что мне нужды до изобилия при нем в народе и до его счастливого знамени. Я сел на коня и срубил ему голову, как хотел того я сам». Тогда черный всадник в черной чалме вздохнул и сказал: «Эй, Нуралин, не сбудутся твои желания, посмотри на эти четыре звезды, сияющие в ночном небе, они показывают, что придет время, и снова народом будет управлять новый султан, но не ты. Сзади тебя вошли еще шесть звезд, и это значит, что сын Тохтамыша султан Кадыберды, сядет на гнедую лошадь и сделает и тебя сиротой». «Не будет этого,- отвечал Нуралин.- Я отца своего защита!». «Да ты научись, Нуралин, заканчивать дело миром, но звезды уже вошли», – заключил черный всадник и отъехал еще более темную в ночь.

Смелый Нуралин не решился его преследовать. Между тем старый евнух тохтамышева гарема уговорил дочь хана, предназначенную Нуралину, подложить под платье на брюхо подушку и сделаться такой же, как ее сестра, отяжеленная уже самим Идиге.

Вернувшийся наконец через шесть месяцев с похода, Нуралин увидел, что и его жена беременна, и, отбросив голову Тохтамыша в сторону, кинулся на отца своего с саблей. Творивший в это время намаз Идиге молитвой лишил

сына чувств. Очнувшись, Хан-Нуралин снова бросился с угрозами и обидами на отца, и снова Идиге лишил его сознания, придя в себя в третий раз, пламенный Нуралин сел на коня и навсегда покинул свой родной народ и огорченного родителя. Отъезжая, он воскликнул: «Я соколом согнал с дерева ворона и сам сел на ветвь, я переплыл Волгу, широкую, как небо, и разбил плот змеи. Если я пролил в воду кровь, то откажусь от нее и пить буду только вино, если я заморил черного аргамака, то оседлаю крылатого тулпараконя, если я выжег прошлогоднюю траву, то коней буду пасти на пахотных нивах, если я поднял руку на своего отца, то поеду в Мекку, обойду три раза храм Создателя и, надеюсь, буду прощен».

Разрыв с сыном подкосил и самого Идиге, он стал томиться душой, и мысли его были печальны: «Что хорошего быть ханом, когда поколениям будущим мы не оставили достойных примеров?!».

Идиге совсем забыл себя, отпустил от руки своей народ и лег в тоске в отдаленном кочевье.

Подлый евнух тохтамышева гарема тут же дал сигнал сыну Тохтамышу Кадырберды, и тот, не таясь, проник к Идиге. Вошел он в юрту Великого воина и Мудрого правителя и сел на грудь лежавшего Идиге. Был еще в силах сбросить с себя пришельца злого Идиге, но холодный ум уже остудил и сердце. В досаде только Идиге взял одной рукой другую руку свою и переломил ее с хрустом, на принца же Кадырберды и не взглянул. Кадырберды же посидел, встал и ушел, отдав приказ зарезать евнуха гарема.

От позора такого глаза Идиге закатились, и он взмолил Аллаха о кончине своей, и Создатель смилостивился над ним и послал к нему ангела смерти.

В самом центре киргиз-казакской степи вы еще можете видеть место, где нашел свое последнее прибежище легендарный Идиге. Могила его нынче – простая груда щебня, вероятно, она прежде имела величественную форму, но разрушилась. Достоинство ее поддерживается лишь неприступностью горы, на которой она стоит. *Sic transit gloria mundi*.

В голову пришла замечательная мысль: а вдруг, Бог даст, я вылезу на землю в какой-нибудь знакомой могиле, скажем своего деда или отца? Воскликнул бы я тогда: «Спасен!» или нет?

Народ наш имеет богатую и не лишенную поэтических достоинств разрастающуюся литературу, более близкую к индогерманскому эпосу, чем к восточным произведениям этого рода. Всегда при желании вы услышите в степи нескончаемые сказки, где героями будут трое братьев, и младший, наивный простак, обязательно будет победителем. И в то же время есть у нас

и свои особенности, редко встречаемые у других народов. К примеру, почитание и поклонение перед духами почивших в бозе предков.

Человек, умирая, становится сам каким-то божеством, это, признаю, крайний спиритуализм. Но идея недурна и замечательна, особенно потому, что не имеет мифологических заблуждений и дает полный простор общественным законам.

«Поклонение есть высочайшее удивление», – говорит Картейль. Природа и человек, жизнь и смерть были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неисследованной тайной. Природа и человек! Скажите, что может быть таинственнее и чудеснее природы и человека? Необходимая потребность познать мир с его чудесами, вопрос о жизни и смерти, об отношениях человека к природе породили поклонение перед Вселенной, в которой составляют единое и сама природа, и сам человек, и души умерших людей. Человек приписывал небу, солнцу, луне власть над собой, влияние чего нельзя отрицать, но влияние это действовало на него только в этом мире от рождения до смерти. Он мог родиться под особенным сочетанием звезд – чудным образом и умереть от гнева природы. Но после смерти эта власть над ним прекращается, он сам становится духом – аруахом. Люди при жизни великие, сильные становились и всемогущими аруахами, мелкие натуры и по смерти ничтожными тенями. Чингисхан после смерти был почитаем, как бог. У киргиз-казаков почитание аруахов до сих пор в силе. Они в трудные минуты жизни призывают имена своих предков, как мусульмане своих святых. Впрочем, после того, как Ходжа Ясави принес и внедрил в степь свою суфийскую теорию мусульманства, все спутал ось. Духам стали приписывать святость. А так как по учению Ясави, которое, по сути, есть слияние тенгрианства и мусульманства, вселенная есть не что как часть Бога, то на презрительное обвинение сторонников ортодоксального ислама: «Что вы, киргиз-казаки, не молитесь в мечетях», наш кочевник говорит: «А зачем мне ваш каменный ящик, если все кругом ухо Аллаха».

Киргиз-казаки испытывают не страх перед покойниками, но уважение, считая что через них они могут поговорить с самим Всевышним. В честь аруахов приносят в жертвы разных животных, а иногда нарочно ездят на поклонение к их могилам и, принося жертву, просят их о чем-нибудь, например, бездетные – сына. Во время жертвоприношения киргиз-казаки говорят: «Пусть достигнет». В древности могилы знатных и великих людей были скрыты или заповедны, вероятно, чтобы их не могли осквернить враги. У нынешних киргиз-казаков воздвигнуть знатный курган или памятник

считается неременной обязанностью детей, и могилы эти им заменяют святыни.

Это и объяснит, наверное, вам то, что нет ничего удивительного, скажем, в легенде, где живой дружит с мертвым. Вот ее мифология, которая, смею думать, может представлять собой и некий род литературного произведения. В старину было у одного бая три сына. Потерялся однажды у этого богача самый лучший косяк лошадей. Впал в большую печаль сей достойный человек, и тогда старший сын и говорит: «Отец, разреши мне поискать этот табун». «Ступай, сын мой, ищи», – отвечает отец. Сын садится на коня, берет с собой еду и оружие. А знать надо, что отец этих трех юношей был чародей и давно хотел испытать своих детей. Вот он обогнал тайно отправившего в путь сына и в степи превратился в шесть тигров. Увидел сын этих тигров и принялся осыпать их стрелами, но тигры не отступили и бросились на него. Тогда юноша испугался сам и бежал назад.

После него в поиск отправился и средний сын. Этот не пытался убить появившихся тигров, а хотел обманом и хитростью проехать мимо них. Не получилось, пришлось и ему возвращаться.

Вот отправляется в дорогу третий сын, младший. И на его пути встают шесть тигров. Не стал биться с ними он и не пытался обмануть, а сказал им просто: «Я путник, зла вам не желаю, так пропустите же меня, если вы здесь хозяева». Тигры пропустили его, опять превратились в отца. И сказал отец младшему сыну, дав ему свое благословение: «Дай Бог тебе благополучный путь, перед собой да обретишь искомое, – да еще говорит, – не забудь, сын, когда придется тебе быть в местах необитаемых, не проезжай мимо могильных склепов, если встретятся ночью, ночуй при них». Поблагодарил сын отца за советы и благословение и поехал дальше. Едет он несколько дней и замечает, что кочевки и аулы стали встречаться ему реже и реже и наконец пошли места, где и вовсе не было людей. И однажды к ночи подъехал он к старому кладбищу и видит на западной стороне их свежая черная могила. Тогда обратился он к ней:

– Салам!

Никто ему не ответил. Он еще пятнадцать раз повторил свое приветствие. И услышал голос:

– Кого спрашиваешь?

– Того, кто подал голос.

После этого выходит из могильной земли молодой человек с прекрасно выведенными бровями и произносит тихим голосом:

– Кто спрашивает?

– Божий странник, думающий о ночлеге, – отвечает юноша.
– Сходи с лошади, – говорит хозяин могилы и берет коня за узду, и оказывает гостю всяческие почести.

– Куда же идти? – спрашивает юноша.

А мертвый велит живому:

– Закрой глаза, а когда скажу, откроешь.

Взял мертвый живого за руку и повел за собой. Затем говорит:

– Открой глаза.

Тот открыл глаза и увидел перед собой прекрасный дворец, но пахнувший не сырым камнем, а благоухающим запахом свежескошенной травы. Зашли они во дворец, сели, и к ним подходит черный слуга. Мертвый приказывает слуге принести для гостя барана, что тот и исполняет. Черный слуга показал гостю черного барашка и тут же зарезал после одобрения. После ужина легли спать. А утром мертвый за едою и говорит живому:

– Давай будем друзьями.

Они обнялись и сделались друзьями.

– Жаль мне расставаться с тобой, друг, – говорит юноша мертвому. – Но надо мне ехать, искать косяк лошадей.

– Что ж, поезжай, но прежде давай раскроем друг перед другом свои тайны, – говорит мертвый. – Послушай же мою историю. Я был единственным сыном сильного хана. Раз мой отец повел свой народ на войну, и я отправился с ним на боевом коне. Столкнулись мы с врагом в битве, но перед битвой из строя выехал всадник с черной острой бородкой, в черной шапке с загнутыми полями на черном с лысиной коне и с красной пикой в руке и вызывает на единоборство! Я тоже вышел. Он направил свое копьё па меня, я свое на него, разогнали коней и столкнулись, но у него копьё оказалось длиннее, а мое короче. И я был убит. Но за то, что я погиб на войне, Бог сделал меня своим сайдом. Поезжай же к аулу моего отца, твои лошади у него в табунах пасутся. Увидишь их, возмешь. Но если хочешь быть моим другом, то выполни мою просьбу: есть среди них два айчубарых коня. Поймай же их и распори им брюхо.

– Ладно, – соглашается живой, – я бы распорол, да нет у меня ножа.

А у мертвого джигита был маленький хороший ножик.

– Возьми его, – говорит он. – Но не показывай его никому, увидит его моя сестра и будет тебе жутко.

Живой молодец сел на свою лошадь и отправился в аул хана и стал на ночлег у отца своего мертвого друга. Настало утро. А утром пригнали лошадей с

пастбища. Вышел навстречу косякам юноша и, не принимая пастухов за людей, выбрал из косяков двух айчубарых коней и вспорол им желудки. Увидели пастухи это зло, закричали:

– Хан, хан! Один человек убивает твоих коней!

Бросились тут люди хана на юношу, скоро связали его и повели к хану. Стали его избивать – и этот бьет и другой бьет. Били вначале одетым, а потом решили оголеть, чтобы раны были глубже. Стали срывать с него одежду, сапоги, а из сапога одного тут и выпал на землю ножик. Сестра его мертвого друга увидела тот ножик и тотчас узнала.

– Этот ножик брата! – вскричала она.

Прежде били – не били, настоящее битие началось теперь. Стали кричать кругом, что он осквернил могилу сына хана. Решили его убить.

– Нет, – закричал им юноша. – Я не осквернял могилы, а это вы забыли о нем и о жертвоприношении его имени.

Никто не поверил ему. Его мертвый друг говорил ему: «Если случится так, что надо будет сказать правду, скажи ее». И юноша, обратившись к людям, рассказал о своей встрече с их мертвым родичем. «Правду скажу – умру, не скажу – умру! Мне стало все равно, что вы, люди, предпочтете?». «Правду!», – отвечали ему.

Но не поверили этой правде ни хан, ни его дочь. Не оставалось ему другого, как повести их к могиле и вызвать снова мертвого сына хана. Сами сели на хороших лошадей, а юношу связанного посадили на осла. Да окружили его толпой плотной, все еще не доверяют. Доехали до кладбища. Тогда юноша и говорит: «Народ, отойдите от меня, я вызову друга». Долго не решались оставить его одного, но делать нечего, отпустили. Стал юноша звать мертвого друга, долго звал, наконец, вышел мертвый и говорит салем отцу, матери, сестре, людям. Была там и его прежняя невеста, которая осталась так в девичестве у своих родителей. Она первая подошла к нему. Но мертвый оттолкнул ее мизинцем. Тогда к нему приблизилась его сестра и, бедняжка, не выдержав, разрыдалась. Одна слезинка покатилась и упала на правое плечо мертвеца. Как только слеза упала на него, он тут же исчез неизвестно куда. От этого все пришли в еще большее отчаяние, что забыли о юноше, которого хотели только что убить. А вспомнив, принесли ему свои извинения, принялись просить быть у них гостем. Хан сказал ему: «Ты друг моего единственного сына, ты теперь для меня одно и то же, что он, возьми половину моего скота и половину моих слуг». «Ничего мне не нужно от вас, – отвечал юноша, – Верни мне только моих лошадей». Дважды повторил свое щедрое

предложение хан, но дважды отказывался юноша и, поклонившись, отъехал со своими девятью лошадьми. Пришлось ему еще раз проезжать мимо того памятного кладбища, и на этот раз он остановился у могилы, хотя свой подвиг уже выполнил и был давно ожидаем в своем родном ауле. Трижды юноша позвал мертвого:

– Досым!

Не отозвался тот. Четвертый раз позвал юноша друга, и лишь тогда вышел тот бледный, изнеможенный.

– Я давно слышал твой голос, да нельзя мне было выйти, – говорит мертвец. – Слеза моей сестры, упавшая мне на плечо, превратилась в море и потопила меня. Когда ты звал меня в первый раз, я был на самом дне, второй раз – я смог только подняться, третий раз всплыл на волны, а на четвертый раз смог выплыть к берегу. Ох, измучился я в эти дни.

Мертвый снова повел живого друга в свое жилище, и провели они там в роскоши и веселье еще несколько дней. Но потом сильно заскучал мертвый друг, видя, что лошади его живого друга поправились на сочных пастбищах, а сам он собирается домой. Стали прощаться, и мертвый говорит живому:

– Приедешь ты домой, там тебя все ждут, но род твой собирается идти на войну. Пожелаешь и ты поехать, но станут все тебя уговаривать остаться дома, видя твой усталый вид. Ты согласишься, но на другой же день отправляйся вслед за ними в наезд. Когда достигнете вы вражеских аулов, все ударят в коней, ты один скачи по западной стороне, и на тебя бросится только один противник – всадник на черной с лысиной лошади с черной острой бородкой и с черной шапкой с загнутыми полями да с длинным красным копьём в руке. Ты ссадишь его при помощи Бога. Это тот самый, что убил меня. Ты зарежь его, говоря: «Дойди до моего друга», заколи и коня его с теми же словами. А когда ты увидишь, что ваши воины побили всех и делят добычу, снова вскочи на коня и снова поезжай прямо на запад. Там на окраине аулов ты увидишь белую юрту для молодоженов, возле нее и привяжи свою лошадь. Зайдешь с молитвой в юрту и увидишь в ней молодую, только что взятую в замужество женщину, и двух девиц, с ними ястреба и черную борзую собаку в ошейнике. Убей же их всех со словами: «Дойдите до моего друга». Приехал юноша домой, и все случилось как и предсказывал его мертвый друг. Отец, мать, родные принялись просить его остаться дома, не ехать на войну, но юноша, лишь переночевав одну ночь, отправился следом, помня последние слова своего мертвого друга. Опять же все исполнил, как ему велел его мертвый друг. Юноша пролил много крови без сомнения в душе. Вот только замахнувшись

над второй девицей, задержал руку свою: в глазах ее светились два солнца, а в улыбке – месяц. Стало жаль ему ее. Поцеловал он ее, хотел было отпустить, потому как полюбил ее, да слово дал ведь другу все исполнить. И, огорчившись сильно, отправил на тот свет и вторую девицу. Затем вышел из юрты и увидел, как его спутники делят казну, сам же он по совету мертвого друга не прикоснулся ни к чему чужому, только срубил веточку с тополя, что рос у юрты, да собрал немного верблюжьего помета, что был там же. Тут появился черный верблюд, юноша и веточку и узелок с пометом прикрепил на верблюде и повел его за собой в аул к отцу и матери своим. По пути в степь сделалась сильная буря, и все верблюды с нагруженными на них выюками с добром не могли подняться, и засыпало их песком. Один только верблюд юноши без тяжелого груза шел легко и смог спасти своего хозяина и спастись сам. Трудный был путь назад, но когда осталось до родных мест всего полдня дороги, юноша взял тополиный прутик, произнес: «Бисмилля-рахман-рахим» и ударил им по узелку с навозом. Узелок тот развязался, и стали выходить из него бесчисленные гурты овец, косяки лошадей и караваны верблюдов. Сам же прутик в тот же миг превратился в большое дерево, корни которого были из серебра, ствол и ветви из золота, а листья из изумруда и бирюзы. Так раскрылась тайна черного всадника с черной бородкой: он тоже был чародей. А в тополе и навозе, что разбросан был у его юрты, прятал от людей свое богатство. Ездившие в поход с юношей всадники вернулись ни с чем, как говорят, с пальцами в своих ноздрях. А сам юноша стал очень богат, да вот счастья не почувствовал. Подумал он, подумал и снова отправился к могиле друга. Позвал его и вошел в подземный дворец. Видит, возле его друга сидят та самая невестка и две девицы, убитые им, а прислуживает сидящим человек с черной бородкой и в черной шляпе с загнутыми краями. Подошел юноша к праздничному столу и говорит мертвецу:

– Салем! Много я греха взял на душу, но вижу, что хорошо с тобой и невестке и старшей девице. А вот второй девице плохо.

– Почему ты так решил? – спрашивает его мертвый друг.

– Потому, что на щеке у нее от моего поцелуя осталось черное пятно, не оно ли говорит о ее муках, – отвечает воин.

Тогда мертвый рассмеялся и говорит:

– Хорошо, возьми ее себе обратно в живой мир. Идите же с миром и живите счастливо. Но помни, скоро будет беда. А чтобы не случилась она, помни: через три года будут проезжать мимо твоего аула торговцы с товарами на двух телегах, у них будут две лошади, одна гнедая, другая рыжая. Лошади эти будут

измучены и невзрачны на вид, но ты их купи, сколько бы не просили владельцы. На этих лошадях не клади аркана, ни узды, ни седла, ни раздвоенных лядвей, ни хомута. Если когда-нибудь почувствуешь головную боль и эта боль не пройдет у тебя не смотря ни на какие примочки и настойки трав, то выведи из косяка гнедую лошадь, с молитвой принеси ее в жертву и посмотри на ее мозжечок. Будет он белый – живи спокойно, но если в нем увидишь хотя бы капельку черноты, то скорее садись на рыжую лошадь и во весь опор скачи ко мне. Будешь мчаться ко мне, за тобой поедут и всячески будут требовать остановиться. Но ты упрямо беги вперед, не оглядываясь и не смущаясь духом.

Надо ли говорить, что и это предсказание говорливого покойника сбылось. Прошло несколько лет. Юноша заболел и мозжечок гнедой лошади оказался черным. Джигит тайну свою ни перед кем не раскрывал, ни слова не сказал ни отцу, ни матери, ни жене молодой. Только просит: «Оседлайте мне Рыжку, – видя, что болезнь уже сбивает его с ног. – Поеду по степи, чуть развеюсь». Помогли ему сесть на коня, а он и по аулу не может проехать: все падает с седла. Вдруг слышит страшный топот сзади, тогда он, не оборачиваясь, крикнул всем: «Прощайте, будьте здоровы!» и поскакал в степь к мертвому другу. А сзади кто-то нагоняет его и велит остановиться. Еще сильнее погоняет джигит своего коня, а голова болит все сильнее, кружится и горит. Наверное, он так и проскочил бы мимо кладбища, да его мертвый друг почувствовал, что случилась беда, вышел на землю и смог арканом остановить возле себя мчавшуюся обезумевшую лошадь с всадником. Только он прижал больного друга к себе, как подъехал тот, кто гнался за ним. Это был ангел смерти Азраил. Увидел он, что добыча его исчезла под землей, и вошел вслед за друзьями в могилу и там строго потребовал отдать ему душу больного джигита: «Давай беглеца моего!» «Не отдам, – отвечает мертвый друг. – Я божий сайд и Бог обязался до трех раз исполнить просьбу мою. Первый раз просил я дать мне друга, он дал. Второй раз просил я невесту его вернуть на землю – он вернул. А вот третий раз прошу я его не брать к себе душу моего друга. Уйди». Но ангел смерти Азраил стал настаивать на своем, ссылаясь на то, что слишком много времени отдал погоне за этой душой и времени своего ему жаль. И лишь после того как мертвый обратился прямо к Всевышнему, Аллах сказал с небес: «Отпусти!». Ничего не оставалось делать Азраилу, как удалиться. Вмиг вся хворь слетела с джигита, и мертвый друг его проводил на землю. «Прощай, – сказал он. – Теперь, лишившись божьей защиты, и для тебя, друг, я стал мертвый», – сказал и исчез. Вернулся джигит к себе в аул и зажил дальше счастливо и без забот.

В последнее время, благодаря неусыпной полезной деятельности Географического общества, сведения наши об Азии распространились быстро и широко. Но, вместе с тем, по естественному ходу вещей в «Записки общества» вкралось несколько сомнительных повествований о том, чего нет и чего, может быть, машаллах! господ, и никогда не будет. И не обязательно относится к европейским исследователям. Послушайте рассказы наших киргиз-казаков, побывавших в Санкт-Петербурге и Москве. Вы услышите от них такие чудеса, о существовании которых вы, живя десять тысяч лет в Петербурге, и не ведали б. Часто бывает, что путешественник человек простой, доверчивый и соглашается при сильных впечатлениях увидеть то, что невозможно увидеть. Бывает, что просто близорук: черепицу на китайских дома он принимает за тес, а стены, битые из глины с нарезками, за бревенчатые, а затем пишет в своей научной статье форменную чепуху. Эти грехи неумышленны. Но бывают грехи другого рода, особенно когда вы доверяетесь авторитетному лицу. Скажем, если мусульманин попал в страну кафиров, то он уж обязательно заподозрит тех людей, с кем ему придется сталкиваться в желании сделать что-нибудь во вред исламу и, вообще, что нужно этим неверным от него и не задумали ли они воспользоваться его словами ли, поступками ли, что бы из нас, мусульман, сделать нечто менее собаки? Согласно этому *arriere penssee* он по приезду на родину говорит вам факт, диаметрально противоположный истине, и рассказывает, что против китайца христиане ужасно грубы, так же как сами китайцы против нас правоверных. А поэтому желательно было бы, чтобы господа собиратели обращали больше внимания на источники и старались соблюсти точности, а потом бы уже печатали то, что вероятно, а не цеплялись за свои двусмысленные убеждения о других странах и народах.

Когда любой кочевник начинает свой рассказ, вы видите ясно по его ухмыляющемуся и довольному лицу, что он ждет похвалы и жаждет извлечь из вас крики удивления вроде: барак алау! афромай! дари-гай! и прочие. Что может занять киргиз-казака и вообще азиатца, воспитанного на фантастических сказках о Сулеймане, владельце волшебного кольца, о Сейфуль Малике, царевиче багдадском, который был на острове добрых духов Пери, видел амазонок, у которых мужья имеют собачьи головы, и в которого, наконец, была влюблена царица обезьян? Всякого бывалого человека они засыпают вопросами, вроде следующего:

– Хаджа, вы были в Мекке, проходили по многим землям. Ну что, как вас приняла царица обезьян и видели ли вы фараона, который обратился в рыбу и всякому путешественнику, высунув голову из вод Черного моря, кричит о титуле своем: «Фергаун!».

Да пусть никто не сомневается в том, что вы порядком отдули Язида, убийцу внуков Пророка в пустыне Кербальской (да будет над ним проклятье). Или интересуются, сосем, как дети:

– Правда ли, что за убийство Хасана и Хусейна он обратился в рыжую собаку с черными пятнами над глазами?

Нечего говорить, что ответить на все это отрицанием значит подвергнуть сомнению свой авторитет. А потому я, принимая во внимание мудрую поговорку: «Приноравливайся к народу и под его дудку, как иноходец, беги», продолжу эти записки. И пусть звучат восклицания «Бара-келде, бале!» отовсюду, а чувствительные дамы рассочувствуются до того, что начнут рыдать, узнав, что собаки-кафиры хотели похитить священный прах Пророка и вместо него положить дохлого пса для посрамления всех правоверных.

Отчего мне, к примеру, не мудрствуя лукаво, не настроить рыцарский роман, полный настоящих небылиц а la «Айвенго»? И если sir Scott использовал шотландские саги, то отчего бы вашему покорному слуге, бедному армейскому чину, потерявшемуся в Азиях и тайно алкающему славы, но при этом не оставляющему еще надежды, стать эмиром, скажем, Малой Бухарии или самой Индии, не воспользоваться героической сагой дикокаменных киргиз о некоем батыре Манасе? Тем более что о ней слыхом не слышали не только какие-нибудь Вальтеры Скотты и Байроны, но и здесь рядышком в Ташкенте. А между тем эта сага целая энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий.

«Манас» – произведение, в котором слились эпосы и легенды многих народов, созревающих в продолжение даже не многих веков, а тысячелетий. В нем можно встретить целые сюжеты из древнетюрских легенд и из «Шах-наме» Фирдоуси, а так же какие-то чуть ли не буддийские мотивы. Это прослеживается уже и по тому, что сказители «Манаса» еще не до конца справились с выравниванием своего труда: в начале эпоса «Манас» мусульманин, вдруг он становится как язычник, взывающий к богу неба Тенгри или зороастрийским богам, то потом вообще – лишь Аллах ведает кто. То он ногаец, то каракиргиз, то алтаец. Впрочем, герои киргиз-казацких эпосов Алпамыс и Кобланды, получив имя Манас, чувствуют себя вполне

гармонично. Понятно, что такой сборник требует для прочтения время. Трех ночей недостаточно, чтобы прослушать «Манаса», столько же нужно для «Манаса» второго – о сыне его Семетее. И вполне заслуженно «Манас» пользуется славой степной Илиады.

Манас, сын Якуб-бая, бия одного поколения, кочевавшего по Таласу и Чу, рос не по годам, а по дням, и шестнадцати лет сделался батыром. У него было, что особенно меня умиляет, чрезвычайно чувствительное сердце: он очень любил хорошеньких женщин. Чувствительность его превосходила все границы. Все земные трудности в получении руки ханской дочери, у которой «...лицо было, как снег, а ланит румянец ал, как кровь, упавшая на снег» не остановили его. Как только он узнал, что у калмыцкого хана есть такая дочь-красавица с волосами, ниспадающими до пяток, он в тот же час отправляет своего старика сватать ее. Хан, естественно, оскорбился и дал следующий ответ: «Руби, руби лес, по себе с равными сватайся, вези, вези хворост, по своему очагу сучья; моей дочери приличен ханский сын, твоему сыну хватит и бийской дочери».

Разумеется, юный Манас тут же начинает войну и с оружием в руках добывает себе длинноволосую. Но на этом не останавливается, и войны его следуют теперь одна за другой и яблоком раздора обычно служат опять девицы, «имеющие пятнадцать лет возрасту, с запахом, подобным мускусу, и с зубами, подобными жемчугу».

В конце поэмы у Манаса, прославившегося на весь белый свет задиристым поведением, собираются в гареме сто царевен разных наций, которые от близкого нахождения начинают свою войну теперь уже за Манаса, что вполне соответствует браннолюбивому духу того времени. Сюжеты этой саги бесконечны, но удивителен и прекрасный язык. Что стоит, например, отрывок из нее: «Поминки Кукотай-хана»! Только вчитайтесь:

То была лука золотого седла.
то был хан мудрый как месяц,
что освещает звезды.
То была узда из литого серебра.
то был отец густого как ночь,
ногайского эля,
И он, светлейший Кукотай-хан,
собрался оставить замиренную им же землю.
И на смертном ложе,
что лодкою краями высока,

воскликнул он:

«Те, кто у ног моих, садитесь на коней
и пройдите весь с конца в конец улус ногайский.

Скажите биям с животами,

отвисшими, как щиты

из кожи яков в семь слоев,

скажите витязям рыжебородым,

густоусым, скажите молодцам

с загривками на затылках

дерзким, скажите мурзам, пьющим мед из чаш,

что весом батман,

скажите мурзам, шатающимся,

но стоящим на ногах,

скажите всем и всем!

Скажите, что Кукотаю стало тяжело,

скажите, что встал невольно он на край.

Так соберите всех!

Желаю я исполнить долг свой первый:

назначить по себе поминки.

И долг второй:

завет сказать свой вольный вам,

бесчисленный народ ногайский мой!

Тоска сковала мое сердце, нет сил,

коль свыше глас позвал меня уйти,

остаться с вами добрый мой народ.

Я прожил сто и девяносто девять лет

и искрошилась моя челюсть,

и череп оголился до белизны костей,

и ребра слежались как хворост в связке —

душе моей противны стали мощи эти!

Так на коней садитесь и всех зовите.

И было сказано и было свершено.

И с гулом упали на ставку хана Белую Орду

ногайцев толпы, собою затмевая свет.

Внимайте, то рушится утес в ущелье,

то голос хана Кукотая зазвучал,

то сосны заскрипели в ущелье между гор,

то молвил хан ногайский перед смертью:
«Народ мой! Когда меня не станет,
острой саблей оскребите мои кости,
костям младенца уподобив этим их,
каким когда-то уходящий я вошел:
затем омойте, но не водой,
а терпким кумысом от быстрых кобылиц,
как ветер Улана, что продувает бездны.
Путь предстоящий долог.
Укройте кости плотно белым полотном,
на красных одnogорбых наров
набросив красное сукно,
на черных одnogорбых наров
набросив черное сукно,
идите с караваном из сорока верблюдов,
оруших дико, так что б знали.
Идите с саваном моим к моей могилы сруб,
что рублен из мореных стволов дубовых.
Пусть сарт с лицом подобным бронзе,
над срубом тем, что ляжет
перекрестком дорог больших и малых,
дворец воздвигнет белый, словно месяц,
но с куполом лазурным, луне подобным.
Для стен вы глину замесите
на жире лишь окотившихся на утро коз,
тогда не упадут они от гнили.
Одев дворец тот завитками,
над ним навесьте медные карнизы,
желоба, по ним пройдут, меня минуя,
ливни и град, и пыль.
Тем бабам, что будут в плаче траурном
рвать рот, допущенным ко мне скорбящею толпой,
раздайте красное и черное сукно.
Верблюдов на заклание отправьте
и поминальный обед готовьте
и к трапезе обильной несите напитки,
на блюдах будет пусть лишь

сладким, как молоко кобылиц.
Затем вы выставьте на приз
с рабом нестарым меж двух горбов
и в пятницу пустите лучших скакунов,
накинув им потники, на бег,
что завершит ту тризну.
Ты волю исполни же последнюю мою, народ!
Как прежде оставайся расторопен, удачлив, вечен.
Нет больше слов мне вам,
нет вам и теперь заветов.
Будь счастлив, мой народ!
А ты же, Баймурза, сын необхватного отца,
склонись ко мне и ухо приложи к устам моим.
Услышь же, что я и мышеловки
заставил птиц ловить,
из них затем я стаи составлял.
По всей степи собрал я тех,
кто в страхе жил разбито, одиноко,
и тех, что в спеси знать меня не захотел,
их всех я обратил в народ единый,
как лунь в ночи над ними встав.
Теперь же я велю от имени народа:
Когда меня не станет, ты, Баймурза,
владеющий обильными и сытными стадами,
возьмешь поводья в свои руки,
не распусти же люд,
не дай шататься праздно им,
паси и семижильный кнут не оставляй.
Свободу каждому от каждого не дай
и этим пресечешь свободу в каждом.
Когда меня не станет,
дай мужчинам всем по лошади,
на всадников ты обопрешься,
и оборванцам ты накинь халат на плечи,
теплом от них согреешься потом.
Народ тогда в покое станет юртами,
когда одной рекой течет кумыс,

другой – айран молочный.
Когда меня не станет,
найденыша дитятю Бок-Муруна себе возьми,
пусть в имени его исчезнет оскорбление,
ты сопляком, щенком, ублюдком его не называй,
не попрекай безродством.
Ему, сиротке, дай коня и платье гожее,
корми же сытно, без попреков.
Пройдет лишь год, не больше двух,
он встанет и будет человеком!
И равен будет всем по силе,
но духом несравненен будет.
Тогда стелите вы в степи кошму,
отбеленную соком белейших мраморных камней,
и поднимите Бок-Муруна ханом над собой.
Сын бая, Баймурза,
склони ж еще раз голову ко мне.
Когда наступят дни моих сороковин,
перекочуй с улусом всем к батыру Кунурбаю,
что горбонос и прозван Гордецом,
и трапезу при нем устрой от дома моего.
Когда ж наступят дни Великой тризны,
и в этот раз ты, не смущаясь духом,
веди кочевья в Андижан к тому батыру,
что грыз и ожирел на яблоках,
их заедая непропеченным хлебом,
который в двенадцать лет
уже владел рукой стрелка, перебивая яблок черенки,
что скрыты были от него густою кроной,
стрелой, валяясь на земле лениво.
К тому, кто отправляясь на войну,
велел испечь ему лепешки,
разбившему так скоро всех соседей,
что ему пришлось по возвращенью
есть хлеб непропеченный.
Одним же словом:
к годовщине моей смерти иди к Манасу,

юному Якуба сыну,
и возвеличь при нем уже мои поминки,
среди его аулов в лощинах андижанских,
в которые он гнал чрез ледники
в набегах беспощадных
со всех сторон добытый скот.
Меня ты спросишь: каков батыр Манас?
Отвечу: подобен волку он,
что с гривой из каленого металла,
а кровь его темна, но тело бело,
лицо из льда, живот же волосат,
на копчике же синее пятно.
Откочевав к Манасу, у него,
по мне вы справите большую тризну,
собрав всех мусульман, да и кафиров, впрочем,
всех тех, кто знал меня и слышал обо мне,
Пусть будет праздник тот велик и весел,
и лишь тогда вы, сбросив с плеч мои желанья,
обретете наконец покой достойный».
Хан Кукотай закрыл глаза,
и в этот миг душа его с томленьем
оторвалась от тела дряхлого и тучей,
что мечет молнии и громы, устремилась в Небо.
И непроглядная, как ночь, толпа ногайцев взревела,
и от плача этого верхушки
всех урюковых деревьев скосились вмиг окрест.
И закричала, застонала, от стога этого
покрылись трещинами скалы все вокруг.
Однако горе как положено отгоревали,
исполнили прилежно все обряды
и кости хана на коне,
что был окован доспехами из стали
и с красным караваном, с черным караваном
неспешно к срубам довели,
над срубом тем могильник возвели
с лепными завитками и с желобами,
что тропами прошли как по горе.

Народ обильно ел и рвал сукно в достатке
и первые поминки отошли.
Народ как просо не рассыпался
и не разлился струйками мочи бегущего теленка,
народ пошел ногойский на землю Кунурбая,
по пути встав на Чибпатчи,
где табунами кобылиц вязали,
на Ибратчи стояли, где скот в гурты сбивали:
лишь табунами и гуртами добро свое они считали.
пришли к китайцам,
к ястребоносому батыру Кунурбаю
и принял он от них чубарого коня
и иноходца пестроголового,
и принял их, и у него народ ногоев отметил
поминки сорокового дня
и год затем прожил в разброде.
Не пролил Баймурза кумыс,
что рекою лег бы справа,
не пролил Баймурза айран,
что лег бы слева потоком сытным.
Но время нужное пришло,
опять сошлись рода ногоев держать совет,
своими юртами взяв в круг белеющую сопку,
ее сочтя за пуп единственный земли:
как быть с Большою тризной Кукотая,
чей дух еще витает над ними?
Как быть им с тризной,
если сын Якуба вздорный Манас
им отказал в приеме
в урочище своем под ледниками!
И заявившим, что видеть их желает,
лишь подданными ему, как хану!
Сошлись и совещались день, второй
и месяц и второй бии,
чьи животы как щиты плотны,
витязи, чьи затылки гривасты,
мурзы, чьи жбаны с медом еще не опрокинуты,

И Баймурза думал так упорно,
что прежде мочился кровью, а потом мочой.
Так в думах не заметили они,
как в один день, оставив нянек и муллу с пером,
найденыш Бок-Мурун от роду шести лет
сам оседлал коня по кличке Манекеръ
и въехал в круг и голос дал:
«Эй, Баймурза, сын богача, брат старший!
Ты держишь каждый день совет, но где же дело?
На пальцах у тебя лишь золотые перстни,
и на коне твоём седло с златою лукой
и золотого лития подхвостник и уздечка,
и золотом все тем же убрано копьё,
но есть средь табунов конь толстогубый, серый,
не оседлать тебе его,
он подо мной, но есть поминки Кукотая-хана,
названного моего отца,
но ими распоряжаться буду я.
К Манасу в Андижан, собаке рыжей корноухой,
народ свой не пущу.
Желаешь быть рабом – иди один.
Народу моему с тобой не по пути.
Я, Бок-Мурун, найденыш хана Кукотая, так решил:
я поднимаю весь улус ногойский,
без крика пусть развяжут бабы жерди юрт,
без клекота на плечи охотников
переместятся беркуты,
без бляенья погонят мужики
гурты баранов рано утром,
без рева двинутся верблюды за стариками,
без плача дети потащат скарб за караваном.
Так подниму народ я многочисленный ногойский!
Велю я пешим дать коней,
а голотелым я распоряжусь халаты дать
и первым я пойду.
Я на болотах Кузыбашских остригу овец,
а на большой Актам придя, по краю Иссык-Куля,

исправлю я поломки все в кибитках,
оттуда поднимусь на Тиек-Таш,
на берегах Джалачане я стадо соберу единое,
я по течению реки Или широкой,
оставив хлебопашцев на красноземельном клине,
на Тургень-Аксу всем отдых дам –
и табунам, и людям,
но не снимая вьюки с верблюдов.
У Тус-озера я соли наварю,
навьючив шестьдесят ослов тюками с солью,
я выйду к кочующему на солонцах Джузию-хану,
азартному в игре и в скачках,
чья шапка, как котел огромный, черна.
И с ним, я, побратавшись, буду дальше кочевать,
с ним, кому подвластны неверные там за Алтае.
К нему с улусами я прикочую,
и стану ставкой рядом, тем знак подам калмыкам,
что я готов быть братом им.
Со знатными я буду знаться,
безродных я приближу и укрою полой халат своего.
Как честь свою,
я подкую серебряной подковой лошадь белую,
на ней я поднимусь затем к верховьям Иртыша,
идти я буду день и ночь.
В горах верховья через Биштерские хребты спущусь!
Пройдя сквозь воду бешеной Джурги,
направлюсь я на Мула-Хургай
и там, как на ладони Бога,
остановлюсь под Бурун-Ташем.
Шесть дней я дам – пусть кони отдохнут,
семь дней пройдет – народ переведет дыханье.
Дождусь я там торговый караван,
придут ко мне все девяносто вьюков с рисом,
и, наконец, пройду я в область
Внутреннего ханства,
там я на Енисее седлом и Оби властной
устрою тризну Кукотая!

Велю я землю ровно раскатать,
на ней поставлю очаги
и с ними рядом без счета буду резать скот,
и снова все кругом покроется буграми,
но будут то не валуны, не кучи глины,
а блюда с мясом горячим.
Шесть тысяч молодцев с руками белыми
и лицами как луковые дольки,
заставлю мясо с кровью то крошить,
дав каждому я в руки по кокандскому ножу,
и чтобы жир им не стекал на локти,
велю запястья обернуть я плотным шелком,
и молодцы чтоб те не притомились,
в котлах велю я заварить им чаю.
То будет лишь одна трапеза
на годовщине Кукотая-хана, где будет круглый мир:
неверных половина сойдется
с половинкой мусульман.
Всех соберу!
Что будет дальше на этой Великой тризне,
увидите потом».
Все это выслушал в терпенье народ ногайский
и удивился дерзости и разуму
и долгому расчету найденыша,
что прозван Бок-Муруном.
Затем кошму на травах расстелили
и молча его подняли ханом над собой.
А утром рано поднял народ хан Бок-Мурун,
без шума сложили юрты бабы,
мужчины беркутам накинули всем колпачки
и вынесли на свет, и те не клекотали.
Навьючили поклажу на верблюдов,
погнали в стороне гурты баранов,
и табуны коней прошли без шума.
Был долгий путь, и вот на верхнем Иртыше
встал ставкой хан Бок-Мурун ногайский
с ним народ, густой как ночь.

Да, Бок-Мурун поставил на холме высоком
юрту Кукотая, и она, как лебедь белая,
в своем гнезде уснула.
Вокруг на десять верст костры горели
под котлами,
покой и благодать всех охватили.
Затем все так же величаво, храня достоинство,
прошли к истокам Оби с Енисеем
и приступили к подготовке тризны Кукотая,
отбирая жирных кобылиц
и составляя сотни рубщиков туш мяса.
Созвал к себе из всех аулов,
ему подвластных, юный хан мужчин,
чтобы решить, кто будет его посланцем в народы.
И он сказал тогда мужчинам чернобровым
и быстрым юношам,
готовым и есть, и спать в седле,
и, не слезая с бегущего коня,
справлять нужду при этом
не бросая пик со значками,
все ради бега быстрого и вести скорой:
«Есть у меня шестьдесят коней-аргамаков,
любого выбирайте,
есть у меня семьдесят жеребцов-иноходцев,
есть у меня восемьдесят скакунов-бегунцов,
возьмите одного из них.
Много у меня в табунах золотистых лошадей,
но лучше всех Саврасый,
огромный как шатер,
отец мой названный на нем сидел.
На Игривой кобыле мать моя названная ездила,
нет выбора удачней.
Резвый, с выгнутой, словно постель, спиной,
был у сестры моей, я и его отдам.
Но первым назову я в табунах белого Айгыра,
хотите если знать о нем, я расскажу:
грудь его крепка, как щит циклопа-великана,

а под хвостом его чернеет пропасть
со скалою и котловина меж его ушей.
в ней ливень наполняет озеро
и не испытать его куланов стаду за раз,
На нем любой промчится год – и он не отощает,
а вырежи из его спины кусок, он и не вздрогнет,
вам не найти коня для глашатая тризны лучше.
Кто сядет на Айгыра?».
И потянулись к белому, как снег,
Айгыру удалцы,
лишь сын сары-ногаев густочупринный
Яш-Айдар Чор встал в стороне.
К нему и обратился хан Бок-Мурун:
«Сын сары-ногаев батыр!
Эй, Яш-Айдар Чора
Дай голос, не лживо и живее.
Я тризну объявил по Кукотаю.
каков твой выбор будет?»
Тогда батыр Густочупринный отвечал:
«Рожденный ханом быть, мой Бок-Мурун!
Велел ты говорить, и говорю я,
под тобою конь Манекерь.
дай его мне, я поведу.
Дай мне его, в горах рожденного
и на камнях ходившего меж диких коз как гость,
железнокопытного медноногого Манекерь-коня.
На нем поеду я к народам с вестью,
я к великанам-алпам всем заеду,
не зная страху, к батырам,
что не желают говорить,
но бьют смертельно, к отшельникам,
что силу прячут из опасения убить случайно,
всех зазову на тризну Кукотая!»
Ответил ему юный хан тогда:
«Ошибся ты, мой Яш-Айдар Чора.
Да, подо мною Манекерь.
но я его не испытал, на что способен он, не знаю.

Через горы прыгал он, как архар
– ты опрокинешься спиной.
Он в пропасть ныряет уткой
– упадешь ты головой вперед.
Он мною не испытан, я знаю только,
если хочешь знать:
когда мы шли через Талгар,
река была в разливе, в буйстве топила лодки,
на нем я переплыл, ног не сжимая,
когда мы шли пустыней,
и корма не давала нам земля
он ел один песок и сыт был им одним.
И когда мы ворвались в Куркуль,
он скакал с перебитыми стрелами голеньями первым.
Ты ошибся, Яш-Айдар Чора,
не проси Манекерь-коня!»
Но Чора, сын сары-ногаев, стоял на своем
в споре, длившемся ночь.
И тогда юный хан сказал:
«Быть тому! Один коням ты знаешь цену.
И один можешь быть глашатаем тризны!
Ты одел белый панцирь и сел на коня Манекеря,
погоди же еще, мой брат Яш-Айдар,
придержи ты поводья и слушай.
Я тебе расскажу, к кому едешь ты,
об алпах и их конях.
Стоим мы всем улусом среди неверных,
как блоха в мохнатой яка шерсти,
я соберу их сам, ты же прежде скачи к батыру,
что кочует среди гор Улу-Тау
и держит на привязи Мадыяна-коня,
вот кто первый придет на байге поминальной!
А затем ты иди к Ер-Косаю,
что сидит на дороге в Турфан.
Держит эту дорогу, над народом своим он стоит,
словно вышитый золотом ворот над халатом
долгополым, все товары базарам Руфана он дал

вместе с пылью дорожной,
но и пыль у него стоит цену,
как придешь, ты скажи ему так:
Ер-Косай, коль на тризну коней не пошлешь,
Бок-Мурун закопает дорогу твою!
Когда Джангара сына,
неверный Мез-Каз в темницу заточил,
что рядом из ходжей святых, несхожих с нами,
никто из мусульман не возмутился,
лишь храбрый Кошай-бек не уstraшился,
святого вызволил и этим укрепился.
К нему затем ступай, зови Кошая,
но про байгу пусть не забудет,
а если нет, я знамя Кукатая
златое и цветное воздвигну над юртою его
и этим изничтожу.
А от него промчишься, держа поводья прямо,
ты к Урбэ-батыру, что сидит на Киши-тау
и пуще глаза своего лошадку вещую он бережет,
тот вещий конь подобен соловью,
живущему в садах персидских,
но черен, словно уголь обгоревший.
Урбэ по прозвищу, по имени Мунку,
один когда-то овладел тюками с золотом
огромного народа, но так прижимист,
что не даст и мерина плешивого родному брату,
так и сидит один на тех мешках,
пусть будет он на тризне
и вещего коня с собою приведет,
а не захочет, пусть ждет он
в гости знамя Кукотая!
А от него поедешь к внуку Камбар-хана,
к Ир-Коче, презревшему богатство,
пусть приведет с собой Серке,
коня вернокопытного,
в степи давившего куланов диких,
и остробоких осетров в воде могучих рек гонявшего,

и птиц за облака толкавшего губами,
придет с Серке – получит приз,
а не придет, веселье наше его последним будет.
Оттуда ты поедешь, ровно повода держа,
к Аргыну, что с конем Хожашем,
и к Четчу, что с конем Бейгу живет
как с братом, и скажешь тем батырам: ждут.
Дуюр-Кулаку с чугунным ухом тоже скажешь:
быть на тризне.

А есть еще саврасая кобылка Урху на этом свете,
на память всем она приходит своим ходом,
её владелица Урунха-хатун, то баба-богатырь,
и ей ты весть доставишь.

К концу поедешь скоро к Идне-батыру,
он упирает сильно ноги так,
что невольно копьем своим дырявит небо,
есть у него конь серопегий бегунец,
что был рожден, как говорят,
не кобылицей, а конем!

За ним своим улусом стоит Карачу-батыр,
все видят под ним лишь черную гору,
то не гора, а черный конь по прозвищу Гора,
стоит, не шелохнется.

Пусть едет к нам и он.

Есть в тех краях другой батыр,
рожденный молитвами угодников,
любимец Магомеда святой Тускук,
завидный иноходец Пламя-хвост под ним,
его ты тоже позовешь.

За дальними горами среди двух хребтов
увидишь сына старикашки,
что доил всю жизнь одни березы,
так глуп он, но у нег, батыра Алпай-Мамета,
есть жеребец с названьем Белый Заяц,
с мослами на ногах легчайшими на свете,
и он пусть скачет к нам на тризну, на бега.
Но помни и не забывай в пути ты о Манасе.

К Манасу этому ступай, скажи, что – желаю,
на поминальной на байге увидеть и его коня,
под золотым седлом, как серна в беге быстрого,
с копытами в обхват сорокалетнего обжоры,
с ушами чуткими как стебли камыша,
с оскалом жутким, как капкан тигровый,
Его коня Желто-саврасого желаю видеть,
пусть приведет его на скачки,
пусть посмотрит на стойбище мое»,
И тут упал на землю густочупринный
Яш-Айдар Чора,
и разбивая пальцы в кровь о корни под землею,
сам прорастая в эту землю цепко.
Хитер был Яш-Айдар Чора и ловок,
себя невольником он не считал и все же завыл
и застонал как раб:
«О Бок-Мурун, мой господин, торе!
Пойду ко всем батырам, алпам я
и с ними приведу коней насильно и добром,
но не пойду к сыну Якуба-бия Манасу,
желаю весть твою всем навязать,
но не хочу я умереть.
Весь месяц я проведу в седле, всех обойду,
и на тридцатый день Манас меня растопчет,
четырнадцать кругов по свету совершу,
объеду страны все, и, завершая круг последний,
умру я под Манасом.
Не я один, отец несчастный мой
и мать-старушка умрут от горя. Пожалей!
Дай обойти же мне Манаса,
он слов не слышит и людей не видит,
он слушает и видит лишь себя, огромный.
Я не пойду к Манасу!»
Тогда сказал хан Бок-Мурун печально:
«Что ж, не ходи, я сам пойду
и приведу на тризну Кукотая Манаса
и выведу его Желтого-саврасого я на байгу,

а ты останешься и дальше поведешь
всю подготовку тризны,
но помни, лишь байга начнется,
я тебя поставлю первым призом,
а старика отца и мать твою наградой следом».
Тогда ходивший важно Яш-Айдар Чора вскочил
и крикнул в отчаянье и страхе: «Иду!».
И заключил такими вот словами речь свою
хан юный Бок-Мурун:
«Сдержи себя и голову коня, остановись.
В пустыне Туркестан
ты встретишь Ясави-ходжу,
с посохом в руке,
с которым идет он по дороге божьей,
пусть даст благословенье тризне Кукатая он.
Последнее, на холку Манекеря
ты прикрепи бумажку
и отмечай на ней всех тех, кто приглашен,
хочу я знать затем число!
Сдержи коня еще. О призовых дарах я не сказал,
Признаю головой я девять шуб парчовых
и девяносто рабов я ставлю, и девяносто рабынь,
к ним ставлю девять я верблюдов,
лошадок девяносто и девятьсот
А называть последующие все награды мне недосуг,
но все участники байги получают.
верблюда, на нем рабыню с дитем,
и выюком с юртой, крытою сукном.
Так будь здоров в пути и невредим, мой глашатай,
и возвращайся скоро,
чтоб не остыло мясо для тебя на блюдах. Беги!»
Взмахнул рукою Чора-посланец,
и в спину Манекеря твердую, как камень,
впила нагайка, как игла,
и выбросил вперед копыта Манекерь,
и разом сбросил жир с себя,
что равен весу теленка,

и тонок стал как борзая, о, чудо конь!
Впилась с другого бока опять нагайка, как клинок,
и, сбросив вес еще с барана,
стал легок, как степной зайчонок, Манекерь!
Пасть разевая как дракон,
он на скаку от горизонта к горизонту протянулся,
как струйка дыма, и стал невидим,
лишь пена с кровью отмечала на земле
пространство, что перепрыгнул он,
да слышен страшный стук копыт:
топ!!! топ!!!
Долго ли, нет, но время пришло,
собрались на верховьях Оби и Енисея алпы
и встали отдельной крепостью
напротив ногайского улуса,
не принимая мяса и напитков,
и отвергая танцовщиц
и прочь гоня к ним слуг приставленных.
Сидели грозно, думали, решили:
за то, что дерзкими словами
завал на тризну Кукотая-хана,
что признан всеми, народами и племенами,
их сопляк-найденыш всего лишь.
От уважения к тому, кто отлетел,
байге и тризне быть,
но сделать главным призом Бок-Муруна.
к нему же шубы, рабов, лошадок и верблюдов
с тюками добавить.
Народ ногайский, густой как ночь,
и гордый как рассвет, ответил: «Нет!».
Но Бок-Мурун поднялся и сказал:
«Я тризны названного мне отца войною не испорчу,
согласен я, так выводите на байгу коней!»
Все встали.
Сидеть остался лишь Якубов сын Манас,
сидеть в седле своем, под небо вознесенный хребтом
Желто-саврасого, он не сходил с коня, приехав.

Он сказал:
«Эй, алпы! Я здесь и я разгневан.
О моей мысли вам рассказал бы тот глашатай,
угрозы расточавший, жаль, онемел он навсегда,
а отчего – причин не знаю.
Но кто бы здесь из вас собрался,
коль не услышал бы дерзких слов?
Сюда вас гнев привлек.
Гнев на кого? На крохотного хана,
найденыша, что назван Бок-Муруном.
Но в семь свои лета он занят делом:
умножил скот, засеял поле, соль собрал.
Сюда к верховьям Енисея и Оби
привел народ ногайский.
Есть среди вас такой?
Ты, Ер-Косай, отец народа,
лишь в семь оставил грудь кормилицы своей.
Быть может, ты, Мунку, по прозвищу Урбэ?
Ты в семь свои лишь встал на ноги,
правда, продавливая ими землю на локоть вглубь.
Тогда, возможно, баба-великан,
но Урунха-хатун тогда игралась куклами,
отлитыми из чугуна. Никто.
Оставьте малыша в покое.
Он ханом стал и ханом будет,
а возмужавши, и батыром-алпом,
и равен силой будет не мне, но вам»,
и прочее и далее...

Я бы написал и дальше. Но, как ни печально, сегодня ваш покорный слуга, лихой кавалерист, человек, как говорил о себе китайский рыбак-пьянчужка, «повидавший свет» и уже почти готовый стать романистом, сочетается браком с милой особой. Так что, прости меня, мой несостоявшийся читатель. Не до сочинительства. Шампанского!

Я бы написал и дальше, но текущий золотой песок подземных проходов уносит вашего покорного слуги, лихого кавалериста, военного разведчика и

инсургента, человека, как говорил о себе китайский рыбак-пьянчужка, «повидавшего свет», в никуда. В пространство, в котором нет ни настоящего, ни будущего, ни прошлого, и что горше всего – книжных полок, на которых могло бы найтись местечко для моего романа. А, следовательно, не быть мне романистом.

Многоуважаемому профессору свидетельствует свое почтение кочевник из Орды и просит прощения за неаккуратность в переписке, при сем он возлагает свое упование на Аллаха и надеется, что необязательность, как его национальное качество, приносит ему больше чести, чем осуждения.

Аулы наши всегда в движении и никто не знает, как завтра сложатся дела и каждый день приносит сюрпризы, могущие спутать не только тактику, но и стратегию твоей жизненной баталии с живой и мертвой природой. Приходится быть готовым ко всему, как волк. И не как обычный серый разбойник, а как семейный бирюк со своей отарой, так же усложняющей твою жизнь уже тем, что ее нельзя съесть за раз. А гости? Кочевники только тем и заняты, что навещают друг друга с праздными новостями, растягивающимися в беседу за полночь. Только сядешь за письмо, тут к тебе визитер с важным видом и намеками на близкое родство. Какая тут может быть punctulite? С этим согласна вся Средняя киргиз-казакская орда и некоторые старейшины Большой и Малой орд, и все они готовы в удостоверение сего приложить свои родовые тамги, если обстоятельства того востребуют, на все манускрипты. За сим обращение к Вам заключается в нижеследующем.

Первое. Так как богатство киргиз-казака и других номадов заключается в скоте и при столкновении с народами цивилизованными у сих кочевников является потребность в деньгах, то и ваш покорный слуга, находясь в обстоятельствах, требующих удовлетворения деньгами, не имеет ни малейшего шанса раздобыть эти презренные билеты. Ни в долг, ни как долю в наследстве. Сам он, не имея ни раба, ни вола, ни осла, желал бы предложить обмен на деньги (желательно, в крупных купюрах и много) свое полное описание Кашгара, загадочной и неоткрытой Европе страны, в Императорское Русское географическое общество и потому просит г-на профессора, как ректора, известить его, на каких условиях может Общество приобрести сей труд. Без шуток. Цена будет самая умеренная – 50 рублей за печатный лист, исключая те главы, за которые вы при отъезде моем из Петербурга выдали деньги. Хотите, как в древние времена, обойдемся без денег. Составим обмен между кочевником и горожанином. Мне бы вы выслали в степь барометр,

психрометр и несколько термометров, – та часть края, где я живу слабо исследована в климатическом отношении, и довольно. Ну к этому еще удовлетворите мои столичные долги – 300 рублей серебром, вот и все. Главное, не убивайте меня своим отказом... Помните поучительную библейскую историю: «И был Авель пастырь овец, а Каин земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земных дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрил Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его., и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».

Не удивляетесь последнему абзацу. Он приведен не случайно так подробно. К достоинствам кочевничества следует отнести и избыток свободного времени, для философствующих бездельников – сущая благодать. В присутствии не надо бежать, служба не занимает, лежи на кошке и читай себе Ветхий завет. Занимательнейшая книга, в ней мы читаем древнейшую историю человечества. Одни племена пасли скот, другие возделывали землю. Казалось бы, каждый занят своим делом. Каин строит город, сажает сад, Авель бродит со своими барашками по просторам. И все им ясно, во всем они определены. А каково таким, как я, всеми потрохами принадлежащим кочевому народу, но с молодых ногтей живущих в городах? Какую жертву нам принести? Пожалуй, примером нам может служить лишь один апостол Павел. Мы знаем его как горожанина. Приняв веру в Христа, он не стал кочевником и проповедовал её всегда в оседлых общинах, а между тем оценил выбор Божий весьма своеобразно: «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Такое толкование кажется по меньшей мере парадоксальным. Для брюха хороший жирный баран всегда вкуснее любого каравая, но ведь, как проповедник в среде крестьянства, он не мог вот так просто пренебречь высшими достоинствами хлеба. А ларчик, думаю, просто открывается. Ведь Павел прямой потомка Авеля. Известно, что евреи до строительства своего первого Иерусалимского храма были народом кочевым и Павел не отказался от своих природных предпочтений.

И все же, почему Каин не мог сдержать себя и покусился на жизнь брата своего Авеля?

Почему моя цивилизованная на европейский манер голова должна все время спорить с моим сердцем, бьющимся сильнее и радостней, когда я вижу в голой степи кош из трех жалких прокопченных юрт, у которых подле казана с

отбитым ушком стоят бабы в нелепых платьях и чумазые дети да конь без седла?

Ответьте мне, профессор, отчего приговор миру кочевничества был вынесен еще в библейских сказаниях? За что? Только разве от того, что пастбища мешают городам продвигать все далее и далее свои стены, а пахарям ширить свои пашни?

Впрочем, кочевники сами во многом виноваты в приближении часа своего испарения с лица Земли. Надо было держаться от городов подальше, но разве сравнишь свои поделки с ремесленническим искусством городских мастеров? Нет ничего целебнее дикого лука, но поливной, конечно, сочнее. Да и искать его не надо в чистом поле, пошел и выменял шерсть да мясо на плоды земные. А иные, тонкие прелести дворцов и базаров? До них особенно охочи были степные правители. И делали все, что бы захватить города, но город сам пожирал их, превращая аскетических батыров в сладострастных, жирных котов.

Тюрки на отрогах Алтая сами ковали металл, но в городах умели доспехи украшать золотым рисунком, а рукоятки сабель слоновой костью и драгоценными камнями... И мы увидели, как большинство тюркских народов самозабвенно влилось в чужую жизнь, лишь иногда сохраняя свой язык ничего более. Разве что в монгольской столице Каракоруме, по свидетельству итальянца Плано Карпини, один из четырех фонтанов, бил кумысом... На востоке ханы кочевого народа маньчжур, захватив Китай, превратились в династию Цин и три века собою подпирали Поднебесную Империю, а на западе половцы и крещенные татары составили славу русского дворянства. Давно задвинули в угол своих домов пастуший посох турки, татары и сарты-узбеки.

Я мог бы написать целую версту в подобном духе, так это меня задевает, но, кажется, за такую статью мне ни в одном журнале не заплатят. Вот почему хотел бы предложить издателям беллетристический рассказ на историческую тему. Во сколько вы думаете, уважаемый профессор, они оценят мой литературный шедевр? Но какая бы сумма ни была бы, высылаю его вам. Здесь бумаги теряются каким-то особым магическим образом. Я застиг одну женщину, которая прокралась ко мне в юрту и пыталась выкрасть исписанный лист. Объяснения были дики неимоверно. Она, видите ли, хотела вшить эту бумагу сыну в одежду, что бы он стал таким же грамотным, как ваш покорный слуга. Умру, все растащат на амулеты. Хотя..., может быть в этом

предназначение моего немислимого литературного таланта? И на этом спасибо.

Р. С. Я думаю, от того Господь Бог принял дар от Авеля, что смысл жизни кочевника, его быт и труд не выходят за пределами того, что было дано человеку свыше. Кочевник шьет одежду свою из шерсти и кожи скотины, после его юрты на второй день встает трава. Ничего в ней не меняется тысячелетиями. Ведь кочевнику не нужно более того, что он может унести с собой и животных в отарах и табунах ему не надо больше того, что прокормит его род... А ежели родов станет слишком много, то войны снижали прожорливое число обычным ходом.

Даже обувь у кочевника имеет носок загнутый вверх, что бы при ходьбе не царапать землю. Уверяю вас, что будь на Земле только кочевые народы, то она сохранил ась бы в первозданном виде и нравы были бы ветхозаветные.

Горожанин имеет достоинство в наше время восхваляемое. Он созидатель. Но созидая он разрушает все, что мешает его задумкам. Роет каналы, бьет скалы на свое строительство. Я видел продырявленные горы, используемые как крепости или монастыри. Скоро паровые машины искорежат весь пейзаж. У горожанина наука. Придет время и не заповеди Святых книг будут наставлять людей, а научные идеи... Каин убил брата, но попытается убить и Бога. По крайней мере, в самом себе точно изничтожит.

Калган-бек воин Стен Города. Он непомерно силен и ловок. Кто ему платит, Калган не знает и знать не желает, но приходит в ярость и даже грозит уйти в Степь, если жалованье задерживают. Деньги он любит. Пересчитывая накопленную таньгу, Калган наслаждается надеждой, что скоро сможет купить себе жену и не купит, сэкономив при этом огромную сумму. Очень нравилось Калгану разглядывать свои монеты и давать им имена. Одну денежку со знаком в виде какой-то закорючки он назвал, не долго думая: аймен, что для него означало что-то вроде «с луной». Другую, с отчеканенным царским профилем: носатой. На остальные монеты слов для прозвищ не нашлось и он их так и разделил на две кучки: носатые и аймен.

Но особенно желанную сладость приносят ему те часы и сутки, когда в его бритой, шишковатой голове не возникают ни какие мысли. Потому он и при вязан к Стенам, на которых в часы работы, привычно положив локти на гладко потертую плиту в бойнице, он размякал в дремотной покое. Но не спал, так как воину на Стене положено всегда зорко бдить за всем, что происходит перед ним в бескрайней степи. В первый год его работы стражем, в его башке выплыла простенькая мелодия, возможно услышанная им в младенческом возрасте, так как в Городе звучала всегда другая музыка. Эти связанные между собой и повторяющиеся несколько звуков и занимали его все дни и ночи у бойниц Стены. С годами они нанизывались на все удлиняющуюся, запутанную нить и звучание их от начала до конца занимало теперь несколько часов. Она прерывалось только зычной командой начальника караула. Приказ отдыхать возвращал его к еще более

незамысловатым занятием и он без вопросов и прощаний спускался котлу, дымившемуся всегда кашей у Нижнего базара, а потом и спать.

При столь отрешенной от других воинов и соседей жизни, люди однако не были Калгану в тягость, лишь бы не приставали: «Калган-бек, вы не интересовались ...Калган-бек, как вы думаете...», но высказывались определенно, а еще лучше, просто так, без умысла против законов Всевышнего, для смеха спаривали бы грязную обезьянку араба Саида с ослицей старика, торговавшим питьевой водой. Или бы поносили степняков. Калган-бек лично сам никогда не упускал случая задеть степняка: разодетого уйсуня или кичливого кипчака. Тоже, нашлись вольные казаки! Степняки это знали, и постоянный двор, где жил Калган-бек, избегали.

Калган-бек был твердо уверен, что каждый скотовод дик, ничтожен и что-то обязательно хочет украсть в Городе. Но то, что он сам когда-то был захвачен в степном ауле бездомными разбойниками и продан ими на городском базаре для нужд праведных и будничных, как чесать воинам спины и всякое, Калган-бек забыл. Мысли о детстве и старости были за пределами его гладких умственных сфер. И возможность собственной смерти для него не существовала, как для всех тех, кому приходилось много и легко убивать других.

И даже в тот черный день, когда Город достигла весть о злонамерениях властителя диких земель за пространством гор, не знающего истин Магомета Темучина, тень посланника Азраила не коснулась Калган-бека и он не ужаснулся. Хотя многие болтали пустое, кричали, шептались, а некоторые даже пустились в необузданный разврат и разномыслие.

Через город с востока на запад проходили караваны с шелком. Купцам покровительствовали на всех своих кочевьях тюрки, и следовало тюркскому кагану платить дань за провоз. Вдруг с одним из караванов приходит весть, что теперь долю от товара нужно высылать хану монгол Темучину. С какой стати? Тем паче, что эту новость принес караван-баши из иудейского торгового дома Мардехай, не имевшего своих лавок в Городе. Товар решили оставить на складах Города и он там как-то сам по себе растворился не известно куда, хотя в тюках была не соль, а тюки не в воде... Но этот Темучин прислал своих послов узнать что, где и почему не прошел караван через Город. Пришлось его людей казнить за дерзость... Толковали еще о каких-то страшных вещах, связанных со все тем же ханом монгол, будто бы он сын какого-то бога...

В один из таких тревожных вечеров в ворота постоянного двора въехали двое всадников и прямо спросили Калган-бека, а затем и прошли к нему. Этих степняков Калган, покалечив, выкинул бы сразу, но у одного из них, старого, на камзоле вместо пуговицы была пришита пробитая большая золотая монета из носатых. До прихода посетителей Калган-бек укладывал свои сокровища друг на дружку и еле успел их смести от чужих глаз под складку своей постели. И как раз увиденная им на дикаре носатая монета могла бы выровнять по высоте столбик носатых со столбиком аймен. По этой причине Калган-бек решил выждать, а потом, выпроводив незваных гостей, где-нибудь нагнать их в темноте и прирезать с пользой. Перед войной никому не интересны не только чужие, но и свои трупы. А если власть и споткнется об тела убиенных, то лишь велит отнести на отпевание, а затем и в яму.

Степняки, плотно усевшись в каморке Калган-бека, долго говорили о чем-то непонятном, пришлось их перебить и спросить: что надо? Ответили. Вы ходило, что они его родные братья и на днях род решил всех своих забрать из Города снова в аулы:

- Не могли долго найти тебя, только лет пять назад узнали куда и кому тебя продали. Пора домой, Аймен.

Калган-бек вначале вздрогнул, заподозрив, что эти кочевники каким-то образом узнали о его лунных монетах аймен. Но потом вдруг это имя оторвалось от денег и отбросило его, словно в крепостной ров, в далеко забытое прошлое. Ведь это его настоящее имя! Так звала его убитая на его глазах злыми шайтанами мать. Как мог он попытаться своей предельно скудной речью объяснить братьям, что не он виноват в том, что забыл мать и свое имя, а беда и время... Те же поняли так, что он укоряет их в том, что они не забрали его раньше.

– Времени, конечно, никак не было, то одно, то другое. Вот где была беда. Ты вправе, братик, обижаться. Но ведь мы и сами росли сиротски у родичей... Да потом зимой был большой падеж скота, и седло развалилось, а разве хорошее сухое дерево для седла сразу найдешь? – начали они, смущаясь, оправдываться. – К тому же мы слышали: живешь ты не плохо, сыт и в чести у людей. А сейчас никак нельзя тебе здесь оставаться. Идет слух, что хан Темучин решил казнить сам Город со всеми жителями и камнями.

– Так не бывает, – ответил им Калган-бек, ухмыльнувшись глупости степняков.

– Мы знаем, – сказал тот, кто был старшим. – Но в этот раз Город нарушил главный закон между народами: посланцы у нас неприкосновенны были еще с тех времен, когда бог неба Тенгри встретился с матерью Землей. Не по-человечески это.

– Сами вы нечеловеки! – принялся привычно орать на степняков Калган-бек, услышав свое любимое оскорбление.

Он даже решил пристукнуть до смерти, прямо не сходя с места. Здесь старший брат заплакал, а за ним второй пастух скота семьи своей.

– Прости нас! Сами мы жили вольно, а ты здесь в чужой толпе стеснение принял, ел и пил с глины, спал на камне. Скотину запертую в загонах и ту жалеешь, а тут год за годом между стенами ... Не хочешь ехать с нами, неволить не будем, только возьми хотя бы это, купишь себе сладости.., - и старший брат, сорвал с себя золотую монету и протянул ее Калган-беку.

В тот же вечер воин Стены забыл о утопавших в слезах от него своих степных братьях. Город между тем, предчувствуя гибель, ждал, замерев, а Калган-бек просто жил, посапывая переломленной переносицей, и, увидев одним из первых головные сотни варваров, лишь презрительно выпятил нижнюю губу: воины нашественики были бедны, в грубой коже, лошаденки низкие, с плоскими задами. Душонка мародера Калган-бека была оскорблена. Наступившая ночь и вовсе скрыла банду наглецов с его глаз, но шум, крики,

топот и резкие звуки труб приближавшегося войска нарастали до утра. Горел городской рабад. И как человек, у которого вспыхнули огнем края платья, Город в страхе застыл. В ту ночь все воины были пьяны, был нетрезв и Калган-бек, и скоро среди смеха, споров, плача и бахвальств он заснул. Очнувшись ото сна, Калган впал в жуткое недоумение, не в силах понять причину все нараставшей тревоги под ребрами. А просто смолк пьяный гвалт на Стенах. Воины, пригнувшись, стояли у бойниц напряженно и молча. Это было настолько необычно, что все кругом казалось миражом. Ведь солдаты на то и есть солдаты, чтобы, кривляясь и посвистывая, кричать противнику дерзости, угрозы и брань, а не молча пялится исподтишка на них, как невеста на жениха. Калган встал, подошел к воинам, смотревшим вниз со Стен, и увидел...

Город не знал подобного, как не мог знать и Калган-бек. Город всегда был незыблем и побеждающ, даже если его ворота покорялись силе или коварству единиц и многих. Спокойно и с удовольствием великана проглатывая всех, Город как бы командовал и над теми, кто оборонялся и над теми кто штурмовал крепостные укрепления, а затем награждал победителя. И в этом был вечен, как был вечен воин его Стен Калган-бек. Какое ему дело, кто правит Городом – наследный эмир или вчерашний враг, лишь бы платили вовремя и меньше было бы попрошайек на улицах и мостах. Да гнали бы вонючих степняков подальше. А то набежали в Город: «Враги идут! Враги идут! Не отдадим Город! Умрем как братья!». Как будто вправе... Но то, что видел Калган-бек в то утро, было знамение иного. Те, внизу, отрицали Город. Они не восхищались алчно, не кружились в спиралях зависти, не горели во всепожирающей мести. Их желтые плоские лица были безмолвны и равнодушны.

Подобно жирному песку, войско варваров сыпалось из-за горизонта и к концу дня охватило Город плотным кольцом. К самым Стенам подкатывали китайские метательные машины, волокли к воротам устрашающие тараны с наконечниками из твердой тибетской жести, сколачивали и тащили к Стенам штурмовые лестницы из алтайских небесных елей.

Калган-бека за всю его жизнь впервые охватила растерянность. Он любил воевать, убивая сам, но варвары предсказывали одно: умереть ему, Калган-беку! И независимо от того, покорно он сложит оружие или не расстанется с ним до последнего мгновения.

И, словно гигантские челюсти неведомого чудовища, череп Калган-бека сдавили мысли. Смерть! Смерть диктовала их: почему он должен умереть? За что? За кого? Но мозг его был в силах лишь ответить умопомрачающей головной болью. Ночью боль стихла, и Калгана охватило глубокое безразличие ко всему. Впрочем, он всегда жил отстранено ото всех, как в колоде, но сейчас и из его норы ушла та незначительная водица, что была в ней, даруя свежесть. В этом мире теперь ничего не существовало, и только его собственная жизнь была бесценна в своем неоспоримом праве – быть.

Калган-бек встал на колени, прищурил отекавшие веки и влажно

блестевшими глазами оглядел каменную площадку Стены. Лицо налилось черной кровью, губы разошлись там, где были клыки, руки хватали пустой воздух и выжимали из него свист, кривой живот был напряжен так, словно был набит горящими углями.

Лежавший перед ним пьяненький воин, вдруг уловивший ноздрями сладковатую вонь возбужденного силой тела, по-птичьи взглянул на Калган-бека и ужаснулся угрожающей неясности этой глыбы мяса и жил, затем стал, дергаясь, отползать от него, скороговоркой твердя: «Ну ты!.. Ну ты!..». Калган-бек, не замечая его, отошел к темному краю и, делая вид, что подтягивает шнурки своих кожаных штанов, ощупал на пояске зашнурованные карманы с монетами. И держа руки на поясе, словно имея желание удовлетворить простую потребность своего живота, лениво побрел к деревянной лестнице, выходящей лоскутком ткани вниз, в Город.

По узким улицам он быстро прошел к дому начальника караула. Подойдя к дому, он легко для своего грузного тела перелез через запертые ворота и отбросил пинком ноги бросившиеся на него оскаленную звериную пасть. Пес остался неподвижно лежать, а другая собака, тихо рыча, стала кружить вокруг него, но Калган, не обращая на нее внимания, прокрался в глубину сада, где на топчане под гроздьями винограда спал начальник. Калган стянул его за ноги с постели и твердо сказал:

– Эй, начальник! Ты дашь мне денег, я не брал за этот месяц.

Начальник караула, предельно измотавшийся на Стенах и в цитадели за последние сутки, с трудом очнулся и вскричал:

– Что?! Что?! Штурм?! Начали?

– Деньги. Ты мне заплати деньги, я – Калган-бек!

– Ты где должен быть, свинья? Отвечать!

В доме проснулись и испуганно заматались женщины. Но Калган-бек, не обращая внимания на поднимающийся визг и плач, перебирал в своих бесформенных пальцах тело начальника и добрался до его горла. Из дверей дома выскочил мужчина и закричал:

– Ой-ох! Ой-ох!.. Деньги, да вот деньги! Убереги Всевышний! Оставьте, оставьте моего брата...

Калган-бек отбросил на постель обмякшее тело и, взяв из трясущихся рук склонившегося перед ним и без того сутулого человека тяжеленький мешочек, спокойно сказал:

– Я ухожу со Стен, начальник.

Сутулый бросился к неподвижно лежавшему брату и, трясая его за руку, завыл:

– Вот видишь? Ви-и-идишь? Все уходят, и нам надо уходить в Хиву, пока не поздно!

Но тот молча отстранил брата и, нашарив под постелью стилет, кинулся к удалявшейся спине Калган-бека. Казалось, блеснувший клинок был брошен, так стремителен был прыжок начальника караула. Но он споткнулся о кружившую вокруг Калгана собаку и упал вниз лицом с вытянутой вперед рукой со стилетом.

Собака взвизгнула. Калган обернулся, сделал шаг назад, наступив ногой на спину лежавшего, склонился, взял его за волосы и дернул. Раздался хриплый выдох и приглушенный хруст костей. Отчаявшаяся в своей ярости собака вцепилась в бедро Калган-бека

и он, взяв ее за челюсть, разорвал ей пасть.

Когда Калган, прихрамывая, дошел до ворот, его, высоко подпрыгивая, как кузнечик, догнал брат убитого. Подскочил, упал на колени и стал обнимать его ноги:

— О-о, батыр! Возьми меня с собой, умоляю, Аллах взял к себе брата, я остался совсем беззащитен! У меня много денег, очень много денег. Хочешь, возьми моих жен, дом, лавку, только не бросай меня...

Из Города Калган-бек и Сутулый уходили вдоль южного стока городских нечистот. Воины кочевников, избегая зловония, не задерживали здесь своих коняг, а засад вообще не было. Калган бежал трусцой, сопел, широко размахивая руками. Сутулый часто падал, вскакивал, и сердце его замирало в тоске, если он не сразу находил взглядом удалявшегося от него беглеца. И словно подтверждением тому, что неминуемая смерть отступила от них, к ним пришла удача. В степи они наткнулись на верблюда, тащившего сломанную арбу с обгорелым тряпьем и единственным колесом. Верблюд, взревев, кинулся от них, но бежал неловко, боком от перекосившихся оглобелей арбы. Калган-бек и Сутулый погнались за ним, вначале просто удерживали испуганное животное, а потом на нем стали быстро уходить на юго-запад от Города.

К вечеру следующего дня они присоединились к маленькому роду степняков, уходивших, как и они, от безжалостных захватчиков. Аульчане молча приняли их. В Калган-беке и Сутулом они видели нуждающихся в помощи людей и, не желая быть навязчивыми, держались от них подальше, предоставив, однако, им пищу и коней. Калгана тут же охватило привычное безмыслие и довольство.

Жить в ауле понравилось Калган-беку. Степняки хоть и бежали от врагов, но от привычного хода кочевья особенно не отступали. Разве что вместо нескольких дней у родника меж каменистых сопок или речушки в поросших кустарниками берегах задерживались на вечер и ночь. Молодежь как всегда устраивала игры и пела свои песни. Нравились Калган-беку и забавы на лошадях и красный цвет мужских шерстяных штанов, по вкусу пришлось ему и кобылье молоко, оно быстро утоляло жажду и клонило в быстрый сон. А главное, ему дышалось легко. Ветер с запахом трав продувал его грудь до самой печени, а ведь в последний год он стал дышать с хрипом. Отары овец и табуны шли в стороне от самого аульного каравана, что бы пыль не тяготила людей. Услышал Калган-бек как степняки играли на гулком предмете с длинной шейкой и с двумя струнами из жил. Мелодия эта была чем-то схожа с той, которая звучала в наголо обритой, неровной башке, когда он торчал в карауле у бойниц Стены. Только звуков была больше и они мешали друг дружке.

Еще Калгану очень полюбилось смотреть как мальчишки играют в асыки. Они расставляли в ряд бараньи мослы и били по ним издалика сокками – самыми крупными косточками. Для тяжести некоторые из них годами то вымачивались в соляной воде, то сушились на солнце. И еще были какие-то секреты победоносности этих костяшек, не раскрываемые никому. Особенно ценилась в сокках способность падать на попу, что давало право на внеочередной удар.

Самым удачливым игроком был сорванец по прозвищу Руколом. К нему и обратился Калган с праздным желанием сыграть с ним и другими детьми в асыки. Руколом даже не стал задирать голову, что бы взглянуть в лицо снисходительно обратившегося к нему чужого дядьки. Только сплюнул и про цедил сквозь зубы:

– Есть асыки, ставь на кон, нет – иди отсюда.

Давно уже никто так пренебрежительно не разговаривал с Калган-беком. Непонятно даже как воин Стен стерпел такую грубость от сопляка, росточком не выше его сапога. Не драться же с ним, а потом этот с черной шеей мальчишка в общем то был прав по всем законам игры, нечем играть – не лезь. Хотел было калган купить у мальчишек асыки, но те даже не взглянули на его золото. Так бы и остался Калган только зрителем, если бы Сутулый, старавшийся не отходить ни на шаг от своего спасителя, быстро куда-то не сбегал и не принес для него с десятков асыков.

Степняки искоса поглядывали на игравшего с мальчишками великовозрастного детину и лишь покачали без усмешек головами. Ничего не поделаешь с этими горожанами, у них ума и достоинства как у малых детей. Там в городах солидные мужы могли, словно разбалованные детишки, прямо что-то попросить: дай мне это, потому что нравится, а старухи красили свои лица.

Как не странно, Калган-бек не сразу проигрался. Все таки был у него глаз отличного стрелка. Но все равно Руколом постепенно вышиб из ряда его асыки в свою пользу. У Калгана осталась только сокка. Калган ночью срезал с ее низа выступ, мешавший прочно устоять асыку на земле при падении пяточкой и раним утром первым явился на голый такыр у аула для продолжения игры. Руколом разрешил ему поставить на кон сокку, но потом, приглядевшись, заметил подделку. Он отбросил голой ногой калгановскую сокку в сторону и сказал ему:

– Руку сломаю!

Калган-бек бросился оспаривать такое решения, и, сев на корточки перед мальчишеским атаманом, стал крутить перед его носом свою испорченную сокку, убеждая, что, мол, она нигде и не подправлена. Руколом молча дал ему в лоб. Калган плюхнулся задом в пыль, естественно, не от удара, а от внезапности замаха маленького, как вспорхнувший воробей, кулака. Мальчишки захохотали. Калган-беку стало обидно, так что зачесались глаза, и он ушел в степь. Там далеко, оставшись один, он, сидя в пожухлой траве, вначале от обиды ничего не слышал, потом под ухом зазвенели какие-то невидимые насекомые, затем сама земля как бы несколько раз громко вздохнула... пробежали сайгаки, стуча по камням копытами ... и весь мир наполнился той именно музыкой, которую он знал один и немо прокручивал часами под гулким сводом своего черепа. Он узнал ее и захохотал от радости, даже принялся приплясывать от удивления - надо же, она умела звучать!

Как бы не вел себя странно один из горожан, но он был гостем и наступило время, когда его и Сутулого аксакалы аула пригласили на застолье в их честь. Калган, переполненный самым бескорыстным презрением к степнякам, однако, не отказался от приглашения и на трапезе ел много, сопя и отрывая от наплывающей жиром сытости, а пальцы обтирая о голенища сапог так, что они засияли салом, как и его лоб.

Сутулый, полный тоски по оставленным в Городе женам и лавкам, жевал вяло и так же вяло отвечал на вопросы стариков. Это было не по душе Калгану. Вонючие степняки должны иметь свое место у порога, а не болтать языком, сидя колено к колену с ним, воином Стен!

– Да.., – горестно вздыхал сутулый. – Город в осаде. Этот Тимучин привел варваров, тварь. Святой Город, святой Город! А варваров этих – как вшей в квартале самых неимущих из самых падших. Горе, горе! Да разве есть более славная столица на мировой плоскости? Я сам не склонен знать, да говорят Александрийская читальня не чета Городской. А мои лавки?! Чего только не хранили они! Говорил мне святой на мосту: да ты, торгующий, избегай центральных улиц. Все сгорит, все сгорит, все пепел... М-м-н-н... Поклониться бы Тимучину, поклониться... А хотя бы и дань платить. Да вот нет. Ибо говорили: все жжет он на земле. А сколько возьмете, аксакалы, за топленое курдючное сало? Говорят также, что у этих варваров большая нужда в нем для их метательных горшков и других богопротивных предметов. А?

Калган-бек не слушал Сутулого, но то, что старики кивали седыми бородками, внимательно слушая второго, а не почтительно ждали слова Калган-бека, которое он, впрочем, и не собирался произносить, раздуло ему от возмущения шею. Но это был не предел. Эти скотоводы речью, в голос стали обсуждать дела Города! От гнева Калган потемнел и осел, подобного он уже был не в состоянии перенести:

– Заткнитесь, ублюдки, – чистым от ярости голосом произнес он. – Вы кто? Как смеее говорить о Городе? Как смеее слышать о Стенах!

Калган-бек встал и, не смотря на отползавших от него старичков, вышел из юрты. «Твари, – бормотал он. – Как смеют рассуждать о Стенах?! Придавить кого-нибудь, что ли? Как им можно говорить о Городе?!»

Но Города не было. Была Степь, связанная тонкими нитями света с дальними звездами, открытая и дышащая тихо, беззаботно, как грудь спящего человека.

Как?! Калган-бек застыл в ужасе. Взмок. Он, воин стен Города, но где же Стены? Мощным усилием своего мозга, закаленного, как горшок в печи у гончара, Калган понял, как он слаб, нелеп и ничтожен в Степи. Здесь свои законы, свои права, своя тактика боя. Любой руколом, слитый со своей простенькой лошаденкой, вмиг закружит, запеленает его, как младенца, в этих бескрайних пространствах, и он будет мучительно ощущать свою незащищенную спину. Враг должен быть перед ним, перед его лицом, он должен, обязан быть перед ним, а не скакать вокруг! Он должен лезть, карабкаться вверх, поглядывая с ужасом снизу на него, чтобы быть сброшенным или раздавленным в руках Калгана, да и то чтобы обрушиться на головы своих соратников.

Прокушенный язык вкусом сладковатого вина набухал во рту и вываливался между скисших губ. Ни боли, ни страха не было. Была нестерпимая потребность до умопомрачения, до тошноты, какая бывает только у курильщика опиума, быть на Стенах Города. Какая еще смерть?! Это сейчас

он труп! Нет Города, и нет его. Кто он? Никто, ничто - как сорванный ноготь. И Калган-бек камнем из оттянутой пращи, кинулся назад к Городу. Он сменил несколько коней, и последняя лошадь монгола, которому Калган-бек сорвал лицо, захватив пальцами верхнюю губу и сбросив с седла, вынесла его на рассвете к самому Городу. Лошадка, чувствуя, что она падет, если остановится, неслась к зубчатому и освещенному огнями бойниц горизонту, к Стенам, на которых застыли люди Города в ожидании очередного штурма. Калган-бек одной рукой размахивал дубинкой, другой размазывал по телу свою и чужую кровь. Пораженные его отчаяньем бойца и силой, варвары отступились от него и лишь смотрели ему вслед. Казалось, что он, прорвавший плотное смертельное кольцо внешней осады, пробьет и саму крепость, врезавшись в нее. Но у самых Стен стрела, торчавшая между шейных позвонков Калган-бека, не дала ему поднять голову и увидеть тех, кто там, на Стенах Города, и он, сию секунду увидев, откинулся в седле и упал. И долго еще его конечности дергались в стремлении встать на Стены Города.

Что это? Мираж или, как сейчас пишут во французских медицинских книгах об виденьях у умалишенных – hallucination? Считать себя сумасшедшим совсем не хочется. будем считать, что это не написанный рассказ для гонорара.

Хан Аблай, размышляя над тем, как мельчает род человеческий, изрек однажды: «Я царствовал, как лев, дети мои – тигры, внуки же мои будут волками, правнуки станут собаками». И мне грустно слышать такие предсказания. Милый прадедушка, кем же был тогда твой пращур Чингиз-хан? Наверное, не меньше, чем дракон.

Одним я могу утешить себя – если я и собака, то собака своего народа. Тоже не мало, хотя, признаюсь, я все свои чины и титулы с легкостью поменял бы на звание батыра аблаевских времен. Мухаммед-батыр. Звучит? По-моему, очень. Не то, что ротмистр или генерал. В чинах один пес старше другого и все.

В кадетском корпусе, обнаружив в библиотеке географические атласы, я стал путешествовать по ним во все края света. Но до двенадцати лет любимой моей игрой была игра в батыров. Знал я множество имен этих легендарных личностей, все их подвиги и шалости с оружием в руках. Одна была беда: мне не с кем было водиться. Братья мои были на пять, семь и девять лет младше меня и биться я с ними никак не мог. Приходилось быть одновременно и витязем и его могучими врагами. Как мне это удавалось, я уже не представляю себе. Конечно, какие-то роли я доверял исполнять огромным камням и пням на горе Сырымбет, возвышавшейся сразу за нашей усадьбой.

Естественно, я всегда выходил победителем, хотя одежда на мне иногда страдала порядочно. Как-то я надумал поиграть в батыров Пыльного похода и тут никак не мог обойтись только неподвижными истуканами. Кто-то ведь должен был пыль поднимать. Пришлось снизойти к помощи братишек, тем более что герои-батыры Джанатай, Уйсунбай и Аркандар к тому же были родными братьями.

А история Пыльного похода такова.

В 1770 году волжские калмыцкие князья Убаши и Цэрен с ламаистским духовенством, опасавшимся, что калмыки на военной службе у царя станут принимать христианство, решили увести свой народ на землю предков – в опустевшую от бесконечных войн Джунгарию. Затея была хороша, если иметь ввиду, что родные пастбища, стараниями китайской армии совершенно обезлюдили и в следствии этого приняли снова свой девственный вид, но уж слишком идеалистичной даже для мечты воссоздать уже на китайской территории новое ойратское ханство. Киргиз-казакам эта выходка тоже не показалась безукоризненной. Они сами, ни у кого не выпрашивая, уже пасли там свои стада. Как бы там ни было, тысяч 150 – 200 калмыков ушли с правого берега Волги между Черным яром и Астраханью на левый и дальше через кочевья Киргиз-Казакстана. Петербург проявил нерасторопность, и теперь даже яицкие казаки их не могли достать. Шли калмыки скоро, не жалея ни скот, ни ослабевших соплеменников.

Конечно же киргиз-казакские ханы не могли себе позволить такую беспечность, как русские, и на реке Муинты бежавшие калмыки были окружены киргиз-казакскими войсками, К этому времени хан Аблай получил и официальную просьбу от имени императрицы Екатерины II наказать беженцев, что совсем развязывало ему руки, так как волжские калмыки все же считались подданными Ея Императорского Величества. Несмотря на то, что калмыки шли не с войной, а с показными покорностью и стенаниями на свою горькую судьбу обездоленных, все понимали, что нахождение минимум 30 тысяч хорошо вооруженных и обученных калмыцких воинов прямо в сердцевине Киргиз-Казакстана опасно чрезвычайно. Все султаны, бии и батыры просили хана Аблая уничтожить урбашинскую орду немедленно, особенно Баян-батыр. Но толи явно ложное прошение Урбаши принять его с калмыцким народом в подданство к нему льстила ханскому самолюбию, толи по каким-то ещё неведомым причинам, Аблай тянул и не соглашался. И это продолжалось до тех пор пока калмыки не перегруппировались и не ударили

сильно и неожиданно по киргиз-казакским заградительным отрядам и не прорвали окружение, потеряв при этом, правда, большинство своих людей.

А получил этот исход калмыков из России название «Пыльный» вот по какой причине.

Один из славных батыров тех времен Уйсунбай, делая разъезды, потребовал от передового калмыцкого коша платы за переход по его родовым землям. Тем пришлось уступить и дать верблюдами. Его младший брат Аркандар, тоже детина не промах, стал просить у главы своего рода Джанатая-батыра, самого старшего брата, разрешения и ему совершить на калмыков наскок, как Уйсунбай, и взять ещё верблюдов, на что тот отвечал:

– Это не военная добыча, а кун. Они расплатились за все. Заработай сам, у тебя нет болезни.

Аркандар-батыр понял эти слова по своему и поскакал к калмыкам требовать свою долю. Калмыки отвечали, что уже заплатили и за траву на пастбищах и за воду родников и речек. Тогда Аркандар-батыр, оглядывая бесчисленную толпу, поднимавшую своим ходом стену пыли и уносившую ее с собой на одеждах, заявил:

– А за пыль кто будет платить?

Калмыцкие старшины онемели, а опомнившись, рассчитываться за пыль отказались наотрез.

Аркандар глубоко оскорбленный тем, что никто не оценил его находчивость и подвижимый желанием все же показать всем свое удалство с семьей товарищами и со славным батыром Конаем, сыном не менее славного батыра по прозвищу Заячьи Глазки, на рассвете напал на калмыков и взял два десятка двугорбых бактрианов. Расстроенные калмыки бросились в погоню за ними. Тогда Аркандар отправив товарищей с верблюдами вперед, сам с Конаем стал заманивать преследователей, которых было не меньше сотни, в другую сторону. Калмыки загнали его на гору и только бывшие без промаха стрелы из аркандаровского колчана не давали им пойти на окончательный штурм.

Товарищи Аркандара поспешили найти Уйсунбая и тот сразу же все доложил Джанатаю и потребовал дать ему воинов для того, что бы отбить Аркандара. Говорили, что тучный Джанатай, узнав эту весть, осунулся сразу же так, что кафтан на нем повис как на жерди. От тяжелых размышлений он почернел, словно казан на огне. Он долго молчал, а потом твердо произнес:

– Мой брат совершил неправо дело. Теперь калмыкам решать: хотят ли они смерти Аркандара или захотят получить просто кун за него.

Более горячий Уйсунбай все же один поскакал к той горе. Однако калмыки уже поднялись на вершину, где стоял его брат. Туй! Аркандар убит.

Когда Джанатай узнал о смерти братишки, он сделал проклятье и поклялся против убийц: «Или умру или напьюсь вашей крови!».

Он приказал сесть своим людям на коней и с отрядом численностью всего пятьсот воинов ворвался в ставку калмыков, где их было десять тысяч, и утонул в битве – схватка была страшной, киргиз-казаки шли на смерть.

Калмыки прежде напали на Уйсунбая и ухитрились ударить саблей ему в живот. Он держал внутренности в полах своего халата, дрался и спрашивал:

– А что, Джанатай-батыр, с распоротым животом можно ли жить?

– Нет, Уйсунбай-батыр, нельзя. Но дожждаться, пока я, старший, погибну, можно. Не поступай, как Аркандар, не позорь меня. Возьми мой пояс.

Уйсунбай плотно обмотал свой живот джанатаевским широким кушаком и бился дальше.

Наконец остались только двое братьев и сын Джанатай юный Токыш.

Говорили, двадцать девять глубоких ран нанесли калмыцкие воины Джанатаю. Тогда и сказал старший младшему:

– Я умираю. Можешь последовать за мной.

Уйсунбай отвечал:

– Прежде вели моему племяннику пробиться и уйти отсюда живым. Нет сыновей у меня, не было у Аркандара, кто продолжит наш род?

– А стоит ли продолжать род человеку, который бежал с поля боя? – спрашивал суровый Джанатай.

– Стоит, – отвечал Уйсунбай, – если он трижды сейчас послушает тебя и не покинет побоища.

Трижды кричал Джанатай сыну, бившемуся от них в отдаленье, и только на четвертый раз Токыш неохотно и с обидой выполнил волю отца, вырвавшись из вражеского кольца на простор.

Когда хан Аблай узнал о смерти Джанатай, он плакал неутешно, говоря:

– Выковавший сам себя клинок мой, Джанатай-батыр, никому не дававший себя точить, черный булат мой!

И так, я увел мальчишек к пустынному подножью горы, самым подробным образом объяснил всю историю и велел им пылить ногами, изображая поход. Это они старательно выполнили. Тут я наскочил на них, изображая батыра Уйсунбая, и заорал:

– Как смее вы на моих землях идти без платы?!

Крепыши Якуб и Махмуд насупились, как и велено им было, а вот малыш Сахиб-Керей, дома его звали больше Козленочком, чуть было не испортил всю пьесу: на глазах его навернулись слезы и готовы были покатиться по его тонкому бледному личику.

Затем наступил второй акт, где я уже изображал Аркандара, а они его братьев, которые должны были теперь все вместе идти на калмыков. Я завел их в укромное место, разъяснил, что здесь их боевой стан, отсюда, когда я дам им сигнал, они должны были бежать на гору спасать меня и мстить за мою смерть.

Надежды на то, что они верно сыграют свои роли у меня не было никакой, я был уверен, что посидев в тенечке под густой березой, они скоро соскучатся и отправятся домой к мамочке. Но я ошибся. Забравшись на гору, я вначале просто полежал, созерцая все темневшие и темневшие облака, естественно, принимаемые мной за полчища врагов, затем гонялся за полозом, рыл себе пещеру, потом решил играть в раненного коварной стрелой Кобланды-батыра. На все эти забавы и ушел день, небо окончательно потемнело и разразилась страшная гроза. Ливень обрушился на меня, как тьма вражеских войск, а я один, как батыр Урак, бился с потоками воды.

Между тем там внизу, под той самой березой разыгрывалась самая настоящая героическая драма. О ней я узнал позже, и то вся картина прояснилась не сразу.

Как рассказывали мне с ужасом малыши: только я оставил их, где-то рядом появился зубастый волк и принялся страшно выть. Они испугались и хотели тут же бежать домой, но ведь должны были ждать и потом идти спасать меня! Все трое прижались друг к другу, обнялись И так вместе дрожали с полчаса, но не сдвинулись с места. Тут волк замолк и появился один из наших слуг, приставленный следить за детьми. О как они обрадовались ему! Но напрасно. Этот дядька принялся рассказывать им о страшных чудовищах-албасты, которые бродят рядом с ними, что сам видел вон на той сосне следы от медных ногтей кровожадной Жезкемпир. Рассказав очередную байку, он вставал и исчезал, после чего из ближайших кустов начинались раздаваться ужасные вопли и стенания. Но братья, хотя и продолжали трепетать, держались из последних сил. Снова появился дядька и сказал, что бежит от огромного медведя, пожирателя детей и предложил маленьким, но неустрашимым батырам-братьям поспешить с ним домой пока не поздно. Батыры опять объяснили ему как могли, почему они этого сделать не могут и их соглядатай очередной раз исчез, зато через некоторое время появился обещанный медведь, стал показываться из кустов и рычать вовсю. Тут братишки не выдержали, понимая, что сейчас их гибель неминуема и только бой спасет их. Они вскочили

и стали кидать в этого медведя камни. Сахиб-Керей-Козленочек, видя что его снаряды никак не долетают до страшного зверя, даже решился на одну атаку, состоявшую из нескольких шажков вперед, но все же!

Затем наступили вообще страшные минуты. Небо загрохотало, стало черным, по нему засверкали молнии. Снова появился дядька и заявил им, что сам Бог рассердился на них за то, что они без спроса убежали из дома и сейчас готов прибить их из-за ослушание огненными копьями. И тут мои братья устояли, понимая, что без них я погибну вон на горе под саблями калмыков. Дядьке оставалось лишь одно – промокших до нитки мальчишек он сгреб в охапку и орущих, протестующих отнес домой, где они мне поздним вечером в постели все это поведали, прося прощения за невольное предательство. Герои уверяли меня, что тот страшный медведь все равно придет к нам и всех загрызет. Я еле их успокоил, при этом мне пришлось приврать, что я того медведя уже поймал и содрал с него шкуру, которую на следующее утро показал им в дальнем амбаре. Шкура была засохшей, облезлой, но мокрой, что подтверждало недавнюю прогулку его хозяина под дождем.

Что бы понять всю эту страшную историю, надо знать некоторые тайны нашего быта. Этот слуга, о котором шла речь, действительно выполнял роль дядьки, заботой которого были мы, сыновья султана. Конечно, до французского гувернера ему было так же далеко, как от Кокшетау до Парижа, но выдумками он своими, пожалуй, не уступил бы и Песталоцци, а быть может и сам великий автор книжки о том, «Как Гертруда учит своих детей», позавидовал бы доходчивости того оригинальнейшего способа воспитания, которой прежде был опробован на мне нашим доморощенный педагогом. Что бы я не убежал далеко, он выслеживал меня и пугал издалека, так что я тут же стремглав, услышав волчий вой, бежал домой и потом день-два вообще не выходил за ворота усадьбы. Со мной он доигрался до того, что когда я подрос лет так до девяти, то мне пришлось завести его подальше в лесок, и когда он снова принялся изображать из себя волка, подкрасться к нему и врезать хорошей палкой по его широкому затылку. Меня он потом оставил в покое, зато принялся воспитывать моих братишек. Впрочем, всегда хорошо, когда дети шалят и играют только прямо под окнами.

О батырах моего детства я вспомнил, когда выехал из Верного вместе с одним милейшим человеком, высланным за участие в восстании из Польши. Он должен был взрывать скалы под новую дорогу на Кыскауз, а я направлялся в аул султана Тезека, где сидел маньжурский посланец цзян-цзюн Со-Колдай и ждал ответа от семипалатинского генерал-губернатора, как еврей мессию,

рассчитывая на помощь от обещанных ему русских вспомогательных войск для подавления очередного мятежа в Кульдже синьзаньских мусульман. Поездка обещала быть со всех сторон приятной, да беда была в том, что мой поляк сразу же заговорил о героических легендах и сказаниях, при этом выпытывая и из меня все, что я знал о батырах. И, насколько я его понимал, непременно о таких, от которых у цивилизованного человека выступает гусиная кожа. Впрочем, в моей степи других никогда не водилось.

Взрывая свои скалы мой польский джентльмен все больше и больше возгорался воинственностью, как порох, которого он не жалел и мне ничего не оставалось делать, как рыться в своей памяти, что бы хоть чем-то остудить его пыл. Иначе, Бог знает, что бы он еще взорвал!

А моя степь знала действительно целую плеяду истинных героев. Имена своих батыров киргиз-казаки помнят еще с мамаевских времен и всегда с охотой расскажут вам десяток элегий и эпосов о них. Особенно много великих фамилий появилось в 16-17 веках и в начале 18 столетия, когда началась и шла война между государством джунгарских калмыков и Киргиз-казакским ханством.

До этих злых времен джунгары Иртыша и Зайсана находились в мирном подчинении, и хан Таукель правителем над ними держал племянника своего Шахмагомеда и в переписке с русским монархом именовал себя не иначе как «царем казацким и калмацким». Но времена меняются и появляются новые легенды. Хотите слушать, пан инженер, извольте.

Преданным другом хана Тауке был батыр Алдияр, сидевший всегда рядом с ханом с правой стороны. О нем хан, оказывая ему свою благосклонность, говорил так: «Если Алдияр возьмет лошадку, вернет долг верблюдом», имея в виду, конечно, не обмен разновидностью скота. К этому достоинству и к многим иным следует добавить, что ему приписывали способность вызывать дождь и бурю. Хан Тауке несколько раз пытался покорить каракалпаков и все безуспешно. И только когда Алдияр-джайши якобы при очередном походе наслал на непокорные земли густой косохлест с небес и туманы, киргиз-казакам удалась обойти дозоры, и, окружив легкие на подъём каракалпакские аулы, принудить их к покорности.

Пока Тауке занимался своими юго-западными границами, джунгары наконец так окрепли, что дерзко решили отделиться от киргиз-казакского государства. Избрали своего правителя – хонтайшу и принялись рубить сидевших над ними султанов. Хан направил на них войска. Без сомнения, что во главе этих карательных отрядов был и батыр Алдияр, но так случилось, что джунгары решили, что именно он может примирить их с ханом Тауке и послали к нему на

Узун-Аташ своего князя на переговоры о мире. Алдияр согласно степному этикету принял калмыцкого посланника и известил об этом своего повелителя. Но хан Тауке был настолько зол на вырвавшихся из-под него наследников великих монгол, что велел казнить переговорщика. Как ни ссылаясь Алдияр на святость гостеприимства, приказ не был изменен. Батыр стал просить хана. Он предложил взять у него все имущество за свободу своего калмыка. На что Тауке-хан отвечал: «Сколько стоил твой каракалпакский бек?».

В походе на Каракалпакию Алдияр взял много пленных, скота и иного добра в сартовских сундуках. Одному из его джигитов из охраны понравилась молодая каракалпачка. Она же, пользуясь его страстью, предложила спасти захваченного главного каракалпакского бека, который к тому же через неё посылал спасителю золотые монеты. Охранник смалодушничал и бежал со своей избранницей и беком. Алдияр конечно же настиг его в песках. Каракалпакский бек стал предлагать батыру выкуп. Алдияр презрел золото.

– Так что же привело к измене в тебе? – все пытал хан Тауке Алдияра. – Ты всегда был тверд, как лед в январе.

– Меняется не только погода, но и человек, мой повелитель. – отвечал удрученный Алдияр.

– Так жди зиму, но привези голову князя, как ты привез мне тогда голову бека, – велел хан.

– Но бек был добычей, а джунгарский князь приехал к нам своей волей, – возразил Алдияр,

– Это у селезня бывают гости, а у орла все только добыча, – сказал хан и отослал прочь батыра.

Но зная его нрав, он послал за ним к Узун-Аташу сотню всадников. Алдияр не отдал им калмыцкого князя. Воины хана Тауке окружили аул Алдияра. Батыр в ответ вышел к ним навстречу с оружием вместе со своими братьями. Братья были под стать самому Алдияру, бились отчаянно и умело. Но все же в том сражении погиб самый младший – Майлан, удивлявший всех прежде своей невероятной везучестью в самых кровавых боях. И о котором сам Алдияр всегда говорил: «Смерть его не видит, он с детства сидит у нее на темечке».

Хан Тауке послал на покорение мятежного аула ещё тысячу всадников. И сам двинулся за ними, но в степи его уже встретила песня, в которой певец рассказывал о своем непонимании зачем незваного калмыка так защищает Алдияр и зачем с таким упорством его преследует хан Тауке, а затем заканчивал её словами:

«Неужто лишь затем, что бы без страха,

Безумно, со всего плеча, с размаха
Скрестились два клинка мужей упрямых,
а смерть нашла лишь юного киргиз-казака?»

И хан Тауке встал перед аулом Алдияра, не нападая на него. Алдияр же выехал к нему со своими оставшимися братьями и сказал хану:

– Великий наш государь, я не могу, пока жив, отдать тебе моего гостя, но пусть в смерти братьев моих винят только меня.

Братья Алдияра бросили на землю копья и двинулись с опущенными головами к сверкнувшей сабли Алдияра. И хан Тауке отступил.

Джунгарский князь вернулся в родные края. С его просьбы были освобождены пленные киргиз-казаки из рода садыр батыра Алдияра. А затем и все остальные подданные хана Тауке.

Но за этим не последовало долгого мира. Джунгарские ханы – хонтайши, создали регулярные войска числом достигавшим вместе с отрядами князей-нойонов более чем 200 тысяч и с пушками, отлитыми на сибирских русских заводах.

Началась война, длившаяся сто пятьдесят лет. Она своей жестокой волей превратила многих простых пастухов в профессиональных воинов. И сын и внук с младых ногтей уже знали, что тоже станут только воевать и более ничем иным не заниматься. Слово «батыр» стало обозначать уже не могучего силача, размахивающего своим оружием только по своей прихоти, а воинское звание, равное званию запорожских полковников. Под батырами ходило иногда до 10 тысяч постоянно вооруженных всадников, подчинявшихся одним законам и одной воле, как и сами батыры.

Многие имена батыров связаны с походами моего прадеда хана Аблая и многие из них составляли его ближайшее окружение, представляя поздний степной вариант рыцарей Круглого стола. И как те славные английские мужи имели дружеские отношения с королем Артуром, так и батыры Кабанбай, Богенбай, Баян, Райымбек, Наурызбай, Отеген, Джаныбек были на короткой ноге с ханом Аблаем. Долгая война рождает настоящую дружбу.

Как-то сидели у одной походной юрты хан Аблай и батыр Джаныбек-аргын, известный своей чрезвычайной заносчивостью. Воины в своих котлах варили сушенное мясо, разводили в турсуках курт водой, словом завтракали, подкрепляясь на целый день. Батыр сидел молча и курил, когда к нему дерзко подъехал безусый юноша и с лошади, протягивая руку, сказал:

– Джаныбек батыр, дай-ка трубку!

Джаныбек не обратил на него внимания и, чтобы показать совершенное презрение, с достоинством выколотив трубку об каблук своего красного сапога, затем бережно положил её в свой карман.

Скоро хан велел выступать, каждый род сгруппировался под своим значком, выехали вперед батыры в кольчугах, шлемах с перьями и ружьями, подошли к хану и образовали тоже кружок. Провели военный совет и решили сделать на неприятеля внезапное нападение, хотя тот стоял перед ними в превосходящем числе. На вопрос хана Аблая, как много джунгар, Джаныбек выслал вперед караул, среди которых оказался и тот юноша. Он же и ответил, вернувшись с разведки, что противника не много и не мало.

Бой начался. Левый фланг, где стоял Джаныбек, потерпел страшный урон и отступил. Сам батыр был ранен, джунгарская стрела ударила ему в грудь, но не вошла меж ребер, а как то заскользила зигзагами, но вызвав при этом обильную кровь. Оказавшийся снова рядом с ним безусый юноша сказал непочтительно:

– Этот, кажется, ходит в шкуре китайского бога.

Отступившие в этой ретираде киргиз-казаки и ободренные успехом джунгары на какие-то минуты встали неподвижно лицом к лицу. Впереди всех врагов высился со знаменем в руке громадный калмык на черном, как ночь,

коне.

Вид его был настолько устрашающ, что никто из киргиз-казаков не осмеливался даже и думать о поединке. Тогда ослабевший от потери крови Джаныбек вынул свою трубку и, не глядя на дерзкого юношу, бросил её в сторону джунгарского батыра со словами.

– Ты просил мою трубку, иди, возьми её.

Все глаза обратились на безусого забияку, и он тут же отбросил в сторону свое копьё, и молча бросился на своем коне вперед. Внезапность атаки и то, что убить такого силача этот мальчишка никак не мог ни при каких самых благоприятных обстоятельствах, даже если бы тот спал в седле, позволила ему приблизиться к могучему калмыку-батыру невредимым и под самый занавес вдруг броситься под вражеского коня. Казалось, он решил от отчаянья найти себе верную смерть быть растоптанным, но он, обхватив руками огромную, как бревно, лошадиную ногу, придумал перерезать на ней жилы ножом. Огромный конь, сильно дернувшись, скособочился и калмык рухнул на землю. Киргиз-казаки воспользовались возникшим среди джунгар смятением и обратили их в бегство, таким образом вырвав победу из рук неприятеля. После битвы Байгозы

(это было имя молодого человека), закурил доставшуюся ему трубку и подойдя к Джаныбеку-батыру, сказал:

– Батыр, вот время, когда можно курить.

Так начал свое батырство Байгозы-тарактинец, и с этого времени все узнали его имя.

Подтверждением тому, что батырство достигалось не только силой, но и ловкостью и умом служит следующая история.

Как-то на горном перевале горсточка джунгар остановила продвижение киргиз-казакского отряда. В пещере в конце этого ущелья сидел один стрелок со знаменитым тогда черным ружьем Корум.

Ружья, мултук, в те давние времена были редкостью в степи и переходили из рода в род и имели собственные имена: Коз-кеч (Видевший прощанье), Кульдур (Заставляющий взлететь). Ружья, как правило, имели гладкий ствол, фитиль и маленькие сошки из сайгачих рогов. Стреляли пулями из свинца. Ружья киргиз-казаки делали сами, делали их и калмыки и башкиры. Встречались в степи еще очень древние ружья, имевшие продольные полосы по стволу и медные мушки и прицел, но в умелых руках они били хорошо. Штуцеров в те времена не знали, впрочем, у некоторых султанов позже появились и нарезные ружья.

И так калмык преградил путь киргиз-казакским воинам и после смерти нескольких смельчаков, никто больше не решался пройти этот перевал. Вдруг выезжает на буланом коне батыр Ильчибек-сыргалинец и отправляется, крайне не торопясь, прямо к стреляющему калмыку мелкой рысью. Все ожидали с трепетом, что он сейчас падет. Ильчибек, доехав таким образом довольно близко, вдруг дал шпоры и так стремительно рванул вперед, что у вражеского стрелка произошла осечка, и не успел он снова приложить к своему ружью фитиль, как был изрублен киргиз-казак.

Когда Ильчибек-батыра спросили от чего он ехал вначале рысью, а не поспешил, как следовало при опасности выстрела, то он отвечал:

– Я знал, что увидев моего иноходца, калмык захочет получить такого отличного коня. И он стал дожидаться, пока я не подъеду ближе. Я же не торопился и на его фитиле образовался большой нагар, вот почему случилась осечка его ружья. А сбить нагар и снова зажечь фитиль он уже не успел, бедняга.

После окончательного разгрома джунгарского государства, киргиз-казаки Средней орды сделали набег на дикокаменных киргиз, но те были вовремя предуведомлены и были готовы для встречи «известных гостей». Киргиз-казаки были вынуждены отказаться от своих планов, снова вернувшись на правый

берег реки Или. Родоначальник каракиргиз манап Темиржан-батыр увлекся короткой стычкой и, решив с малым числом удалцов преследовать отступивших, переправился вброд. Тогда кандижигалинец Томача-батыр повернул назад и воткнул свое копьё под самую грудинку лошади манапа с такой силой, что благородное животное сразу село на задние ноги. Темиржан быстро соскочил с упавшего скакуна и бросился на обидчика. Томача-батыр был низкого роста, он присел под кинувшегося на него каракиргизского батыра и борцовским приемом опрокинул его спиной на землю. Затем сел на него и распорол кинжалом ему тело от пуповины до горла.

Темиржан-батыр был красив в полном смысле этого слова: бел и дороден. Когда вспарываешь сазана, то из него вываливается по краям раны белый жир. Так появилась присказка о смерти от ножа: «Белеть в поле, как сазан».

Дикокаменные киргизы, узнав о таком безжалостном отношении к уже поверженному на землю своему манапу, страшно обиделись и начали настоящую охоту за убийцей, охоту, в которой никто из правителей киргиз-казакских им не препятствовал, ибо видели в этом справедливость: зачем же резать так человека? Мстителей подгонял и поминальный плач сестры Темиржана:

«Братец, что же я сделаю?

Боже, я готова отдать свои краски-бойяк
и ходить всегда с черным лицом.

Я готова отдать китайские свои ткани-манат
и носить только траур.

Что я могу сделать, братец?

Мое сердце болит.

Есть ли люди среди моего народа,
которые не красят лица румянами
и не тратятся на красивые платья,
а имеют сабли и копья?

О братец, как болит мое сердце, о боже!»

Наконец после долгих преследований плен были взяты батыр Джаулубай, Алтай-батыр и Байгозы-батыр, отличавшийся красотой и тайно гордившийся этим, а перед женщинами – явно. Манапы посчитали, что и этих достаточно и выбрали по жребию Байгозы-батыра, как жертву за смерть Темиржана. Его посадили на землю, обратив лицом к востоку. Отмерили 40 сажень и мерген-охотник с длинным ружьем сел напротив него, сказав при этом:

– Каждому киргиз-казаку по пуле – будет три пули. Больше я тратить был не намерен и оставлю другой свинец на оленей. Киргиз-казак не вкусный, а олень очень даже вкусный.

Его соплеменники расхохотались и будучи довольны шуткой, согласились, что трех пуль достаточно. Охотник стал медленно наводить свое оружие. Каракиргизские манапы, после того как цель была взята, дали Байгозы последний шанс, спросив его: кто убил Темиржан-батыра?

Байгозы отвечал твердо:

– Я не хочу быть доказчиком ни на кого. Пусть стреляет прямо в сердце.

Охотник выстрелил и не попал в батыра. И заволновался. Снова выстрелил и сбил шапку с головы Байгозы-батыра.

Сам Байгозы рассказывал после, что решительно ничего не думал, но боялся, что тот не попадет ему в грудь, а пулей изуродует его лицо, вот почему он встал и близко подошел к стрелку. На шаг от него. Охотник потребовал, что бы тот вернулся на свое место казни, тогда Байгозы-батыр перевязал свою голову тряпкой, наивно полагая, что это спасет его красоту. Охотник выстрелил третий раз, но разволновавшись окончательно, не попал опять. А может быть не был просто убийцей.

Во время моих поездок по степи я побывал у могил многих известных личностей. Среди них я видел и строение над захоронением Байгозы-батыра. Ни крутые ступени, ведущие к этому сооружению, ни купол над ними не отличались особыми затеями. Впечатление же на меня произвели таловый лесок, которым была обсажена глиняная стена вокруг мазара, приятно смотревшаяся на лишенной иной зелени долине, и копьё, воткнутое в купол. Это вообще отличительный знак могил батыров. Таким же копьём был отмечен и высившийся рядом купол склепа батыра Аташа.

Проехав благополучно с поляком-инженером Кисыкауз, мы переменили лошадей на Караузе и с конвоем из 6-ти казаков при уряднике на подводах поехали в горы по дороге на Чубарагач. День был несколько жарок, пить – нет кумыса. Одно утешенье – купаться в холодных водах горных рек. Проехали Аксу, сделавши верст 30, и к ночи добрались до Баскан.

К счастью моему, Аллах в милосердии своем не хотел, чтобы его грешные слуги лежали без пищи и крова и направил прямо на наш бивуак кочевавший аул. Хотя местность, где мы расположились, была их привычным и законным кусочком земли, они, увидевши русских, дали тягу. Я спешно последовал за ними, но все мои старания обласкать аксакалов и женщин были тщетны – они были до того запуганы, что не хотели даже брать наших подарков, боясь

последствия. Только на следующий день они успокоились и разбили юрты в верстах трех от нас, но при этом невольное соседство очень их беспокоило и они благоразумно удалили всех девок от аула. А тех, кто не успел уехать одели в изорванные халаты и измарали им лица грязью, чтобы были как можно менее привлекательней для насильников! Так запугали бедных кочевников казаки и заседатели. Правда, возглавлял этот род Тынеке, известный в Семиречье батыр и барымтач, не смотря на свои разбои, имевший в этих краях большое влияние. Я узнал, что скоро он должен быть, и нашел этот случай подходящим для демонстрации польскому гостю живого киргиз-казакского батыра, видеть которого он желал как престарелый Иаков сына своего Иосифа Прекрасного.

Наконец Тынеке прибыл и оказался малым огромного роста. Ясно, что он был чрезвычайно силен. В седле на большой лошади он смотрелся как скала, но встав перед нами, как-то сразу сник. Он привез нам бурдюк кумыса и принялся просить прощение черт знает за что. Мы отвечали ему приветливо и, видимо, Тынеке решил, что перед ним чиновники так себе, выродки среди всесильной чиновничьей рати. Он возвысил голос и продал нам барана по тройной цене, которого прежде предлагал даром. Казаки, сопровождавшие нас, потешались между собой, косо посматривая на нас, и один остряк из них заметил уряднику, «что смиренного Миколу – телята лижут». Урядник, до этого не раз ездивший по этим краям с заседателями, на которых даже местная знать не смела и дышать, застыдился и сделал гримасу обреченного на вечный позор мученика, показывая глазами на меня с польским паном-инженером, мол, я человек служивый и как они, господа, прикажут так и будет.

Освоившись, Тынеке настолько распоясался, что принялся просить водки, а когда добрался до неё, то напился так, что четыре ушата холодной воды не подействовали на него нисколько. Этот несносный господин произвел много неприятностей, зачем-то опрокинул нашу телегу, груженную железом, и грозил ударом моему попутчику, любителю героической старины. Я смотрел на Тынеке и вспоминал лермонтовские строчки: да, были люди в иные времена, не то что нынешнее племя!

Когда и почему началось нравственное падение киргиз-казакского рыцарства?

Где батыры, которые вместе с ханом Касымом разбили узбекских Шейбанидов и вернули своему государству все города по Сыр-Дарье, где палуаны, которые перепрыгивали через крепостные стены болгарских и русских городов, как через изгородь овечьих загонов? Где герои, которые более

века изо дня в день бились за свободу киргиз-казаков насмерть с полчищами из Джунгарского ханства и наконец переломили ему хребет?

Наверное, это падение началось, когда ханы и бии сочли более благоразумным вступить в подданство Российской Империи, чем снова и снова проливать свою кровь на границах своей свободной страны. Чужие штыки, наверное, спасли тысячи киргиз-казаков, но народ не защищающий себя сам от своих врагов обречен превратиться из нации батыров в просто стадо под охраной тех же штыков. Когда исчезает сама потребность в героизме, в самопожертвовании и ответственности за своих братьев и сестер, то исчезает и гордость в людях и чувство достоинства. Когда самым страшным врагом становятся у нынешних «батыров» наглый вымогатель чинуша, судебный заседатель, да полицейский чин, от которого, правда, всегда можно отделаться взяткой в десять баранов, то взамен приходит спасительная робость перед любой властью, угодничество, лакейство. Стыд заливается пьянством и страстью самому натешиться властью над более слабыми.

Я спросил Тынеке, когда он все-таки протрезвел, что он знает о распространенном здесь калыптасе, камне, употреблявшимся при изготовлении форм для отливания пуль. Оказалось – ничего. Что добавить?

А мой неугомонный поляк все интересовался, когда приедет знаменитый батыр, который был ему обещан. Я отвечал: едет, обязательно когда-нибудь мы его увидим. И сам спросил его, не угодно ли ему будет вместе со мной вот так взять и махнуть через границу в Кульджу, биться за свободу восставших мусульман и дунган? Усы у моего застенчивого любителя сказок вдруг зашевелились, как у кота, и он, встав, произнес:

– Едим! Йеше Польска ньэ сгинэла!

В мире миражей мужчине, ценящему женскую красоту, непременно надо вернуться к красавице Сузге, проплывшей в ладье без весел с севера на юг, с востока на запад по рекам, долинам и по крови мужей знатных. Тем более, если сидишь один, как идиот, в подземной толи мечети, толи проходе. Ободряет, знаете ли...

К осимнадцати годочкам, благодаря стараниям кадетского полубога выездки есаула Костыля и преподавателя изящной словесности К-цкого, я сформировался в существо вполне схожее с кентавром. Младое тело мое ежесекундно стремилось скакать в кавалерийской атаке, а голова витала в филологических теориях.

Профессор Н.Ф. К-цкий в студенческие годы был в тесных приятельских отношениях с известным ныне петербургским востоковедом И.Н.Б., автором прелюбопытнейшей «Библиотеки восточных источников». В своей переписке со своим университетским товарищем он просил найти человека, способного отыскать в киргиз-казакском языке значение нескольких слов из ярлыка Тохтамыша и «Джами ат-тарих» Жалаири Кадыргали Хошума, не употреблявшихся в хорошо известном ему нынешнем татарском. Легкомысленно согласившись ответить светочу столичного Университета, я не ожидал, что мне придется в поиске провалиться во времени чуть ли не на тысячу лет.

Начал я бодро с записей джиров, героических поэм Золотой орды, но потом с головой завяз в вязи текстов, написанных на тюрки. Впрочем, и русские летописи тех времен, коими я так же был увлечен, были не менее зубодробильными. Что стоит, к примеру, одна фразочка Саввы Есипова: «По наипозех днях князь Сейдяк изыде из града Сибири, с ним же царевич Казачьей орды Солтан, да думный карача, с ним же воинских людей 500 человек, доидоша же до места, иже именуется Княжий Луг, и наичаша пущати ястребы за птицами». Ясно одно – солтаном сибирский летописец называл Ураз-Мухаммеда, племянника царя Казатцкой орды Тауекеля. Карача – приближенное ко двору лицо, советник. Надо думать, что сибирский свидетель имел ввиду Жалаири, говорившего о себе: «...писавший эту летопись от отца и матери Ураз-Мухаммед-хана для службы к нему приехавший, имел гребенчатую тамгу», что значило – родом джалаирец.

Язык книги Жалаири киргиз-казакский и по изложению своему замечателен, хотя имеет несколько слов и оборотов для современного уха несколько странных. Но интересно то, что начало книги или «Слово Борису» написано на чисто татарском языке, без всяких арабских и персидских метафор, хотя достаточно витиевато. Во всяком случае, это замечательный памятник панегирики: «Сочинено ради восхваления справедливости государя Бориса Федоровича...».

Здесь басен менее, нежели в персоязычных летописях. Этот сборник летописей излагает тюркские события от времен легендарного прародителя Огуза до первых исторических фактов Киргиз-казакского государства XV века. По мнению самого профессора И.Н.Б., Жалаири написал эту книгу в Москве уже в зрелом возрасте.

Труд Жалаири сохранен в двух списках рукописной копии и, кажется, копиисты, допустили искажения, из целой книги в 117 страниц я перевел только ту часть, которая касалась киргиз-казакских дел, и составил комментарии к неясным местам. Достаточно верно ответил ли я на вопросы петербургского ученого, не мне судить, да и не о том хотелось говорить. Более всего меня интересовал упомянутый нашим историком некий женский образ, возможно, в силу моих еще неистраченных юношеских романтических порывов. Впрочем, эта особа привлекла к себе не только мое внимание. О ней слагались стихи, писали оперы, имевшие успех, если не на сценах Вены, то в Тобольске уж точно. Но что нам до Европы, у нас в Сибири свои дамы, свой патриотический нектар любви. Что стоят лишь строки из поэмы о нашенской героине придумщика «Конька-Горбунька» Петра Ершова:

«Царь Кучум один владеет
Всей сибирскою землею.
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны.
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья
От Урала до Алтая,
По сибирской всей земле.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства,
Но на всей земле сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.
На коврах лежа узорных,
Приклонив к руке головку,
То ли розою Востока,
То ли гурией Пророка,
Так казалась Сузге!».

Не правда ли grandioso!

Народ, как ему и полагается, слагал свои байки. Их множество, но все сводились к версии истинно шекспировской. Стало быть пришел в Сибирское царство полк стрельцов да казаков и взяли они все города кучумовы. Только остались непреступны для них стены Сузге-кала, где проживала жена сибирского царя красавица Сузге. Взяли люди военные сей городок в осаду, да не тут-то было. Однако все припасы осажденными были съедены, и начался мор. Тут гордая красавица, брошенная мужем, но сама не оставившая без защиты отчизну, говорит воеводе: «Ты отпусти свободно моих поданных, тогда я открою ворота». Сговорились. Когда последний струг с сузгенцами скрылся за излучиной Иртыша, захватчики вошли в опустевший терем хозяйки деревянной крепости, и застали ее заколовшейся кинжалом в своей ложе. Соболиное одеяльце в ногах, да подушка утонула в слезах.

Жалостливая история, но вернемся к нескольким листочкам, исписанным тоже Жалаири отдельно от исторического труда и определенно в эпистолярной форме некой Манреу. Имечко еще то. Как мне известно, есть у нас слово «монреу» – идиот, простака, в данном случае – Глупышка.

На сгибах письма текст был стерт, иные слова и даже целые выражения, к сожалению, остались для меня не понятны и мною были пропущены, но так или иначе я читал: «...да известно тебе будет, моя радость, что согласно мусульманской истории, а также Пятикнижия еврейского народа, Ной, да будет с ним мир, Землю разделил: во-первых, Хаму, чьи дети стали отцами Судана или черных народов зенги, есть его потомки и в индустанском государстве. Середину Пророк отдал Саму, он – отец арабов и фарсов. Третий сын Яфес, отец тюрков, был направлен на северо-восток к некнижным народам...

...подобно ему был, сдвинут в края, где день зимой длиться чуть более часа, а копнешь хвойную почву летом то найдешь под ней лед...

...распорядился Всевышний, что каждому дано испытание. Не минули беды и дом чингизов. Узбеки ушли в Мавераннахр и Бухарию, киргиз-казаки же остались в степи. Затем пришлось нашим дедам и отцам не один десяток лет воевать за туркестанские земли, незнающие утомления от зерна. О северных владениях все забыли. Первым вспомнил о них бухарский хан Абдулла и послал в дальние холодные края приближенного к себе султана Муртазу с узбекским войском. Султан Муртаза привел в подчинение тамошние народы Бухаре. Сын его Кучум возгордился и объявил себя самовольно ханом, а доверенную ему провинцию назвал своим Сибирским царством. Так нельзя.

Если каждый султан будет звать себя ханом, то не станет Земля любима Аллаху, Милостивому, Милосердному, да и народам жить в таком лоскутном мире одно беспокойство. В 960 году Хиджры Властительный самодержец киргиз-казаков победоносный хан Тауекель, окончательно утвердив свое знамя и в Туркестане и в Ташкентском вилайете и принудил бухарского хана навечно отказаться от незаконно захваченного им наследства. Его Величество хан Тауекель племяннику своему султану Ураз-Мухаммеду велел сходить на север и подтвердить киргиз-казакское право и на эти земли. Следовало спешить, так как стало известно от ногаев, что Московия уже вышла за Уральские горы и идет с огненным боем туда, где сплелись, как две косы холодной красавицы – Тобол и Иртыш.

...Ермак разбил войско Кучума и города его взял. Султан Кучум же бежал и просил вступить за его дом...

...Достопочтимые отец и мать Ураз-Мухаммда звали меня на службу к своему отроку, посчитав, что по малолетству своему он нуждается в таком опасном походе в опеке и учению более чем раньше. Однако вскорости мне пришлось видеть, что султан Ураз-Мухаммед, не смотря на свои юные годы, был уже весьма искушен в выборе друзей и врагов своих. Я знаю, как вредны для черных глаз твоих, лебедь моя, Монреу, ученые изложения, но не узнав всех причин того похода, ты не поймешь волнующую тебя тайну любви. Если уж слишком много мудреных слов вдруг встретится тебе по пути к истине, ты просто не задумывайся над ними, если сие замятие тебе знакомо, надеюсь, до сих пор нет...

...родинка твоя оставила черную отметину на моих... ...жжет, то ты не...

...И да сияет над нами мудрость Аллаха, Милостивого, Милосердного, одарившего одного одним, не давшего другое другому. Выйдя с двумя пушками к Иртышу, мы у крепости Кулары встретили султана Кучума, потребовавшего от нас полного подчинения его сыну Али. К моему удивлению, столь дерзкие слова султан Ураз-Мухаммед выслушал со спокойным духом и велел всем воинам своим перейти под кучумовских бунчуков, а сам удалился к кочевью сейтековских кипчаков, с некоторых пор отделившихся от Кучума, так что у старика осталось не больше чем тысяча сабель. По своему долгу, я последовал за ним и на мой вопрос о его неожиданной покорности отвечал, что Ермак – обидчик Кучума и нельзя лишать султана радости самому убить врага. Наш же черед и суд еще...

...бек Сейтек был молод, но бараны его ходили с курдюками подобными сугробам в этих краях...

...не прошла и семидневка, как наши воины вернулись к нам и сообщили, что была у них битва на реке Валгай и, что батыр Кутугай, по прозвищу Ящерица, зарезал Ермака. Сам Кутугай рассказывал так: – Говорили Ермак джиг, хотя и в образе человека. Я спрашиваю: – А сколько с ним людей на стругах. Кучумовы же воины мне в ответ: – Он огромен как скала, волосат, как медведь. Спрашиваю: – А видели ли они, как он бьется мечом, левой рукой или правой или меч его двуручный. Они же мне в ответ: – Много раз мы видели, как он в бою с лучшими нашими воинами уже истекал кровью, но тут же на наших глазах страшные раны его заживали в миг. Я спрашиваю опять: – А стреляет ли он сам из пищали. У них же глаза в пустоту и только твердят: У него из рта идет огонь и дым...

...с такими вояками и на...

...решил я плыть сам и посмотреть на Ермака, как смотрят на любимую женщину. Говорю им: – Свозите меня к нему. Они же: – Он на лодках своих плавает быстро, как осетр, хотя на нем стальной панцирь с заговоренным царским орлом золотым, где он сейчас, знать нельзя и достичь его невозможно. Тут я: – Как это невозможно, когда он вас преследует уже третью неделю и вцепился зубами, как ласка, в кучумовский затылок.

...у устья Вагая вижу, что ермаковцы спят, даже караул не выставили, думал... ..взглянул на лица, на них усталость, как пепел под котлом, в котором год вываривали кости. Сам те ночи и дни не спал, так даже сердцем почувствовал, как они глубоко ушли в сон. Вернулся, говорю султану Кучуму: – Хорошо бы под утро ударить по ермаковскому стану.

Нет, не верит, говорит: – Ермак спит с открытыми глазами и все видит.

...И тут сказка вершит победу. Я снова на остров и вернулся уже добычей в три ружья да сумкой с порохом. Говорю: – Только мертвые так легко расстаются с оружием, так давай и похороним их на нашей земле, коли она им так приглянулась.

...Только здесь Кучум велел сынку своему брать людей и плыть на остров. Напали мы на рассвете. Слева утки взлетели, а мы – со всех сторон. Так и осталась крещеная сотня лежать, кто на траве, кто на песке, кто сразу понесся на небо. Видел я как бьется Ермак. Шел он один к стругу по мелкой воде, как пеликан среди рыбешек и меч его клада о бритые головы наших удалцов, как клюв по рыбьей чешуе. Верно, никто не в силах был победить его ни на земле, ни в воде. Я же сам устроился в первой к нему лодке с коротким копьём и сижу, жду. Подошел русский батыр к борту, встал и тоже принялся ждать, я не шелохнулся. Тогда он и шагнул на струг достать и меня, лодка под ним

качнулась и тут он на мгновение и потерял себя. И в этот миг я и вонзил копьё в его открывшийся подбородок. Иначе никак.

Ураз-Мухаммед воскликнул: – Ловко же, как и чем наградить тебя, Ящерица.

Ящерица-батыр отвечал: – Теперь ты мне послужи, султан-друг. Я спать лягу, а ты не дай меня будить от зари до зари.

Мой султан ему: – Буду тебе охранником, мне все равно спать не дают кипчакские мастерицы шить щелком, уж постараюсь, что бы их ловкие пальчики не проткнули тебя случайно в темноте иглой.

Кутугай, извиваясь на месте, превозмог сонливость и воскликнул: – Если я уж ухитрился проткнуть Ермака, то уж самую опасную мастерицу как ни будь сам проткну...

...только бек Сейтек вздохнул горько и говорит: – За одну волнистую прядь волос несравненной Сузге отдал бы я весь щелк кипчаков, за один жест ее руки отдал всех своих мастериц.

Джигиты воскликнули: – Вот как, и кто же она такая эта Сузге? Отвечал Сейтек: – Младшая жена этого старика Кучума.

Так мой султан впервые услышал имя Сузге. Она была дочерью знатной семьи, но какой – никто не знал. Говорили, что ее принесла к стенам Искера золотая ладья и говорили, что плыла она против течения с севера на юг.

Тут воскликнул Кутугай: – Кстати, уже слышал это имя, если это было именем, это имя выкрикнул сквозь кровавую дыру в своем горле Ермак: – Сузге!

Здесь мой султан весомо возразил, что Ермак не мог взывать перед смертью к какой-то там девке Сузге, а обращался к Исузге.

Батыр Кутугай принялся оспаривать: – Я не глухой, друг-султан, и слышал ясно – Сузге, а не к какому-то Исузге. Обязательно это имя кучумовской женки. Непременно он ее поймел всласть, так что она завязла в его рту, как жвачка хаки из мякоти хивинской дыни, что и умирая...

... в безумство пришел бек Сейтек. Он принялся хватать за ворот батыра и орал при этом: – Никак ты не смеешь так говорить о прекраснейшей Сузге.

Намечалось смертоубийство, чего не мог допустить Ураз-Мухаммед, но и его султанского слова было не достаточно, что бы парни перестали размахивать тесаками. Тогда он сел между ними и повел опрос: – Почему ты, Ящерица, считаешь, что Ермак кричал то, что ты слышал. На это Кутугай вполне разумно отвечал, что слышал от знающих людей, что Ермак хотел было взять и городок красавицы Сузге, да сам попался ей в петлю, что у нее между

ног, будь, говорил, моей, будешь как и прежде царицей Сибири, она же ему в ответ: – Не могу при живом муже.

...Сейтек кричал: – Все это сплетни болотных старух.

Видя, что собеседники его впали в непонимание, султан Ураз-Мухаммед пояснил, что у русских есть такой бог – Исузге Кристос и Ермак взывал к нему – Исузге. Я мысленно порадовался, что мои знания упали на плодородную, как земли Туркестана, почву и делают моего ученика достойным сыном правящей династии. Однако тьма невежества неотступна, как ночь над костром.

А Кутугай ему: – Русские сильны в городах, зачем же Ермак три года гонялся с малым отрядом за дряхлым и никому не страшным Кучумом по пустынным степям и незнакомым рекам, где не жить ему, а умереть. Не за богом же своим! Сидел бы сам с ханской шапкой в Искере и властвовал бы в нем, растя сынов и внуков. Кучум не кровник Ермаку, Ермак отнял у него все, что мог уже отнять. Остались у него лишь его жены...

...сам же смотрел круглыми немигающими глазами прямо в раздувавшиеся в гневе ноздри Сейтека.

...Кутугай рассмеялся: – Ай, я не прав, должно быть со мной приключилось умопомрачение, зачем Ермаку, батыру, удалцу, мечтать о какой-то чужой бабе, должно быть он, отправляясь на небеса, вспомнил имя своего бога.

На такой поворот мой султан сказал: – Ящерица, ты и есть ящерица, показал свой длинный язык и юркнул меж камней в кипчакском краю, отвечай за свои прежние слова.

Но и Сейтеку ссора не к чему была в походе, он сказал: – Кутугай-батыр известный воин и не он возжелал то, что немыслимо для честного человека...

...однако река событий неумолимо в те дни текла и меж других берегов.

Прострелив выловленное из реки мертвое тело Ермака стрелой, а доспехи его и нательную одежду раздав тем, кто верил в их чудодейственную силу, хан Кучум, бросив нас, поспешил с сыном своим в свою столицу, снова открывшую перед ним свои кованные железом ворота. Ураз-Мухаммед, конечно же, не дал закрыться им перед нами. Сейтек бросился убивать кучумову родню, а султан Ураз-Мухаммед имел долгую беседу с самим сибирским правителем, благодаря его за верную службу трону киргиз-казакских царей и именем хана Тауекеля прощая его за самозванство, ибо заслуги его оказывались выше чем проступки. Гордыня и старческое слабоумие помешали Кучуму примириться с судьбой, он впал в немощный гнев и принялся запальчиво оспаривать: – Я сам чингизова корня хан, а Сибирь была страной хана Абу-л-Хайыра Шейбанида, а я сам из дома Шейбанидов,

значит Сибирь моя! И народы ее мне подчинились и клятву верности дали. Меня царь Московии звал к себе служить ханом на его землях в обмен на мое царство, признавая право мое.

На что мой султан отвечал: – Народы сибирские не мусульмане, а клятвы неверных не имеют силы, а кипчаки с беком своим Сейтеком давно с нами и лишь терпели до времени от тебя, дохлый хивинский пес, беззаконие. Сибирь, конечно, была окраиной государства хана Абу-л-Хайыра Шейбанида, но прежде самим Чингиз-ханом была отдана своему сыну Джучи, а киргиз-казакские ханы и есть самые прямые потомки Джучи-хана, следовательно и наследники его земель вплоть до самых окраин.

Так говорил мой султан и душа моя вновь радовалась, что и уроки логики не прошли для него даром. Но что спорить, когда за и впереди всех дворцовых дверей стоят с булавами и цепями те, кто принес с нами правду в кучумовскую обитель. И мой султан Ураз-Мухаммед с чувством исполненного долга удалился, а мне же оставалось опросить султана Кучума о числе черного народа и числе знати из жителей этого края и о том, какой сбор с людей был и как платили. Мы долго обсуждали заботы страны и заметил я, что султан Кучум, перечисляя свои города и селения, не назвал городок Сузге-кала. Я напомнил. Старик удивился и ответил, что никогда у него не было ни укрепления, тем более городка с таким названием, ни женщины с таким именем, а жен он своих, как истинный раб Аллаха, всегда держал при себе и не бросал никогда и все они с ним, разве что старшую Сумбуле с детьми он отправил жить в Бухару. Я сам лично проводил Кучума за ворота города...

.. отъезжая, кричал, что вернется и всех нас перережет. Такая у людей благодарность...

...нас, посланцев хана Тауекеля, везде на Иртыше и Тоболе встречали радостно и с почтением, только лесные князьки ушли в свои глухие чащобы, пряча там своих деревянных идолов с прядями из конского волоса. Моим занятием стало устройство законной власти, а молодой султан увлекся охотой. Однажды он приехал со своей забавы и сказал, что видел городок с дворцовой постройкой, не открывший перед нами ворота. Ему сказали, что это город младшей жены хана Кучума красавицы Сузге. Мой молодой султан отличался деликатностью и утонченностью натуры и не стал воевать с женщиной, а велел ей через своего посланника собраться и следовать за мужем, как сделали то все остальные его жены. Ответа не последовало. Но слова лишь движение воздуха, а так как окрестности Сузге-кала чрезвычайно пришлись по душе моему султану, то они и сделались излюбленным местом для его охоты. На

Сейтека, обитавшего там в одиночестве и одичавшего до образа лесного животного он не бросил даже своего высокого взгляда...

...как я не проезжал по указанным султаном местам, но того городка я не нашел. Просил я моего султана взять меня с собой на охоту, но Ураз-Мухаммед всячески отказывал. Просил я и батыра Кутугая, но смелый юноша наотрез отбился. Он говорил: – На меня эта ведьма посмотрела из дыры в стене, не стану я перед ней прохаживаться, у нее дурной глаз и она силу из меня сосет. Мы много смеялись над его предрассудками.

Между тем прошел год, чуть больше. Русские вернулись с тысячной пищальной дружиной и встали перед Искером. Мы со стен ответили тоже порохом и огнем и они отойдя, принялись вокруг нас строить свои города, так что и не проехать по стране, ни проплыть мимо них не стало ни какой возможности. И они на нас не насакивали и мы их не воевали. Молодому султану Ураз-Мухаммеду все было недосуг, никак со своей охотой не мог сладить. А ведь стрелок он был знатный. Батюшка его Ондан имел прозвание Длиннострелый и как султан красного знамени правил от имени киргиз-казакского хана земель кураминцев при Ангрене. Известно, что курама народец собранный из разных племен. Были среди них и богобоязненные сарты, а были и не опасавшиеся гнева небес ногаи. Стало быть и Одан непременно должен был слыть в двух ипостасях. И как ходжа и как батыр. Задумали как-то кураминцы его убить и перейти под власть Хивы. Но как? Долго гадали, наконец надумали посадить на одного коня двух убийц, второму дали копье, а первого оставили без оружия, но в чалме муллы, так как знали, что любивший Аллаха Ондан не убьет служителя мечети. Однако заговорщики забыли, что конь под убийцами был мусульманский. Он на всем своем скаку сбросил того, кто под зеленой чалмой задумал злое дело и открыл путь стреле Ондана. Тут же кураминцы обвинили Одана, что он преднамеренно убил святого человека. На что тот отвечал, что он не видел муллу, а в седле был лишь всадник с копьем.

... в конце месяца наурыза, когда цветет вся земля, а в Сибири лишь пар идет из медвежьих берлог, известно стало, что русские схватили женку Кучума Сузге с прислугой и отправили ее санным путем в Московию. С того времени мой султан прекратил выезжать из Искера и, слава Аллаху, принял из моих рук дела государства. Подсчитали убытки. Земель за нами по берегам всех больших рек не осталось. Печаль охватила молодого султана, он грустил, но жалоб не высказывал, как и следовало фигуре ханского рода.

Скоро мы с большим отрядом взяли в осаду Тобольск. Воины горящими стрелами принялись поджигать бревенчатые укрепления, однако султан Ураз-Мухаммед велел прервать войну и один отправился в город говорить с воеводой. Я не мог его оставить одного в этом преопасном деле и конь о конь въехал с ним в открывшиеся только перед нами ворота. Воевода, муж хитрый, встретил нас ласково и поил медом...

...воевода отвечал: – Царь мой Василий Иванович есть тоже родня по бабке своей Чингиз-хану и отец его Иван Васильевич принял на себя волей божьей титул царя золотоординского, а по сему и эти земли его по наследному праву и не токмо эти, но и вся чингизханова орда до самых крайних морей и к югу и к восходу солнца, и по его воле здесь мне и быть.

Затем этот грубиян стал требовать, что бы мы выпили за здоровье государя царя всея Руси и Сибири. Имел я слово, говорил, что нам, людям ислама, вера не позволяет пить хмельного, надеясь, что после этих слов нас отпустят с миром, но мой султан кинул чашу в лицо воеводы. Началась ссора, и нас схватили и связали.

...наши воины кинулись на стены. Многие погибли, да все тщетно. Смерть их радовало воеводу, а как узнал он, подлый, что среди убитых с его стороны есть и последний атаман Ермака знатный батыр Мещаряк, то даже руки принялся от радости потирать, приговаривая: – Вот теперь ни татарского духа, ни казачьего. Дело государево верное.

...скоро нас вывезли в Московию трудной дорогой, много мучений телесных и душевных принято было, но мой султан веселел с каждым переходом, такой он обладал стойкостью сердца...

...царь Федор усаживал моего султана Ураз-Мухаммеда по левую руку от своего трона и пожаловал ему чин воеводы. А так же жаловал поместьем, хлебом, солью и птицей, к тому же ведром вина доброго, вином ведра рядового, четвертью ведра заморского, ведром меда малинового и пятнадцатью ведрами медовухи. Однако ж просил меня мой султан отписать лист: Государю царю и великому князю Федору Ивановичу всея Руси холоп твой царевич Казацкие орды Ураз-Мухаммед челом бьет. Присылал ты, государь, ко мне своего государева дворянина Петра Новосильцева да с ним посла Казацкие орды Кулмагамета да на мое подворье. И как велено было мне, говорил я с послом дядюшки моего Тауекеля-царя и стоваривались мы против бухарского царя идти с огненным боем, и отпустил их к Москве в третьей день. И с ними твое государева жалованье, что пожаловал ты меня, сто рублей денег. Твое, государь, денежное жалование ценю, но бью челом, верни,

государь, мне девку по имени Сузге, взятую войной у Кучума-царя. Она есть мне рабыня и быть при мне она должна. Писано 29 генваря лета 7103 года.

Ответ был таков: От царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси царевичу Уразмухаммеду Ондановичу. Посылаем мы с Москвы в Казатцкую орду к дяде твоему к Таукелю-царю Вельямина Степанова. И как к тебе ся грамота придет, и ты б тотчас написал бы грамоту к дяде своему к Таукелю-царю, что послали есмя к нему и как он у них будет и о наших делах учнет говорить и они б ему во всем верили, и тое бы еси грамоту тотчас к нам к Москве прислал в Посольский приказ к диаку нашему к Василию Щелкову. Писано на Москве лета 7103 марта в 18 ден».

Как видишь, о девке Сузге ни слова. Только шурин царя боярин Борис Годунов обнадеживал вестью, что он сам озаботился просьбой Ураз-Мухаммеда и этим полюбился моему султану...

...в войне со шведами мой султан со свойственной ему алмазной храбростью командовал полком в пять тысяч воинов и в походе русского войска на крымского хана вел за собой полк.

...и хотя мой султан Ураз-Мухаммед восьми лет лишился великого деда своего хана Шигая в смятениях междоусобных, а в тринадцать отец его султан Ондан отказался навечно от царского трона и сделался шахидом, в свои двадцать лет он все же удостоился титула хана. Государь русского Христианстана Борис Федорович по тариху в год Мыши в месяц священный Рамазан 15 дня в удел пожаловал ему Касимовское ханство с городом Касимов...

...удел, ранее всегда принадлежавший принцам Золотой орды. Слава и благодать...

...изображение престола хана касимовского Ураз-Мухаммеда я привожу в особой книге с надписями в центре: Вид престола этот.

На правой стороне мое место, как бека...

...женку кучумову Сузге царь Борис велел непременно разыскать и отдать в гарем касимовскому хану Ураз-Мухаммеду за верную службу да в знак дружбы. Однако дни проходили за днями, год за годом, повозка за повозкой мимо по тракту на Рязань, но особу ту не везли. И хотя хан Тауекель великодушно соизволил прислать из Киргиз-Казакстана племяннику его жену да родню ее с ней, Ураз-Мухаммед скучал и нравом отяжелел. Жаловался мне: – Отчего так случилось, что я блуждаю в чужом краю и души не моих врагов гублю мечом, стрелами. Отчего и ради я стал

псом злобным при чужих вратах. Я любил, но почему не при моей руке моя любовь...

...отчасти я отношу это помрачение к причине питья вина всякого. Стал говорить он опасные слова мне же: – Царь Борис Годунов вовсе и не царь и веры ему нет.

К тому времени стало известно, что якобы убиенный в Угличе царевич Дмитрий жив и идет с польским войском вкупе с северцами на Москву. От него приезжали послы и сулили моему хану честь и новые земли с поселениями. Ураз-Мухаммед будучи в умопомрачении от хмельного, отвечал им, что ежели они вернут ему вывезенную из Сибири прежним воеводой бабу, дорогую для него больше чем золото, то он готов склониться к стороне новоявленного государя. Те обещали исполнить. Хан Касимовский ушел со своими людьми к царю Дмитрию. Оставаясь верным клятве данной его достойным родителям и я с ним...

...а как взяли Москву, польские лыцари сообщили: – Нашлась твоя баба в городке на Оке.

Мой хан так поспешил в уготованный поляками капкан – в тот городок, что мы, свита, и не знали. Там он и был подло убит. Я видел его растерзанное тело...

...отвечал я им твердо, что баба Сузге не есть никакой золотой сибирский истукан, а обыкновенная женщина – женка кучумова... ...спрашивают: – Ты ее видел... ...отвечаю: – Нет.

...кричат: – Так отчего врешь, пса...

Морили меня голодом в тесном каменном мешке, жгли раскаленными щипцами... Мой глаз висел, как вишня, над моим обеззубленным ртом и я его касался языком, все стараясь...

...и каждый час орут: – Отдай бабу. Как я отдам то, что нет, даже если и где-то есть... и бьют, бьют...

...был зорким маленький батыр Кутугай Ящерица, сразивший непобедимого батыра Ермака, но убоявшейся той проклятой бабы...

... а как пришел под Москву истинно православный народ и выбил проклятых латын из Кремля, так я на радостях чуть было не крестился...

Кости моего султана Ураз-Мухаммеда, хана Касимовского, я сам упокоил на мусульманском кладбище города Касимов. На камне надпись: Сказал Господь Преподобный и Всевышний перед Богом Иисус то же что и Адам Адама он создал из мрака, потом сказал ему будь, и тот был Сказал Господь Преславный и Всевышний всякая душа должна вкусить

смерти затем вы к нам возвратитесь Сказал Господь Преславный и Всевышний не ведает никто в какой стране и за что он умрет. Всеведущ и Всезнающ Аллах Сказал Пророк да будет над ним мир Мир сей есть поле на котором сеют семена для будущей жизни. Сказал Пророк, да будет над ним мир Мир сей падаль, а идущие его собаки Истину сказал Пророк божий В 1019 году мусульман месяца Рамазана в 16 день скончался сын султана Ондана хан Ураз-Мухаммед Господь Всевышний да помилует его

Я же своей волей позже велел выбить с краю плиты: Мир земной должен рушиться Оставаться вечным он не может Мы чувствуем, что мир весь погибнет Всегда не будет длиться прочности в нем нет пока мы жаждем сосуд греховности Да проститься и мне

...к могиле седой странник. Не признайся он беком кипчацким Сейтеком, я не узнал бы его. Сотворили молитву. И стал он говорить, что вот уже второй десяток лет блуждает по Сибири и Руси в поисках Сузге... Тут я закричал: – Прочь от меня!

На этой страстной отповеди и заканчивается странное донельзя письмо Кадыргали Жалаири некой Мореу. Зачем оно писалось, с какой нравоучительной идеей или исповедальной целью – понять нельзя. Да и кто она такая эта Глупышка? Однако лингвистические и смысловые загадки веков, канувших в Лету, только усилили во мне тягу к ним. И хотя я не стал ученым, но люблю этак в кавалерийском мундире, но с портфелем в руке пройти иногда по Невскому проспекту. К казачьей сабле своей думаю приобрести и профессорские очки.

О происхождении тюрского народа Казак существует множество *versios*, начиная от наивных сказок до вполне исторически обоснованных легенд. Одна из версий наполнена столь высоким религиозным пафосом, что оспаривать её так сразу поостережешься. Лучше просто упомянуть её без комментариев.

В конце своей жизни Пророк Мухаммад узнал от архангела Гавриила о своем скором оставлении сего тленного мира и, прежде чем отправиться на покой в вечный Эдем, призвал к себе друзей. Он поведал им о своей скорой кончине, прося прощения, если он сделал кому-нибудь из них обиду. Все плакали и говорили: «Ты друг Аллаха, мог ли ты сделать обиду!». Только один сахаба – сподвижник по имени Оксе, объявил претензию, что Пророк при осаде какого-то города ни за что ударил его по хребту. Мухаммад действительно вспомнил свой поступок и в свою очередь предложил ему свою спину. Абубакр, Омар, Осман, Али и другие святые вельможи тщетно

отговаривали Оксу от его безрассудного намерения. Однако Оксе никого не хотел слушать и, при общем проклятии народа, подошел с плетью к любимцу Аллаха и просил его обнажить плечи. Пророк безропотно снял свое верхнее платье. Оксе того и нужно было: он знал, что на спине Избранного есть божья печать в виде родинки, приложившись к которой смертный делается недоступным адскому огню. Оксе только наклонил голову, поцеловал ту печать и отошел прочь. Но за неудовольствие, причиненное Пророку Бог обрек его и его потомков жить на самых северных землях, где еще они могли пасти свои стада, дабы совсем не лишить их пропитания. Во истину, Аллах милостив, милосерд. От этого претензионного Оксе и произошел киргиз-казакский народ.

Из преданий другого вида особенно замечателен эпос акына из тайпа Аргын, рода Атыгай и поколения Кудайберды, современника моего прадеда хана Аблая. Знающих эту эпопею теперь очень мало. Говорят, что этот сказитель в своем джире собрал все народные сказания, относящиеся к происхождению киргиз-казаков, и составил полную генеалогию ханов, затем родоначальников и так вниз по этнической пирамиде до своих современников.

Давно, очень давно, был в Туране государь по имени Абдул-Азис-хан. У него родился сын, отмеченный немислимим числом больших родинок, названный поэтому Алаш – Пестрый. Отец его, решив, что сын отмечен какими-то темными силами, исполняя древний обычай, изгнал его в степь, лежавшую к северу от реки Сыр. Но за царевичем отправились недовольные жестокостью хана молодые люди и начали там казаковать. Храбрые и удалые батыры умножились до трех сотен, и приобрели в скором времени известность, силу и богатство. Но затем настали междоусобия, поражения от соседей и голод. Понимая, что в своей несогласии они погибнут, степные бродяги-казаки выбрали своим ханом Алаша и сразу сделались благоустроенным народом.

Далее предание говорит, что когда правили киргиз-казаками ханы Амет и Самет, то хан южной страны Хромой Тимур разгромил их улус и повесил этих двух наследников Алаша. А к киргиз-казакам направил исламских наставников машаих для распространения истинных правил веры в Аллаха.

Конечно, это только предание, передаваемое устно от отцов детям. Но, как и в любой сказке, в ней есть намек.

Отец мой сказки не любил, а к ханской родословной относился трепетно и требовал знать все имена дедов и прадедов наших без всяких выдумок и вольностей. И как только мы, его сыновья, произносили в колыбельках свои

первые звуки: «А-а-а...», он уже, склоняясь над нами, добавлял: «А-а-аблай-хан! Повтори, А-а-блай!»

– Аблай!

– У-у...

– Урус-хан!

– Е-е...

– Есим-хан!

Слава Аллаху, наше родословное дерево оканчивалось Чингиз-ханом и не шло дальше в добиблейские времена. Осталось достаточно времени, что бы мы кроме имен овладели и остальными словами человеческой речи. Впрочем, надо согласиться, что такие упражнения для народа не забава.

Каждый юноша к своей зрелости должен знать минимум семь имен своих предков. На деле же киргиз-казаки помнят и десятое и двадцатое колена. А так же, что проще, свой род и тайп. Европейские ученые уже поспешили перевести понятие «тайп» на свой манер как «племя». Действительно, тысячу лет назад в наших краях жили разные племена – осколки от прежних исчезнувших народов. Их первые арабы, появившиеся в нашем краю, и назвали своим словом «тайифа». С ними – тюркскими тайпа и столкнулись, пройдя Персию, в междуречье Амударьи и Сырдарьи в X веке тюрками. И тысяча семей тюрков, кочевавших в местах между городами, Исфиджабом и Шашем, приняли ислам и признав центром мира Мекку. И с того времени была прорыта подземная дорога от туркестанских городов в том же направлении. Наверняка, ею пользовались торговцы. Святым угодникам Бога она была ни к чему. Святой Ахмед Ясави в Мекку летал на верблюде.

Мой заботливый отец преподавал свои домашние уроки истории, прежде усадив меня на кованный сундук, полный старых книг и рукописей, видимо предполагая, что знания и из него каким-то чудесным образом так же переберутся в мою вертевщуюся во все стороны голову. Поначалу я тоже надеялся на это, но пришлось книги из сундука достать и банальнейшим образом читать. А узнал я из них, что древние историки старались не обращать на киргиз-казаков никакого внимания, что и вызвало справедливое негодование почтенного описателя моей родины, господина Левшина. Он заметил, к примеру, что историк Абульгази хотя бы в знак благодарности за то, что киргиз-казакский хан Есим три столетия назад укрыл его от врагов в своей столице – Туркестане, мог бы сказать что-нибудь подробное и обстоятельное о его стране, а не несколько брошенных вскользь фраз о правивших династиях Киргиз-Казакстана. Но сие и не удивительно. Города,

заселенные большей частью уйгурами и отюреченными арабами с таджиками всегда высокомерно относились к кочующим народам, не признавая за ними ни элемента культуры, ни большой значимости для судеб мира. Ханов же кочевых орд, становившихся надолго хозяевами населения, к которому принадлежали придворные писаки, сочинители своих исторических трудов на фарси и арабском языке, нисколько не смущаясь, величали достойнейшими монархами и героями своей цивилизации. А о тех, кто снова отправлялся кочевать в степь опять или ничего или через губу, не задумываясь даже над фактами.

Песок подземного караванного пути и не прохладен и не источает жар.

Первым ханом киргиз-казаков был Джанибек Сайид Счастливый из фамилии Джучи-хана, сына Чингиз-хана. Если ехать на северо-восток от гор Алатау, то вы найдете глубокие следы в земле. Они остались от прорытого по велению хана Джанибека Счастливого для охоты на куланов. Говорят, будто бы одно преследуемое охотниками стадо сманило и увлекло за собой лошадь, на которой ездил маленький ханский сын, и сбросило в этот ров. Мальчик погиб. Тогда взбешенный хан загнал в него всех джунгарских куланов. Только один жеребец с кобылкою спаслись в степях Сары-Арка и завещали своему потомству не ходить в эту страну.

Святой Ходжа Ахмед Ясави, прожив до 63 лет – столько длилась земная жизнь пророка Мухаммеда, устыдился своего долгожительства и сошел в подземную мечеть и больше, проводя все время молитвах, не видел солнца. Без солнечного света сидеть под землей тяжело, но есть и хорошая сторона моего пребывания в подземных переходах – никто не мешает думать и вспоминать. Хотя и воспоминания мои не очень то забавны и интересны. Хотя, воспоминания ли это? Иногда мне кажется, что я проживаю заново жизнь какого-то моего далекого предка.

Большинство из сыновей хана Джанибека погибло в битвах, но к счастью один из них – Касым, дожил до преклонных лет и сам пошел за куланами, попутно расширив границы доставшегося ему в наследство ханства. А сдвинул он пределы своего владения, прежде скромно пристроенного ханом Джанибеком лишь по берегам реки Шу, через весь Туркестан с десятками

городов и крепостей при поливных пашнях по Амударье до Арала, а на севере за Балхаш и горы Улы-тау.

Заилийским краем при первом знакомстве русские называли длинную полосу земли, лежащую между рекой Или и снежным хребтом Кунгей-Алатау, слегка расширяющуюся к западу. Полоса эта имеет большой склон к северу и прорыта множеством рек, сбегających с гор Алатау, и все они без исключения впадают в Или – одну из самых больших рек в Киргиз-казакской степи.

Весенний разлив Или бывает не ранее марта, а к осени она так мельчает, что образует броды, удобные для прогона скота. Один из них замечателен историческим проходом бежавших из России калмыков, через второй идет караваны по пути из Ташкента в Кульджу и на Семипалатинск, названном Джанай-жол.

С октября по всему протяжению Или останавливаются на зимовку киргиз-казакские роды, занимающие оба берега, начиная от китайских пикетов до русского укрепления при устье Талгара. Ниже в песках и саксаулах зимой пасутся их лошадиные табуны. При сходе снегов с подножья Алатау киргиз-казаки выступают и на эти урочища, где начинают пахать пашни. Пахотные места киргиз-казаров лежат в десяти верстах от гор, где берега речек не так круты и позволяют им удобно выводить воду арыками на свои пашни. Урожай здесь бывает еще обильней, чем на Копале, яблоки здешние даже в диком состоянии мало уступают садовым кульджинским, как на вкус, так и величиной своей.

Зима 1853 года, первая зима, проведенная русским отрядом за Или, была самая жестокая, какой не припомнят аксакалы. Это дает повод местным тюркам очень оригинально думать, что русские так сроднились с зимой, что не могут с ней расстаться, и таскают ее с собой, куда ни придут. По крайней мере, они говорят, что со времени основания казаками крепости Копал там зимы стали холоднее и снега глубже.

Заилийский край занят двумя главными родами Большой орды: албанами и дулатами с частью чапраштов, никогда отсюда не отходивших. Дулатовские киргиз-казаки превосходят все другие роды этого жуза как своей многочисленностью, так и воинственностью и богатством.

Древние насыпи и курганы в Заилийском крае свидетельствуют о древнем присутствии многих народов. Уйсунь, уйгуры, буруты, джунгары сменяли друг друга. Последние были завоеваны китайцами в 1755 году, и все их земли Китайская империя взяла в свои пределы. Хан Аблай тут же двинулся на восток и

после продолжительной, но удачной борьбы вытеснил китайцев за Малый Алатау, и киргиз-казаки вновь заняли свои исконные места.

С 1824 года эта область считалась уже под покровительством России, но мандарины не переставали посылать в Заилийский край свои отряды для сбора ничтожнейшей дани. В 1840 г. они потерпели еще одно горестное и обидное поражение от киргиз-казаков при урочище Тирен-Узек. В это же время с юго-запада с еще большим корыстолюбием беспокоили Большую орду ее единоверцы кокандцы, считавшие своим долгом собирать с нее зякат. По всему видно, что это обременяло киргиз-казаков и кокандцам нелегко было принудить ордынцев к платежу подати. Одним из первых стал разрушать кокандские замки султан Рустем. А Тойчубеково укрепление, восстановленное в новейшее время для сбора все того же зяката, опять разрушил казачий полковник Карбышев. Сидевшие в нем 50 сартов вместо охраны караванов сами занимались грабежом купцов. Теперь можно надеяться, что страна эта, через которую идут важнейшие пути в Кульджу, Кашгар и к горным киргизам, в скором времени свободно зацветет своею торговлей.

Сбор податей еще продолжался кокандцами в крепости Аулие-Ата, но уже только у реки Чу. О возможных новых военных действиях против Кокандского ханства, теперь уже со стороны Заилийского края, говорили давно. Впрочем, малая война между киргиз-казаками Большой орды и войсками кокандского хана шла уже давно с переменным успехом. Но особенно об этой проблеме заговорили после того, как известные батыры Суранчи и Супатай захватили в плен пишпекского коменданта Алишера-датха, естественно, подданного хана, и передали его русским. Теперь он сидит в Омске и утверждает, что он со спутниками как раз-таки ехал к русскому царю посланником, а киргиз-казаки устроили над ним произвол. Быть может, это и так, однако в любом случае лучше было бы прежде начала похода отпустить Алишера и его спутников домой, не обращая на него особенного внимания. Это имело бы больше нравственного значения, чем речи, которые он выслушивает в Омске. К тому же кокандцы были все убеждены, что этот комендант будет отправлен скоро в Пишпек на том основании, что под Ак-Мечетью все их пленные выпускались очень быстро. Им казалось, что русским нечего держать Алишера или другого какого-нибудь среднеазиатца долго у себя. Для кокандцев личность Алишера только фигура, и если бы он совершенно погиб, то и тогда это не явится для них большой потерей. Между тем великодушное сознание нашего превосходства нравственно подействовало бы гораздо благодатнее на кокандцев и киргизов, чем наш страх выпустить Алишера-датху. Очевидно, что кокандцы и в

Пишпек и в Аулие-Ате ждали русских, идущих взять эти крепости, якобы числом в 5 тысяч человек. Народная молва в Кокандии представляла всех наших воинов в сажень ростом и одела их в непроницаемые для пуль латы. Здесь всякое обыкновенное происшествие принимает фантастический характер, количественно увеличиваясь в прогрессии, равносильной действию сильнейшего микроскопа. Войско это должно было идти под начальством старого вождя с одним глазом на лбу. «Кто это мог быть?», – думали тогда все.

Последний вопрос я задал генерал-губернатору Западной Сибири Дюгамелю, когда по его просьбе составил для него небольшой обзор о современном состоянии Кокандского ханства и его границах. Он неохотно отвечал: полковник Черняев из Санкт-Петербурга.

Так вот кому предстояло после султана Рустема и полковника Карбышева оторвать еще один кусок от пирога кокандского хана в нашу пользу. Дюгамель так же довел до меня, что этот Черняев просил его поговорить и со мной о моем участии в его миссии. В отличие от своего простецкого казачьего коллеги Черняев сделал все, чтобы в его походе участвовало не меньше знаменитостей, нежели у Наполеона в его Египетской экспедиции (ну не могут наши доморожденные покорители Востока не схлестнуться со славою героев прошедших времен!). Впрочем, тогда я думал, что зря так злословлю. Черняев оказался человеком благообразным, и на неизведанный Восток действительно неплохо было бы взглянуть глазом и художника и археолога. И положение мое было такое, что мне не приходилось особенно выбирать, и я выехал к месту дислокации черняевских пехотных частей и киргиз-казакской вооруженной милиции 25 марта 1864 года, хотя еще неделю назад думал ехать в Петербург, куда уже об этом написал друзьям.

Зиму я прожил в Омске, здоровье мое поправлялось неровно, однако вел я себя не совсем хорошо: играл в карты, таскался по клубам и шампанское стал пить. В четыре месяца проиграл около трех тысяч и бросил лишь оттого, что денег нет, а просить у отца еще было совестно. И вот тогда, как проштрафившийся офицеришка, я поехал от отчаянья на войну пожинать победоносные лавры, а если честнее – за чином. Ехал с надеждой оттуда через Ак-Мечеть проскочить на Оренбург, а потом уже, несмотря ни на что, в Петербург.

Смущало только одно: в верных подданных кокандского хана ходило и немало киргиз-казакских родов и, говорили: неудовольствия между зачуйскими и илийскими кочевниками уже начались, и все сношения разорваны, особенно

после пленения дулатовцами и чапрашты того самого Алишера. Не хотелось бы влезть в спор между своими и особенно против них.

Коканд разделяется на несколько наместничеств, или военных округов. Правители этих округов – хакимы, бывают вместе с тем и главными начальниками военных сил, расположенных на границах их ведомств, и получают свои места в аренду. Доходы они получают бесконтрольно, и сами довольствуют свои войска жалованием и фуражом. Хану отправляют ежегодно известную часть от доходов и дары от своего кармана.

Тайпы киргиз-казаков кочуют в наместничестве Ташкентском, среди них и рода Средней орды под предводительством сыновей мятежного султана Кенесары, моего, что становилось особенно неудобным, дядюшки.

Вообще тамошних киргиз-казаков и каракиргизов-бурутов можно разделить на совершенно подданных Коканда и не признающих его власть. Если таджики и другие оседлые народы Кокандского ханства по преимуществу занимались торговлей, ремеслами и хлебопашеством, то кочевники были воинами и, следовательно, составляли самостоятельный элемент в ханстве. Особенно силен было киргиз-казакский тайп кипчаков, он узурпировал и самые важные государственные должности, чем вызвал к себе ненависть со стороны всех остальных народов. Наконец, воспользовавшись несогласием в стане кипчакских старших офицеров, хан Худояр в начале 1853 года с войском в 60 тысяч сабель между реками Нарын и Сыр разбил кипчакский военный корпус, и его остатки по его указу подвергались смерти везде, где только показывались.

Освободившись от влияния кипчаков, этот хан первым и принялся разваливать Кокандское ханство, безумно увлекшись забавами и мистицизмом. Во дворце своем он задумал читать лекции о мусульманском праве и об обрядах, а в походах запрещал своим воинам курить анашу, сгоняя их всех вместе на каждую молитву. Везде он устраивал арены для боя животных (собаки, свирепые самцы верблюдов, куропатки воспитывались в его дворцовом зверинце, а любимых злых кобелей он выписывал даже из Китая). Делами государства управляли дворцовые чиновники, а у самого хана Худояра появилась новая страсть к браку. Какой-то мулла сказал ему, что совершить тысячу женитьб дело не менее важное, чем покорить страну, где были бы все семь климатов. И он немедленно приступил к сему «великому» делу, за весьма короткое время, женившись на 80 девственницах.

Стоит ли удивляться, что хан таким своим беспечным поведением стал навлекать на себя народное неудовлетворение. Но меня интересовало больше

отношение к нему со стороны моего народа, а оно становилось с каждым годом все более нетерпимым.

Один только Ташкентский правитель, молодой человек, служивший когда-то доверенным у богатого купца и сделавший карьеру исключительно благодаря своей красивой наружности, предпринял два вторжения в наши границы: одно на правый фланг, на реку Сарысу, а другое со стороны Пишпека на Большую орду в Заилийский край. Он окружил себя великолепиям, которое превосходило двор самого хана, и для его поддержки наложил на кочевой народ чрезмерно обременительные налоги. В 1858 году, когда этот красавчик повесил нескольких почтенных биев Большой и Средней орд, киргиз-казаки отказались ему повиноваться и с оружием подступили к Аулие-Ате, Чимкенту и другим городам. Посредником между кокандским ханом и восставшими киргиз-казакскими султанами и батырами стал тогда известный минбаши Малибек. Посол хана удовлетворил ультимативные требования киргиз-казаков, тот правитель Ташкента был смещен со своей должности, и вместо суда получил от своего хана новое высокое назначение. Это окончательно возмутило всех, прежде всего самого Малибека. Малибек отрекся от Худояр-хана и, обратившись с деньгами к купцам Маргелана, а за воинами все к тем же киргиз-казакам, лихо сверг хана, так много сил отдавшего девственницам своего государства, и сам сел царствовать в Коканде, Первое время своего правления Малибек ознаменовал усердной деятельностью и справедливостью. Он даже оплатил личные долги Худояра, а взятые ханом-сластолюбцем вещи из казны, вернулись обратно в дворцовые сундуки. Однако в нем сохранилась, между всем хорошим, одна поразительная сторона, заимствованная им, как кажется, у всех среднеазиатских эмиров – это коварство и двуличность. Он силился поддерживать миролюбивое отношение с соседями, но ни Россия, ни Бухара, ни Китай ему уже не верили.

Прибыв в распоряжение войск, я сразу, к великому своему неудовольствию, был введен Черняевым в его блестящую свиту из ученых и литераторов. Позже, признаюсь, несколько успокоился, ближе познакомившись с теми, кто бы призван освещать этот не имевший аналогов в мире «величайший» поход. Это оказались действительно люди умные и не лишенные талантов. Чего стоил хотя бы один тобольский художник Знаменский, сотрудник газеты «Искра», знавший и моего отца. Михаил Степанович организовывал выставку киргиз-казакских предметов в Санкт-Петербурге при каком-то конгрессе, а отец мой в чем-то содействовал ему.

Этот Знаменский, доставил, пожалуй, мне больше всех хлопот своей неумной любознательностью. Ему мало было срисовывать каждое чуть заметное строение или всякий приятный пейзаж, так он при этом обязательно умудрялся оказаться рядом со мной и непременно приставал с вопросами, прескверными уже оттого, что заставляли непременно при ответе задуматься.

А надо сказать, тогда мне было совсем не до бесед.

С некоторого времени я стал пренеприятно осознавать, что лодка, в которую я чуть ли не с колыбели был пересажен, плывет помимо моей воли и желания. Я незаметно для себя потерял весла из-за, ну, скажем, подчиненности армейскому племени или из-за принадлежности к избранному сословию, да мало ли почему! Ничего катастрофического в этом нет, плывя в русле, я и без руля и парусов стану генералом или самым наиглавнейшим султаном (имею в виду административный чин), но вот так и плыть меж двух берегов с невозможностью причалить по своему хотению хотя бы к одному краю, признаюсь, стало просто тошно, да и скучно. Вялость тела и апатия мыслей стали моими спутниками. Желания не было ни говорить, ни писать, ни знакомиться еще с кем-то или с чем-то.

У подошвы Александровского хребта в самом начале военного продвижения солдаты начали закладывать первое Зачуйское укрепление, что очень удивило киргиз-казакских милиционеров. Они группировались подальше от лагерей и бурно толковали между собой при этом восклицая недоуменно и возмущенно: «Орыс!..» А один бравый парень в малахае обшитом железными пластинками, лихо выкрикнул: «От такого соседства держи топор под подушкой!».

– Кажется, поминают нас, – начинал Михаил Степанович с интересом, который невозможно было игнорировать. – Я отдал бы сейчас левое ухо, лишь бы узнать, о чем они так взволнованно шепчутся, султан?

– Так.., – отвечал я. – Пытаются постигнуть психологию дружественного им народа.

– Вот вам мое и правое ухо, режьте, но скажите!

Я, оглядывая некогда сказочную землю этих давно обжитых человеком мест, сам между тем впал в недоумение:

– Тут были сады. Все вырубили, даже пенька не осталось.

– Да, только трава с красным маком и незабудками – пейзаж уже приевшийся... Но все же, султан, о чем говорят ваши казаки?

Я отвечал неохотно, разглядывая остатки глинобитного Токмака и полуразрушенную башню, у которой там и сям валялись влажные лоскуты войлока да расколота деревянная посуда:

– Они не понимают, любезный Михаил Степанович, почему русские два года ходили по этим местам и только разоряли городки, а теперь сами строят там же.

– Вот как! Интересно. Я не знал... Можно было бы и не ломать.

– И я не знал, что еще более интересней, любезный Михаил Степанович.

Выехавший из узких Токмакских ворот штаб-офицер Добровольский приблизился к нам и невесело озирался вокруг. Не удовлетворенный моим ответом, художник громко обратился и к нему:

– Скажите, пожалуйста, что за цель была разрушать Токмак и вырубать сады?

– Та же самая, что и в теперешнем походе, – ответил тот, ловко перескакивая на своем высоком скакуне через разделявший нас Токмакский крепостной узенький ров – Но не это должно занимать наши умы, господа, – загадочно добавил штабной офицер.

– А что? – не преминул тут же спросить жадный до всего и бывшего и предстоящего Знаменский.

Добровольский подтянул уздечку, заставив своего коня, пританцовывая, остановиться. Затем, предложив нам свой портсигар и прикурив папиросу, принялся весело размышлять:

– Меня, признаться, больше беспокоит развившаяся у всех нас воинственность, наверное, после надоевшей всем долговременной стоянки. И прежде всего у нашего бравого полковника. Минуты, господа, не пройдет, как он хватает за зрительную трубу и, кажется, уже сейчас готов командовать: «Всем орудиям, пли!». Вы взгляните, господа, на вон ту старуху.

У первых скошенных ворот виднелась сухая фигура слепой Бабы Яги. Ключки ее седых волос да белая тряпица на голове отделялись от темной стены, прочее же – ее полунагое бронзовое тело и разодранное рубище – было одного цвета со стеной.

– Всякий, понимающий киргизский язык, узнает от нее, что четыре дня назад все жители Токмака, узнав, что идут русские, убежали в Аулие-Ата, бросив и свои стены и все на произвол судьбы. Вот вам и вся война с Кокандом. Вот вам и «все орудия: пли!». Но боюсь, что это «пли!» по старухам и детям непременно состоится! – закончил свой монолог Добровольский,

вызвав к себе своими весьма и весьма неглупыми, но черными размышлениями симпатию.

Я предложил вернуться в лагерь, но любопытный художник стал настаивать на продолжении поездки:

– Вы были там, в крепости, господин Добровольский? Скажи же султану, что на это очень увлекательно взглянуть. Я зову, а он никак не желает.

Штаб-офицер отбросил в сторону докуренную папиросу и хмуро проговорил:

– Вам не достаточно зрелища рваных циновок и арбы со сломанным колесом, брошенных бежавшими от наступающих цивилизаторов жителями этого райского уголка? Что ж, рекомендую проехать и в саму крепость. Вы увидите там несколько живописных трупов.

– Кто же их убил, этих несчастных? – возмутился художник, хотя видно было по его лицу, что он готов поехать смотреть, скажем, для впечатлений и композиции будущего полотна «Взятие Токмака».

– Не скажу, – еще более тоскливей произнес Добровольский. – Были ли это больные, брошенные в поспешном бегстве и умершие от голода, или убитые – неизвестно. У одного нет головы, у другого объедена зверьками рука, в третьем копошатся черви. Однако, скоро обед, господа. Так что лучше подобные вещи не рассматривать, чтобы не портить аппетита.

И мы двинулись мимо городских ворот, у которых начальством было поставлено два казака в предупреждении расхищения жалких остатков, какие еще могли иметься в городке. При нашем приближении они сочли долгом лениво крикнуть вниз на солдат, забравших остовы чьей-то юрты на дрова:

– Не трогайте, ребята, не приказано.

Ребята посмотрели на них и потопали со своей ношей дальше восвояси. У этих ворот на маленькой платформе, словно на пьедестале, сидел тоже брошенный на произвол судьбы сухонький мальчик с большими черными глазами. Он мельком взглянул на нас и снова принялся с жадностью за сухари, данные ему солдатами.

Солдаты, уроженцы коренных русских губерний, как мне говорили, считают долгом принимать на свое попечение подобных подкидышей, и на привалах иной раз лишают себя последней котомки, чтобы уложить бедняг по-мягче. Если это так, то они очень мало в этом случае походят на казаков наших, киргиз-казакстанских линий.

– Аман, – крикнул Знаменский.

– Аман, аман, – весело заговорил тот в ответ на приветствие, и, колотя себя по голому пузу, заулыбался.

От края его покривившегося рта потекла густая слюна с хлебным крошевом. Штаб-офицер, предпочитая больше поглядывать на белевшие вдали горы, сказал, теперь совсем уж уныло:

– Мальчуган – идиот. Плетется за нами третий день, – и замолк, притрагиваясь пальцами к своему виску.

Видно, его, как и меня, мучила головная боль. Поторопив своих лошадок, мы, никуда не сворачивая, поехали в лагерь, чтобы утолить свою жажду горячим чаем. В дороге Знаменский, чувствуя вину за свое любопытство, ввергнувшее всех, как ему теперь казалось, в мрачные мысли, теперь пытался отвлечь нас от них:

– А мне муфтий рассказывал о той башне прелюбопытную легенду! Давным-давно тут был город...

– Верно, был, однако, не очень-то давно, – заметил Добровольский все так же кисло.

– Однако, господа, послушайте! И жил тут бай, а у него родилась дочь красавица, ну он и спросил у ученых мужей, что с ней будет? Те сказали, что умрет она от каракурта. Ну, бай и велел построить высокую башню и устроил там жить свою дочь. Все обязаны были строго следить, чтобы она не сошла с башни на землю. Только не помогло это. Принесли ей раз плодов, да недосмотрели, а там был каракурт, укусил ее, и она умерла. Этот сюжет может быть интересен для писателя, если вдуматься, то и в киргиз-казакских историях есть некий смысл, не так ли, султан?

– Без сомнения, любезный Михаил Степанович, – решил я подразнить художника. – Если, правда, допустить что и мы способны что-то осмысливать. Отец-бай засадил в башню свою дочь, опасаясь за ее девственность. И, видимо, на это были причины. Соблазнитель же, выведенный в облике мерзкого паука, не отступился. Заметьте, что он притаился в блюде с фруктами, символизирующими соблазн, сладость и сладострастие. И вот он падает на обнаженное тело девицы, замершей в истоме. Вам непременно, любезный Михаил Степанович, надо после завершения работы над полотном «Взятие Токмака» написать картину, нечто вроде..., – и здесь я назвал все так, как назвал бы рядовой солдат. – И она затмит собой «Даная» Рембрандта.

– Что вы такое говорите, султан? – надулся прямодушный Знаменский.

– Это, однако, обидно.

– Нисколько, любезный Михаил Степанович.

– Можете не извиняться.

Копившееся весь день во мне раздражение от всех этих героических эпизодов нашего «великого» похода искало выход, и ничего с собою я сделать не мог:

– Можно каракурта изобразить с черными кавалерийскими усами... в таком сатирическом духе, – и добавил совершенно серьезно. – Если этот поход изображать, то уж только так, как на лубке.

Впрочем, зря я так. Художник, любивший приключения, меньше всех, пожалуй, виноват во всем происходящем вокруг.

– Совершенно верно! – воскликнул, снова воодушевляясь, Знаменский. – Именно сатирой надо все это изобразить! Этот поход мне видится уже преступным!

Подъезжая к лагерю, можно было увидеть подле него местечко, представляющее собой некогда садик, обнесенный глиняной стеной. Теперь тут желтеют только два деревца. Остальные вырублены еще в прошлом году для поправки крепости, разрушенной одним из отрядов войск Его Императорского Величества. Там стоит полотняная палатка, прикрывающая холмистую насыпь. Это могила знаменитого батыра Джан-Карача, дожидаящаяся, когда над ней возведут каменный свод.

Джигиты из милиции спешили здесь и, отложив оружие в сторону, совершают молитву. Но не праху батыра, а двум этим чахлым деревцам, увешенным белыми тряпочками. Ведь по древним преданиям в этом садике сидел, отдыхал и стриг себе ногти святой Аулие-Ата.

Как все просто и в то же время возвышенно и мудро: люди остановили бег своих коней и совершают намаз там, где сводом мечети им служит небо, а стенами – горы. Разве не стоит совершенно искренне позавидовать им? Не нам, прочитавшим кучу философских книжек, а этим кочевникам известна реальная гармония жизни. Только они еще способны верить неписаным заповедям религии сердца. Потому что живут на родной земле и не мыслят жизни вне ее границ, а значит, любовь к ней и есть их вера. Вот тогда все неразрывно: Бог и человек, истина и дело, совесть и поступки.

Мне кажется, самым страшным итогом жизни человеческой является открытие того, что именно с тебя началось иссушение религии сердца.

Мы подъехали к палаткам и увидели солдат и певчих, собравшихся вместе. Полковой поп в своем казинетовом полукафтани и серенькой шляпе все осведомлялся, не проснулся ли наконец полковник.

– Хочется отцу духовному сегодня молебен отслужить, – заметил штаб-офицер Добровольский, снова закуривая свою папиросу, и добавил он неизвестно зачем.
– Очень кстати.

25 мая мы вышли к Мерке, к первой не разрушенной крепости на нашем пути к Аулие-Ата.

Знаменский поспешил сравнить Мерке со средневековым феодальным замком. Зубчатые стены, угловые башни действительно напоминали нечто подобное, но все мы прекрасно знали, что собою представляют эти глинобитные строения, возведенные во времена Чингисхана. Хорошему молодцу раз упереться плечом в эти стены, и останется разве что столб пыли.

С утра мы в зеленом шатре ожидаем начала исторического военного совета. Штабные разместились около длинного стола на том, что Бог послал: ранее пришедшие сидят на складных стульях, опоздавшие садятся или на бочонки или на пустые ящики с надписью «киевское варенье». Полковника все нет. Гораздо раньше пришел даже известный своей любовью поспать Знаменский. Он устроился подле меня и принялся меня же укорять на правах давнего приятеля моего отца:

– Вы мою персону совсем избегаете, господин хороший. Это не товарищески. Вы обещали зайти за мной.

– Помилуйте, Михаил Степанович, вам, художнику, совсем не будет интересно здесь. Впрочем, я заходил за вами. Но ваш денщик Алексей Федорович, как вы его изволите величать, наотрез отказался будить вас. «Извольте, говорит, будить сами, я не могу, как же я буду будить, ведь, они благородные». Я изумляюсь: «Братец, говорю, а разве благородных не будят?».

–И что же вы?

– Он так был непоколебим в своем убеждении, что я и сам, признаюсь, засомневался: можно ли будить благородных? И не рискнул.

Знаменский рассмеялся, однако укоряющего тона не оставил:

– Я был уверен, что вы отговоритесь, султан. Человек вы не злой, но ужасно хотите казаться таким. Как все же вы разнитесь с батюшкой своим. Верно он говорил, вас, султан, наш образованный брат испортил, – и смутился. – Впрочем, извините, совсем не о том хотел говорить.

Офицеры и господа ученые за столом, нисколько не обратив внимания на вошедшего художника, беседовали о своем, и речь их из повествовательной перешла скоро в полемическую.

– Это слово не русское, прежде оно не употреблялось и теперь не употребляется в языке, – слышалось с одного конца.

– Господи! Опять что-то новое, – произносится с другого. – Право, и в университет ходить не стоит, за один поход энциклопедистом станешь.

– А употребляют ли это слово московские просвирни? Они утверждают, что только от них можно услышать чистый язык., – прорезывает общий хаос третий голос из центра.

Художник снова склонился ко мне и отвлек мое внимание от общего разговора:

– Я к вам собственно с вопросом... Вчера на марше я свернул в сторону за версту... помните, день оделся в какую-то мрачную одежду, солнца нет, по небу быстро летят клочья серых туч, и растянувшийся наш огромный отряд с пушками, верблюдами и волами должно быть казался очень грозным... Я теперь понимаю, почему местные жители так отчаянно бегут от нас, лишь завидев издалека...

Мне еще нужно было просмотреть пришедшие с вечера штабные бумаги, и я прервал праздную речь восторженного художника:

– Так в чем же состоит ваш вопрос, любезный Михаил Степанович?

– Я и говорю, отъехал я посмотреть на одиноко торчавшее священное дерево, все увешенное мелкими подношениями, но по дороге одна муллушка заставила меня остановиться и срисовать ее.

– Извините, Михаил Степанович, – снова перебил я его. – Что заставило вас остановиться?

Знаменский тоже не понял меня, призадумался, а потом, сообразив, еще азартнее стал объяснять:

– Ах, да... Муллушка – это здешний могильный склеп.

– Мола, – поправил я, хотя знал по давнему опыту, что такие вариации без толку подправлять.

– Конечно, молушка. Она походила на небольшую церковь с легким куполом, с разными украшениями над дверьми и ярким фантастически изящным орнаментом изнутри. Войти в такую молушку в жаркий день – истинное облегчение. Так вот, в ней я встретил под куполом ряд нарисованных человеческих фигур, сражающихся между собой пиками. Затем шли караваны зеленых верблюдов и даже женщины, подносящие кубки наездникам. Рисунок первобытный, что-то среднее между рисованием ребенка и нашими суздальскими росписями. Каким это образом попали в молушку изображения людей, когда у мусульман это строго запрещено?

– Ну киргиз-казаки только слова, что мусульмане, даже я их мусульманее, – отвечал я ему легко на вопрос, на который давно сам искал и не находил более-менее правильную гипотезу.

Знаменский задумался над моим ответом, запутанным в достаточной степени, чтобы серьезный человек мог над ним поразмышлять от души, а отвечавший мог бежать от него. Но куда бежать?

Общий спор и шум поутих и оказалось, что ученая свита нового завоевателя Востока говорила о слове «барымта».

– А вот мы спросим у султана. Господин штабс-ротмистр, – раздался крик.
– А каково ваше мнение о происхождении слова «барымта»?

Все взоры обратились на меня и пришлось отвечать, снова прикинувшись всезнающим мужем, да не привыкать, коли всем так этого хочется.

– Само слово «барымта», я думаю, чуждо великорусскому языку хотя бы потому, что это явление чисто тюркское и допускается только нашими законами. Это не более как угон скота у провинившегося, но не желающего каяться хозяина. Нечто вроде народных судебных исполнителей. Но можно предположить, что у слов «барымта» и барышничать «один корень «бар», что переводится как «есть, взято». Не исключена и связь между «барышом» и «борышом» – долгом.

Снова поднялся хаос голосов. Ласточки из встревоженной крепости, нашедшие с ночи штабной шатер вполне удобным для себя и начавшие было лепить свои новые гнезда на его подпорках, испуганно разлетелись в разные стороны.

– Нет, как вам, господа, это правосудие самовольными действиями! Да творящих такое правосудие нагайками надо сечь и розгами следует драть! – стало раздаваться теперь с двух краев стола.

– Разумеется, против этого взгляда на вещи спорить нельзя, оно существует у многих еще, вот, например, у плантаторов. Но я должен заметить, что у киргиз-казаков телесного наказания не существует и не существовало, – неслоь другого.

– Ну, вот вещь! Это новость!

Ласточки попытались возвратиться, но хор стал таким громким, что они совершили облет над нашими фуражками и исчезли совсем.

– А если теперь существует в степи культ нагайки, то он внесен нами, – продолжал новый оратор, выдержав очередной залп голосов противников.

– Ну да, сказать вы можете, докажите!

– А в доказательство я вам укажу на приказ областного губернатора – генерала Клейста. В нем меж всяких проектов об улучшении быта кочевников есть и о нагайках.

Здесь ко мне вновь склонился художник и тихо, дрогнувшим голосом рассказал то, что меня просто взбесило:

– Вы помните, султан, того мальчишку-идиота? У Токмакской башни? Он шел за войсками, и солдатики его подкармливали, а вот казаки на своем мудром совете решили, что он только притворяется дурачком, а на самом деле лазутчик, и пришибли насмерть.

В эту минуту в штаб явился и наш главнокомандующий – полковник Черняев. Разговоры разом закончились, но многие были еще так разгорячены, что еще некоторое время с величайшим недоумением молча взирали на человека с полным на то правом прошедшего между ними с видом римского консула и неприступно вставшего у торца стола.

Черняев, нисколько не смущаясь тем, что битый час заставил столько людей ждать себя, как истинный полководец склонился над расстеленной на столе картой и сурово проговорил:

– Доложите дислокацию противника, господин штабс-капитан.

К карте подошел хорошо знакомый уже мне Добровольский и браво доложил:

– В крепости Аулие-Ата по последним сведениям 1000 человек гарнизона, сколько киргиз-казакских джигитов – неизвестно. Вооружены кто чем, у коменданта только 30 ружей, две пушки, по нашим сведеньям вот такие, – офицер показал руками величину в аршин. – Одна треснувшая, горохом не выстрелишь.

Черняев нахмурился то ли от грозного числа кокандцев, то ли от последней фразы господина Добровольского. Возможно, последовал бы выговор, но тут в разговор на непринужденной и товарищеской ноте вступил зоолог и горный офицер Северцев:

– Между прочим, господа, жители Аулие-Ата уверены, что царь русский разрушать Аулие-Ата не позволит, точно так же как и Туркестан. Придут-де русские, как в прошлом году, посмотрят и уйдут. Действия они наши считают совершенно противоправными и послали посольство с жалобой к оренбургскому генерал-губернатору. Полковник сердито взглянул на Северцева и недовольно спросил:

– Откуда это вам известно? Что за чушь!

– Как откуда? Об этом толкует каждый встречный киргиз.

Наступило молчание.

Удивительные метаморфозы случаются с людьми. В самом начале экспедиции Черняев представился мне человеком отменных для полковника качеств. Был в меру строг, однако не был лишен и либеральных черт, по крайней мере, позволял собеседнику высказываться на любой предмет и в любом ключе. Любил порассуждать на отвлеченные темы и подчеркивал, что наша миссия – это прежде всего братская помощь страдающим народам. Теперь же он выглядел просто самодовольным солдафоном и, кажется, гордился этим. Бедняга, видно, и он заразился скоропалительной болезнью имя которой «завоевательство», а симптомы ее, как известно, весьма дурны.

Черняев откинулся от стола, прогнулся спиной и, – Бог мой! – заложил совсем по-наполеоновски руку за отворот кителя.

– Штабс-ротмистр, – обратился он ко мне, всем видом показывая, что замечание о каких-то попытках аулие-атинцев закончить дело миром его совершенно не касается. – Вы разобрались с письмами?

Я, особо не выбирая из пришедших бумаг, прочитал одну – письмо манапов дикокаменных киргиз:

– Услышали мы, что идут русские, и просим принять нас в подданство царя белого, желаем всю жизнь есть соль царскую. Мы прежде были подданными хана и ели его соль, но власть хана ослабела, просим охранять наши пашни от потравы. Пашни царские и скот наш – скот царский. Если мы будем хорошими подданными, то жалуйте нас, коли худыми, то наказывайте.

– Знаю я этих пройдох. Ни им, ни кавказцам веры нет. Только стремительное наступление укрепит наше положение в этом крае! – воскликнул грозно Черняев.

– И все же, – возразил, стараясь сдержать голос, – вся наша политика на мусульманском Востоке до сих пор держалась на добровольных начинаниях. В российское подданство киргиз-казакские и каракиргизские рода и ханства вступили путем мирных договоров, и за какие-то полвека без единого выстрела мы установили новые границы чуть ли не на Памире.

Черняев, словно возжелав немедля сам удостовериться наличии границ на Памире, схватился за свою смотровую трубу, однако, к нашему удивлению, принялся использовать сей тонкий оптический прибор противно его прямому назначению.

– Полвека! – вскричал он, размахивая трубой, как дубинкой. – Как легко вы, султан, распоряжаетесь временем!

– Так же легко, как другие, намерены распорядиться судьбами целых народов.

Наш наполеончик побагровел лицом и, кажется, надумал замахнуться и на меня своей трубой.

– Вам следовало бы подумать...

– Что я и делаю, но, кажется, один.

Черняев смог и на этот раз сдержаться и, оглянувшись на внимательно следивших за нашей дискуссией офицеров и ученых, симпатии которых явно были на моей стороне по многим на то причинам, как человек не глупый, успокоил в руке смотровую трубу и смягчил тон:

– Мы в походе, а в бою часто не до взаимных упреков, штабс-ротмистр...

– Господи, какой ещё бой? – со смешком на устах воскликнул наш любезный Михаил Степанович.

В эту минуту раздались орудийные залпы. Я со всеми офицерами вскочил и с недоумением огляделся. Быть того не могло, чтобы кокандцы вдруг так близко могли подойти к нашему лагерю, да и не было у них никакой полевой артиллерии. Лишь один Черняев сохранил спокойствие и на случившуюся между нами тревогу ответил отеческой улыбкой, снисходительно промолвив:

– Успокойтесь, господа. Это наши пушки.

– Как наши? – с еще большим изумлением проговорил Добровольский, в штабные обязанности которого вменялся и ход полковых орудий.

Полковник взял свою зрительную трубу и направился к выходу палатки, на ходу бросив:

– Я приказал дать несколько залпов по крепости Мерке.

Не помню кто, кажется, Северцев, застонал, словно орудийный снаряд разорвался у него где-то под ребрами, и сказал:

– Да вы с ума сошли! В этой глиняной дыре Мерке, кроме пастухов и коменданта с его гаремом, никого нет. И комендант сбежал бы, да боится, как бы ему хан за это голову не отрубил, только на наш плен и надеялся, бедняга!

Полковник с улыбкой на лице обратил свой взор на зоолога:

– Господин Северцев, ваше дело – наука, наше – ратное и поверьте..., – вкрадчиво заговорил он.

Но Северцев и не подумал поклоняться Марсу и возмутился еще больше:

– Я, признаться, поражен вашими действиями, господин полковник, и думаю, простая логика не менее важна в военном деле, чем в науке. Штабс-ротмистр зачитал нам письмо манапов, а таких посланий достаточно. Следовательно, если племена дикокаменных киргиз и другие народы

придут к нам добровольно и у нас хватит минимального терпения спокойно дожидаться этого, то надо думать, и кокандский хан, лишившись своих подданных, действительно без единого выстрела с нашей стороны легко падет.

Северцева поддержал писатель и этнограф Южин, и тогда полковник завопил... Более всего на свете мне противны всякого рода скандалы, выяснения отношений, ажиотаж, когда люди не просто перестают понимать друг друга, но и не слышат, что выкрикивают оппоненты. На достаточно сдержанные упоминания Добровольского и Знаменского о Христе и его заветах, Черняев разразился такой бранью, что всех присутствующих взяла оторопь. Прежде всего, он объявил всех нас, сибиряков, в интриганстве. Якобы мы с омским генерал-губернатором сговорились всячески вредить ему, в силу того, что Император доверил петербуржцу, а не нам миссию умиротворения Коканда, сиречь завоевания. И что он имеет свои инструкции на предмет как вести войну и нисколько не намерен подчиняться омским завистникам и...

Нет, увольте описывать подобные сцены. Единственное, что следует сказать, дабы не оборвалась линия повествования, мы немедля и на удивление дружно представили ему ультиматум: если он не откажется от таких варварских, в духе Кортеса, методов приведения в подданство Империи народа, который сам желает такого исхода, мы покинем его лагерь.

Черняев категорически отказался принять наши условия. Впрочем, чему удивляться: человек поставил себе цель добыть под свой зад генерал-губернаторство, а как – это, понятно, было точно обговорено им со своими невскими покровителями. Уверен, что придворные чиновники считали, что России следует установить свои новые южные границы непременно орудийными залпами, кулаком и страхом, чтобы разом продемонстрировать всяким бухарским эмирам да авганским шахам тщетность их любых возможных ответных шагов и заранее отбить у них охоту соваться сюда.

Пока все выговорились, откричали свое, прошло времени достаточно, что бы трижды с боем взять Мерке, Впрочем, лучше без боя – глинобитные дувалы от орудийных снарядов дают такую пыль, что отступать от неё придется до самого Омска. И надо же – конечно не от моих мыслей – вдруг явился есаул с окровавленным лбом и сдавленным голосом попросил пить.

– Что там? – вернулся к своей полководческой роли Черняев, с раздражением наблюдая как казачий офицер пьет, обливаясь, из большого ковша.

Есаул вылил остаток воды на свое лицо, отчего на нем появились красные потеки.

– Виноват, Ваше превосходительство, – офицер вытянулся и тише добавил.
– Вошли в городские ворота, но здесь с северо-запада наскочила конница кокандцев... Никак не ждали.

– И что?!

– Отступили. Остереглись быть запертыми на улочках городка.

– Как! Разве это возможно! Отвечать! Как случилось?

– Виноват, Ваше Превосходительство... не могу знать. Господин подполковник говорил.., – лепетал измученный курьер. – Говорили Садык сам её привел...

Вот на сцену явился и мой брат султан Садык.

После гибели известного мятежного хана Кенесары, его сыновья жили при туркестанском хакиме, где обучению грамоте предпочитали упражнения по ружейной стрельбе и джигитовке, а по достижению совершеннолетия все поступили на военную службу к кокандскому хану. Садык за оказанное им удаление скоро получил чин пансат-басы и под его началом всегда ходило от 500 до 700 отчаянных киргиз-казакских рубак. Однако большей частью Садык служил советником при командующем кокандской армией, так как знал неприятеля с севера более всех других ещё со времен, когда сопровождал своего отца в боевых походах. Ещё известен был султан Садык тем, что, как говорили солдаты: «Его пуля не берет, чалма на нем заговоренная». В бою с пехотным полком, наступавшим на Чимкент с запада в местечке Ак-Булак, картечь и плотный ружейный огонь положил на землю мертвыми несколько сот воинов муллы Алимкула и только Садык с зеленым знаменем в руке простоял с час в сотне шагов от русской линии. Солдаты стреляли в него так ожесточенно, что от полотна стяга остались лишь лоскутки. Но Аллах сохранил султана невредимым, пока Алимкул приказом не отозвал его назад.

Генерал Веревкин год назад осадил Туркестан и вел подкоп под городскую стену с восточной стороны, чтобы взорвать её порохом. Видя, что кокандский военачальник в панике лишь курит опиум и не знает как предотвратить взрыв, Садык же со своими джигитами ночью просто перерезал всех тех бедолаг, которые охраняли туннель и работали в нем. И взял в качестве трофея 30 ружей и весь инструмент – хоть пальцем копай.

Имя султана Садыка произвело на полковника не самое радостное впечатление, но как не парадоксально, прозвучав, действенным образом помогло ему подавить бунт на корабле. Все приняли озабоченный вид,

военные отправились в свои части. Только художник и зоолог согласились с моим афронтом и в знак протеста отказались от дальнейшего участия в войне, предлагая и мне сразу ехать в Омск или Петербург, где немедля разоблачить новорожденного тирана. Однако я отказался, через день, отделившись и от них по направлению в знакомый мне Заилийский край.

Господа, что мне ваши столицы? Да, я был глуп, еще лишь день назад мечтая о Петербурге, но знаете ли вы, как обильны заилийские реки османами, маринкой, а Талгар, кроме того, – судаками. В горах эти реки образуют красивые водопады и там плещется форель, а киргиз-казакам до них и дела нет! Все твое.

К самой Или исчезают обильно растущие в предгорьях малина, барбарис и смородина, не растут абрикосовые деревья, зато среди простого тростника – чия, курая и камыша водятся тигры, рыси и изредка леопарды. Шкуры их охотники продают русским за 20 рублей серебром, так что как-нибудь обойдусь и без вашего жалованья, тем более, что я уже отчислен из Азиатского департамента. Я уже не говорю о возможностях охоты на архаров и красных лисиц и прочей мелочи вроде зайцев. А птиц там просто бесчисленное множество, лебеди и журавли проводят на Или зиму. Так неужели и я там не перезимую?

В ответ на отказ продолжить войну с генералами мои соратники по протесту сразу же обвинили меня в отступничестве, опять и опять призывая к немедленной борьбе за правду, честь и справедливость. Сами они ни за что не отступят, а вот якобы мое отсутствие в их рядах скажется самым неблагоприятным образом. Я, видите ли, был облакан Императором и имею связи в министерствах, а Черняева без петербургских знакомых не сразишь.

О Господи, причем здесь Черняев?

Господа, я не правнук великого хана, не адъютант генерал-губернатора, не герой кашгарской экспедиции и не деятель Военно-ученого комитета Генерального штаба, а о некоем членстве в Географическом обществе я уже не говорю.

Я тот мальчик-идиот, которого следует прирезать за то, что он непонятно как и неясно зачем существует и таскается там, где ему не положено.

Пусть обвиняют меня в отступничестве от борьбы за правду, честь и справедливость. Хорошо родным детишкам жалится царю-батюшке. Я же – приемыш ему, не взирая ни на какие мои чины, связи, заслуги перед странными сейчас для меня учеными комитетами и обществами, Генеральными штабами и верноподданными царю другими султанами и

ханами с майорскими погонами. Не хотите признать меня сиротой, значит я теперь никто. Только голая степь кругом и путь в никуда. И мы разъехались в ней в разные стороны.

Прожито тридцать лет, жизнь промелькнула как метеор.

Но как бы ни были скверны мои обстоятельства, я несу свой крест, как Иисус, но только с ропотом.

Но вот вопрос: что предпринять с сердцем, которое болит и болит? Печально размышляя подобным образом и горько сожалея, что не умею расплакаться от жалости к самому себе в этот как нельзя лучше подходящий случай, я увидел на дальней каменистой сопке пожухлой степи того самого мальчишку-идиота, которого, говорили, умертвили казаки. Он стоял совершенно один и не двигался. Крайне удивившись его появлению, я направил коня в его сторону, но когда въехал на вершину, то нигде не обнаружил вдруг исчезнувшего ребенка. «Показалось», – решил я и надо же! в версте от себе на уже другом холме опять увидел все того же побирушку. Он по-прежнему стоял один и смотрел в мою сторону. Теперь я двинулся к нему скоро, рысью. Но этот маленький бродяга ещё раз исчез. «Ну и черт с ним. Совсем мне он ни к чему», – решил я, правда, в сильном замешательстве оглядывая вокруг себя вечернее пространство. И увидел. Его же. У каких-то еле заметных вдалеке развалин, надо думать средневекового замка, которых много в близь Кулана. Но он не мог за такое короткое время так отбежать, учитывая, что я преследую его уж не менее получаса. Следовательно, он мне мерещился в сумерках, если к тому же взять во внимание и мое нервное состояние. Однако стены разрушенного строения мне показались удобными для предстоящего ночлега и я, не спеша, поехал к ним, зная наперед, что там никого не встречу. Каково же было мое удивление, когда там под полуобвалившимся куполом я увидел человека моих лет, лежавшего навзничь на земле и призрака, за которым я только что гонялся. Здесь следует уточнить, что чувства мои были поражены не видом поднадоевшего мне приведения заблудшего недоразвитого умом сорванца, а тем, что я как-то сразу узнал в лежавшем мужчине Садыка. Он приподнял голову, взглянул на меня и, кажется, тоже узнал. А ведь мы встречались с ним только раз, когда нам было то ли семь, то ли восемь лет. За время очень короткой встречи и разговора наших отцов в каком-то особенно безлюдном урочище, я тогда прокусил ему ухо, а он расцарапал в кровь все щеку. Пинки и зуботычины в счет не идут.

Сейчас Садык был ранен в грудь, и пуля осталась там. Я перевязал его и удобно переложил на конскую попону. За всю ночь мною было сказано всего

несколько фраз, несколько им. О том, как и в каком сражении он был ранен я узнал гораздо позже.

После конфуза при взятии Мерке, Черняев лично возглавил свои войска.

Двигаясь уже на следующий день от Мерке к Таразу, он трясся в седле впереди пехоты в сопровождении офицеров и больше сотни человек конницы. Садык же с отрядом приблизительно в шестьдесят человек наблюдал за передвижением его колонн. Так случилось, что на пустынной дороге появился пеший странник. Генерал послал вперед двух казаков захватить его для расспросов. Султан Садык, заметив это, не менее стремительно отправил за ним своих двух воинов. Видя такой маневр, полковник выслал ещё четверых, то же сделал и Садык. Эти шахматные передвижения продолжались до тех пор пока и эта и другая сторона не отрыли стрельбу и не поскакали навстречу к друг другу всеми силами. А сойдясь лицом к лицу, вступили в схватку на саблях и батиках. На каждого садыковского джигита пришлось по двое вышколенных драгун и, может быть, они не погибли бы все в том бою, если бы ещё в миг начала атаки, меткая пуля не сбила Садыка с седла, и он не остался бы лежать без сознания, как всем показалось, убитым, в стороне.

А как он оказался в пятидесяти верстах от своего падения в кулановских руинах, я так и не узнал никогда. Не мальчишка же, который оказался вполне телесным и ужасно сопливым, перетащил его сюда. Хотя здесь стоял и конь Садыка... Но все равно, не мог он поднять раненого мужика на седло. В общем, мистика какая-то, но в наших степях со времен Адама и Евы случались вещи и более странные, так что не стоит эти тайны тщиться разгадывать, а то можно самому умом повредиться.

Садык понимал, что он уже не жилец на этом свете. Кусок свинца застрял возле его сердца и рано или поздно должен сделать свое черное дело. Чтобы жить, он должен был лежать неподвижно. Как только он вставал и делал несколько шагов, возникала боль и кровь лилась из горла. По бледному лицу видно было, что не смерти страшится он, а того, что его найдут и возьмут враги. Видимо ещё в раннем ранимом возрасте на него крайне тяжелое впечатление произвела весть, что дикокаменные киргизы отрубили его отцу голову, а царские власти возили её для опознания по всем городам и штабам. И тут мне пришла в голову дикая, надо признаться, циничная мысль.

Я предложил Садыку поменяться судьбами. Я готов был перевезти его в моей форме и под моим именем в тезековский аул, где меня ждали как жениха султановской сестры. Аллах милостив, быть может в заботе новой родни выживет, протянет более моего на этом свете. Не принять меня даже в виде

умиравшего от раны Садыка и отказаться от свадьбы для султана Тезека в силу одной, получившей уже огласку причине, было совершенно невозможно. А так как я решил жениться без отцовского благословения, я был уверен, что никто из Валиханидов – потомков хана Уали, не приедет на свадьбу. Включая сюда и мою мать и её братьев.

1 ноября 1782 года под грохот артиллерийского салюта и звуки литавр с принятием ханом Уали подданства Российской империи Киргиз-казакское государство окончательно потеряло ставшую уже призрачной независимость. После смерти последнего хана правящая киргиз-казакская элита окончательно разделилась на пророссийскую партию и партию Ак-Арка. На стороне нашего дома стали султаны Джантюрины и Букейхановы, а вот лагерь противников возглавили султан Губайдулла и сын хана Уали от старшей жены – мой родной дядюшка султан Кенесары. И здесь свою самостоятельную политическую игру начинает молодая, младшая вдова хана Уали ханша Айганым. Она знала несколько восточных языков, интересовалась русской культурой, переписывалась с Азиатским департаментом Министерства иностранных дел и Сибирским комитетом в Петербурге. Под давлением ханши Айганым главным управлением Западной Сибири было принято в 1831 году решение запрещающее линейным казакам занимать места, принадлежавшие киргиз-казакам пяти волостей Кокчетавского округа и проводить рубку леса и сенокошение.

Сегодня и мы, Валиханиды, вряд ли способны ответить на вопрос что двигало ею: личные амбиции или материнское желание обезопасить и самым благоприятным образом устроить будущее своих родных детей. Но как бы там ни было, ханша Айганым сделала верный выбор – в любом случае судьба Киргиз-Казакстана геополитически в будущем будет на столетия связана с Россией. В ноябре 1822 года, как мне позже из документов канцелярии омского генерал-губернатора стало известно, ханша Айганым начала долгую переписку с Главным управлением Западной Сибири. Далее дело о водворении вдовы хана Вали, как он стал именоваться в казенных бумагах, будет рассматриваться в Санкт-Петербурге влиятельнейшим графом Аракчеевым и в завершении самим Императором.

Перед экспедицией в Кашгарию, к краю Китайской империи, в Семипалатинске, я несколько дней скучной осени провел в компании своего друга Демчинского, и через него познакомился с Семеновым за свои географические подвиги в горах Тянь-Шаня и науку награжденным

государем почетной фамилией – Тянь-Шанский. Так вот, мы детально и секретно, чуть ли не под письменным столом, укрывшись картами Центральной Азии, обсудили мою возможную опасную поездку и придумали план. Кроме прочего, уже за обеденным столом с непременным провинциальным самоваром Пётр Пётрович доказал мне, что не даром есть хлеб скрупулезного и знающего даже излишне востоковеда:

– Знаете, султан, что дворянская усадьба, где вы родились, с домашней мечетью и с залом, где орган играл до двенадцати пьес, и стоимостью в 5 тысяч золотых рублей, была построена в Сырымбете по личному указанию благодетеля нашего и царствующего батюшки–императора Александра.

Принимая во внимание записку ханши Айганым генерал-губернатор Западной Сибири Вильяминов указывал в приказе: «Во-вторых, так как служащие в Кокчетавском приказе старший султан и заседатели от киргиз-казаков переслужили уже положенное по уставу время, то для пресечения домогательств, что самое было уже доказано на опыте, даже члены приказа и старший султан отнюдь не вмешивались бы в выбор, а что бы при сем случае действовал один только глас народа». Удивительно, но женщина, не имевшая ни малейшей возможности проникнуть в тайны имперской канцелярии и не имевшая для этого соответствующего юридического образования, тонко разбиралась в хитросплетениях имперского законодательства о выборах, точно указывая в своих требованиях на соблюдении Главы первой, отделения второго с параграфа 25 по 50. Вызывает уважение и продуманный до конца подход ханши Айганым в деле производства хлеба. Она не ограничивается просьбами прислать ей высокосортные семена и земледельческие инструменты с человеком, хорошо знавшим науку землепашества. Она желает сооружения для неё мукомольной мельницы, на которую, вследствие неожиданности просьбы, начальству приходится изыскивать средства из внебюджетных источников.

Бабушка устроила, переговорив, как благородная барыня, с омским областным начальником де Сент-Лораном, в Казачье войсковое училище не только своего сына султана Чингиса – моего отца, но и пасынка султана Торезана. Опасаясь, что дети могут быть в казарме накормлены пищей не соответствующей их званию, она поместила их жить в собственном доме вдовы омского переводчика с платой 40 рублей с каждого. На эти деньги, как рассказывал уже в старости отец, ушлый переводчик тайно от начальства содержал свою вторую семью. Через полгода едва овладевшие

русским языком ленившиеся степные барчуки Чингиз и Торежан стали жаловаться приехавшей проведать их родовой матери: «Хозяйка одним ржаным хлебом нас заморила, к чему мы не привыкшие. Слуги таскают нашу одежду, износили, притом белье не стирается неделями. Но важнее всего в училище оттого ходить и учиться мы не в состоянии». «От чего не противились?!», – возмутилась ханша Айганым, больше всего желая в сию минуту не детские жалобы слушать, отдохнуть с дороги. «Мы жаловались переводчику Дабшинскому, чтобы он кому следует о переводе нас на другую квартиру донес, но никакого удовлетворения не получили», – слезливо отвечали недоросли. – Мы благородной крови, а тут... разбой! Хотим снова писать жалобу». Ханша ответила: «Знайте, что в Империи чернила сильнее любой благородной крови», – и затем совсем рассердилась ханша. – Но благородная кровь против кляузных чернил!». Чингиз поспешил за дверь: «Я в лавку за чаем и булкой для вас, мамаша. Здесь они сладкие!». Он был смышленей единокровного брата и хотя дослужился только до звания полковника, как мечтала мать, прожил свою жизнь удобно и славно, как турецкий султан: имел и власть, и хорошую семью. И все потому, что с тех молодых пор не любил чернила.

В случае кончины лиц, игравших значительную роль в жизни Российской Империи, делалось официальное сообщение. Трагическая весть о нашей героине звучала так: «19 ноября 1853г. в четверг, или в Мухаммеданский день бисембе, во время намаза скончалась вдова покойного хана Средней киргиз-казакской Валия Айганым, урожденная Саргалдакова, на 70 году от рождения. Предана земле в пятницу, или джуму, 20 числа. Имела девять сыновей, из которых двое умерли в детстве, а два в 20 лет».

Души мусульман, умерших во время молитвы – намаза, сразу попадают в рай.

Бабушка моя Айганым – дочь главного имама при дворе хана Абылая Саргалдака. Саргалдак-кожа являлся прямым потомком Али. Значит и во мне течет капля крови сподвижника пророка Мухамада. К тому же и шейха Ибрагим-аты – младшего брата основателя суфийского братства Йасавийа ходжи Ахмеда Йасави. Уверен, бабушке моей Айганым с такими родственниками хорошо в раю.

Природа так распорядилась, что мы с Садыком были одного роста, одного телосложения и если бы я отрастал бороду, то и лицом мы оказались бы схожи. Но главное, мы были оба из тех чингизидов, которым

по крови передались тонкие, маленькие, словно женские руки Чингиз-хана, что встречается среди нас крайне редко.

Я же мог продолжить его дело в его роли на среднеазиатском театре войны.

Садык молча выслушал меня, и так же молча протянул мне свою озарившуюся печать из зеленого камня. И сказал:

– Спасти его.., – и показал глазами на сироту, устроившегося рядом с нами и с глупой улыбкой уставившегося куда-то мимо нас.

Он не просил о своих неизвестно где теперь находившихся сыновьях и я должен был, по меньшей мере, изобразить на своем лице недоумение. Садык угасающим голосом продолжил, несколько не смущаясь аргументации своей нелепой просьбы:

– Теперь он хан...

Несмотря на высокопарный стиль, коим были произнесены эти три слова, я удержался от смеха в продуваемом всеми ветрами приюте умирающего оракула, но... вдруг расхохотался, да так, как не смеялся уж давно. Пожалуй, даже с детства.

Надо думать, Садык, завещая трон этому заблудшему отроку, имел ввиду сказку о Скрытом хане, появившуюся после смерти Аблай-хана. Будто бы мудрый монарх, умирая, сказал, что его сын станет последним ханом на киргиз-казакском престоле. А после последнего хана появиться Скрытый хан, которого никто не узнает в лицо, но жить он будет всегда среди нас. И он или его потомки вновь создадут Великое Киргиз-казакское ханство, где люди будут жить гордо, сытно и жаворонки опять будут вить гнезда на спинах овец.

Raison этой легенды был в том, что сам Аблай-хан, прежде чем султаны и бии всех родов подняли его на белой кошме над собой ханом, в детские годы несколько лет сиротой скрывался под чужим именем, работая подпаском у какого-то бая. Это одно. Второе, что естественней и правдоподобней – Садык, конечно же, просил меня стать хранителем жизни хотя бы одного его сына. Его собственная семья теперь обязательно станет предметом торга сильных мира сего. Киргиз-казаки никогда не высказывают своих сокровенных просьб прямо, считая такое стыдным. При этом, конечно же, был намек на то, если ему, сыну Кенесары, не суждено теперь стать ханом, то мне и подавно.

Потом, думаю Садык настолько ненавидел врагов своих, что согласен был воевать дальше, используя даже другого вместо себя.

Два года назад братья Садыка султан Тайчик и султан Ахмет, служившие как и он Коканду, настолько разочаровались в своей восточной политике, что решили перейти на службу России, где им обещали имущество и унтер-офицерские чины. Они уговаривали идти с ними и Садыка, на что он им отвечал:

– Я не пойду к русским, если возьмут Коканд, перейду в Бухару. Если возьмут Бухару, я пойду в другое мусульманское государство. Таких много...

Я все никак не мог остановить свой хохот, принимавший все более истерический характер. Вдруг наш будущий спаситель и правитель страшно завыл, вытягивая шею. От этого жуткого звука у меня перехватило дыхание. Даже у не убоявшего самой смерти Садыка в это мгновение мелькнула гримаса страха на лице. Через секунды мы услышали в ответ из глубины поднимавшейся из мрака степи волчий вой.

Через день я внес в юрту султана Тезека Садыка, одетого в штабс-капитанский мундир, и, не ответив на немой вопрос тезековских глаз, поехал на юг.

Я оставлял за своей спиной донельзя разоренную степь татарами-ростовщиками, за щепочку чая весной отнимающими осенью у кочевника не менее барана, и угнездившимися во всех даже Богом забытых уголках русскими казаками, у которых украсть у киргиз-казака быка или лошадь считается молодечеством, так что офицеры даже не делают выговоров нижним чинам, а частенько и сами опустошают аулы. Есть даже господа, которые составили себе этим манером знаменитость, например есаул Бутаков. Полковник Абакумов ограбил Копальский округ до того, что почтеннейшие старшины в орде ездили на единственных клячонках. Карьеру свою Абакумов начал еще в знаменитые времена Кенесары, когда русские отряды долго преследовали по степи восставшие рода этого султана. Тогда, лишившиеся источника доходов от войны после гибели Кенесары, наиболее разбогатевшие удалились на казачью линию и там обустроили свою жизнь. Полковник Карбышев в Омске купил свечной завод, Волков занялся торговлей, а Абакумов же остался в степи, грабя все до чего мог дотянуться.

Но кто бы из них, где бы ни был, теперь я уже по другую линию от них.

Золотой песок времени... Золотой песок безвременья... Золотой песок иного времени... Вывести отсюда такие огромные тюки времени возможно разве что

на слоне. На деле же вся протяженность поземных дорог была покрыта обычным кварцевым песком. Я наклоняю голову и ищу в подземном полумраке глазами следы слонов... Наверное, схожу с ума.

Золото, рассыпанное самородками по каменистому дну высохшей, должно быть еще во времена Македонского, речушки в глубине хивинской пустыни, желтело капельками меда. Такая *fix idea* в моем отупевшем мозгу торчала не случайно: уже три дня как я и Осман – беглый русский солдат Васильев, шли через пески без воды и провианта. Я жадно сунул в пересохший рот драгоценный камешек и даже попробовал, ломая зубы, его разжевать. Так и сидел, посасывая золотой самородок, а Осман Васильев все полз и полз на коленях по блестящему руслу и собирал адский металл. Да и я набрал его уже порядочно, в оба кулака. Можно было снять халат, придуманный тюрками почему то без карманов, и ссыпать в него золотишко, но солнце так пекло, что сама мысль о сожженных плечах и спине ... Впрочем, что лукавить. Я так и сделал, но выдержал недолго. Теперь золотая кучка высилась прямо передо мной, и я зачем-то время от времени прикрывал ее согнутой рукой, хотя кроме меня и Османа Васильева вокруг на десятки верст не было ни одной живой души.

Новоявленный мусульманин Осман командовал артиллерией в моем уже несуществующем воинстве и с дедовскими пушечками должен был вместе с ним лечь костями перед продвигавшимся к Хиве русским корпусом. В сей час мы с ним были последними, кто, как говаривал один французский маршал, выполняли самый сложный военный маневр – отступали. Хивинцы о нас забыли, а пехотинцы во главе с Его императорским высочеством Великим князем Николаем Константиновичем должны быть уже пили воду из Сарабакупя, питаемого разливами Амударьи почти у стен Хивы.

Первые посланцы хивинского хана появились в Москве при Иоанне Грозном. Они ли начали говорить о золотом песке, устилающем дно Амударьи, неизвестно, но сия легенда оказалась на редкость живучей. Через пару столетий с тревожной вестью о том, что хивинцы, де, с умыслом скрыть свое золото засыпали каспийское русло реки и отвели Амударью в Аральское море, прибежал в Астрахань туркмен Ходжа Нефес. Он подружился в городе с князем Самоновым, уроженцем гилянским, принявшим христианскую веру, и вместе они отправились в Санкт-Петербург к Петру Великому бить тревогу. Предложение их донельзя было заманчиво: пойти вместе с туркменами и завладеть Хивой. По странному совпадению, в это же время прибыл в Москву

сибирский губернатор князь Гагарин с представлениями о песочном золоте Малой Бухарии. Все они вместе да князь Бекович-Черкасский, лихой кабардинец, составили компанию. К ним переметнулся посол хивинского хана Ашур-бек и сам предлагал построить на восточном берегу Каспия укрепление на 1000 человек гарнизона дабы добраться до речного золотишка. Ко всему прочему, Петр Первый хотел ближайшего пути в Индию для покупки в ней попугаев и барсов. Кончилась вся эта авантюра тем, что Бековича-Черкасского и всю его военную экспедицию хивинцы перерезали в песках.

Одно время хивинцы звали править ими киргиз-казакских султанов из Младшего жуза, но те как приехали в одном парчовом халате в эту древнюю столицу, так и уехали из него в том же одеянии, не прибавив к своим узорам на обшлагах ни одной золотой ниточки. Через этих пророссийски настроенных правителей и заезжих англичан да капитанов Муравьевых, все пытавшихся в строго научных целях исследовать этот край, узбеки упорно твердили, что нет у них никакого злата ни в сундуках, ни на дне реки, ни вдоль неё. Однако ж дерзость хивинцев простиралась так далеко, что, несмотря на свое долготерпение, Россия несколько раз решалась наказать их. Два раза в 1801 и 1804 годах завладение Хивой было высочайше велено Павлом и Александром Первым, но смуты в Оренбургском крае не позволили. Прежде надо было пройти без урона киргиз-казакские степи, и генералу Перовскому этот подвиг удался. На севере Арала он взял городок Ак-мечеть. Впрочем, самой верной дорогой в Среднюю Азию был Ташкент. Вот почему поход генерала Черняева в Туркестан и Тараз был предопределен. Зная это, я и шел на огонь, перебираясь из одной страны в другую, но на этот раз по своей исключительно воле.

Мы обычно посмеиваемся, поглядывая на то огромное значение, кое женщины придают фасонам своего платья. Но стоит обратить взор и на себя. Стоит мужчине сменить партикулярный сюртук на мундир и вся сущность его меняется. Вчера мы, казалось бы, не способны обидеть и мухи, сегодня в военной форме готовы идти убивать. Что и происходит. Более того, даже разные погоны на плечах могут изменить человека, так что он, пожалуй, и в зеркале себя не узнает. Особенно, если они меняются на знаки чужой армии. Прежде я никогда бы не подумал, что оружие и другая соответствующая облику киргиз-казакского сардара атрибутика таким скорым, магическим образом повлияет на меня. Теперь на моем плече блестели три золотых шнура командира войск Кенесары, о котором еще помнили живо. Теперь я чувствовал себя не ведающим европейских правил воеводой кочевого государства, за

которым вот-вот готовы стать полчища батыйевы. Вот что значит преемственность крови. Тут не до шуток. Мое сознание, вдруг сузившись, стало как летящая стрела. В нем сохранилось лишь одно: пришпорить коня и жаль, если кто-то попадет под его копыта. Такова значит будет его планида.

Скоро я был на берегу Сырдарьи. И как судьба, мне навстречу бежала война. Толпа людей устремилась мимо меня с криками и плачем в пески. Силой остановив одного беженца, я узнал, что к реке вышли русские казаки и грабят всех, кто попадался им на пути. Я выехал на бархан и увидел, как сотня героев гнала перед собой гурт верблюдов, нагруженных тюками и разный скот. Притаившиеся за мной киргиз-казаки молча следили за ними, страшась одновременно и скорой гибели от пуль, если вдруг решаться силой вернуть свое добро и долгой смерти от голода, если так и останутся лишь следить глазами, как уходит от них с захватчиками то, что должно уже вариться у них в казанах.

Когда я читал о походах Суворова или об Отечественной войне, то желал победы русскому солдату над французами. Когда присутствовал в споре сибиряков с росейцами, то желал, чтобы мои земляки переспорили москвичей с волжанами. Но когда русские казаки принимаются грабить киргиз-казаков, я не в силах не встать на сторону моего народа. Здесь как бы одна любовь вставлена в другую, другая в третью... Вроде того, как ирбитские сундучки – маленький вложен в большой, тот в еще больший. И не моя вина, что теперь все крышки сундуков раскрыты и ветер выметает из них и добро и хлам, разделяя все.

Используя прием «величественной отстраненности» своего прадеда хана Аблая, я спокойно созерцал горизонт, пока мои бежавшие соплеменники наконец не сообразили подойти ко мне. Выслушав их салем и просьбу о защите от врагов, я отдал короткие приказы. Зная, что Кенесары при нападении на русских атаковал их, защищаясь от пуль толстым непроницаемым валом травы, я велел десятку джигитов с угрозой перемещаться перед казачьей сотней, а остальным бежать плести из прибрежного тростника маты. Награбленное мешало казачкам быстро маневрировать и они заняли оборону. Наконец мы, прикрываясь плотными щитами, пошли на них. Те встретили нападение выстрелами из ружей, но видя, что пули не достигают цели, вынуждены были вступить в рукопашный бой. На меня бросился на белом коне сотник и выстрелил из револьвера три раза в мою сторону. Чудом свинец не задел меня. Видимо, это смутила лихого рубаку и он, дрогнув, схватился за шашку. Но моя сабля уже зависла над ним...

На месте схватки вместе с офицером были убиты шестеро казаков, оставшиеся спешно отступили, бросив и лошадей и отары овец и все отнятое у аулов имущество. В моем отряде оказалось лишь с десятков раненых. Мои новобранцы хотели преследовать обидчиков и добить их, но я то знал, что нынешние казачки смелы на чужой земле лишь тогда когда рядом с ними части регулярной армии. И я направил подчинившийся мне род на другой берег Сыр-Дарьи пока его боевой пыл не остыл.

Кокандское ханство, скрепленное кремневыми ружьями, шариатом и длинными, как бороды аксакалов, заверениями разноплеменных братьев не вспоминать давние обиды, крепкие, как огниво на их дедовском оружии, рассыпалось, как плов, остывший к трапезе чуть запоздавших гостей. Первой пришла к дастархану Российская империя.

Большая часть аулов, признавших меня своим султаном, отправилась кочевать южнее Ташкента, где они обычно оставались только зимой, а несколько сотен джигитов я призвал защищать Ташкент.

Входили мы в Карасарайские городские ворота. Оказалось, что кокандская охрана давно бежала от туда и они оставались не запертыми. Наступавший русский генерал, видимо, не знал об этом казусе, и обстреливал ворота издали. Я тут же распорядился засыпать все двенадцать ташкентских ворот землею, для чего мы согнали к ним жителей из близко лежавших улиц. Видя наши активные действия по городу, горожане быстро распространили слух, что султан Садык, сын киргиз-казакского хана Кенесары, взял в свои руки власть и ко мне стали стекаться со всех базаров и площадей люди, не желавшие сдаваться кафирам. С каждым часом мое положение становилось все запутанней, опасней, но и весомей. Уже невозможно было просто исчезнуть, даже ночью вокруг моей постели стояли не только верные соратники, но и незванные соглядатаи, представлявшие телохранителями. Днем я осматривал укрепления, и вывод мой был крайне пессимистичен. Гарнизон города, по обширности оборонительной линии, был разбросан на весьма большом протяжении. Артиллерия была рассеяна на расстоянии 15 верст по всей южной стороне и также не могла действовать совокупно. Но самое печальное то, что в городе действовали многочисленные партии, представлявшие разных ханов и эмиров и сговориться с ними представлялось невозможным. За столетия кокандские правители ничего не сделали, чтобы сплотить тюркские народы в одну нацию. Наоборот, в конную гвардию брались киргиз-казаки, что бы их ненавидели уйгуры и узбеки, занимавшиеся ремеслом и пашней.

Но главная червоточина в кокандском престоле состояла в том, что в этом государстве никто не желал соблюдать даже те законы, которые достались им в наследство от гораздо более основательных предков. Суд шариата муллы Коканда превратили в фарс, трактуя суры Корана и изречения Мухаммеда как им вздумается или как угодно стоящему выше сановнику. Отчасти из корыстолюбия, отчасти из-за невежества. Я встречал азиатских святош, не умевших вообще читать, но бойко водивших пальцами по страницам Святой книги, причем по верхней строке справа налево, по нижней – слева направо. Один из представителей шариатского законодательства оправдал при мне взятку в виде рубинового перстня тем, что якобы сам Пророк, по свидетельству супруги его Айши, получал подарки.

Мнением народа здесь пренебрегает всякий, кто имел чин или саблю. И хотя мнение народа не всегда может быть выражением действительной национальной потребности, привилегированные классы убеждены, что надо отрицать все нужды низов. Меньшинство богатых и в гораздо более цивилизованных обществах враждебно интересам большинства.

Народ груб и туп и вследствие этого пассивен, поэтому направление народных чаяний зависит от тысячи случайных обстоятельств, по-видимому, мелких и ничтожных.

Человек дикий и неразвитый подобен дитяти, не умеющему вполне владеть своими внешними чувствами. Ему, как ребенку, трудно согласовать свои ощущения с действиями. Хотя стремление к улучшению жизни и присуще человеку и было так во все века и во всех степенях человеческого развития, но, тем не менее, цель эта редко им достигалась. Не понимая самого себя и не имея никаких твердых знаний даже об окружающей его природе, человек-дитя должен идти ощупью, подобно слепому. И понятно, что он был обречен больше ошибаться, принимая ложь за истину, вред за пользу. Поэтому нет вопроса для любого государства, который был бы так всемогуще важен, как вопрос о реформах.

Без сомнения, что все реформаторы пекутся об общественной благе. Но понятия о том, что полезно и что вредно для развития в разные века отличались меж собой и теперь ходит много гипотез, которые и по рутине и по привычке к прошлым преданиям принимаются многими на веру, как непреложные аксиомы, хотя наука ясно доказала их ошибочность. В наше время самыми первостепенными считаются реформы экономические и социальные, а реформы политические допускаются как средства для проведения новых форм экономики, ибо каждый человек отдельно и все человечество вместе стремится

к одной конечной цели – к улучшению своего материального благосостояния, видя в этом так называемый прогресс.

Не спешите, господа. Ничего не выйдет с вашими умными экономическими и прочими реформами, пока и элита и плебс не станут скрупулезно соблюдать законы, какие уже есть. А потом только начнут их реформировать. Да не наскоком, а всем фронтом, здесь не конница, а пехотный строй должен идти впереди.

Для страны мусульманской неизбежны устои шариата, но высокая мораль Корана должна составлять только дух закона, а букву должны ясно и кратко прописать законоведы, учившиеся в европейских университетах, где юриспруденция имеет научные традиции и не зависит от мистики. Вот когда разовьется и торговля и образование, а значит и богатство и патриотизм.

Для успеха судебной и правовой реформы нужно множество качеств, но в монархическом государстве прежде всего надо иметь корону на голове. Голова твоя может быть не слишком обременена новыми идеями, умные чиновники при желании всегда найдутся. Если собрать все записки и проекты, составленные мной и моими коллегами по этому вопросу хотя бы в области сибирских киргиз-казаков, то они составили бы целый трактат, но все в Санкт-Петербурге уходило как в песок.

Трудно себе представить закат Российской империи, но если она пойдет по пути среднеазиатчины, где с трона не увидать улицу и лавки с мастерскими на ней, то результат будь схож. Все развалится. Но это уже, слава Аллаху, не моя головная боль.

Если фантазировать и дальше, то для своего государства я выбрал бы основой законодательства древний тюркский кодекс адат – обычное право, где преступник прежде всего преступник, а не грешник и ни какая индульгенция не оправдание ему. Грех – личное дело каждого, государству нужен порядок, а не душевные переживания каждого гражданина.

Но адат не только мое предпочтение. Все киргиз-казаки, *en masse*, требуют оставить его в силе, причем в самой древней форме. Красноречивый случай произошел в Каркаралах. Губернское начальство решило учредить в добавок к суду каких-то биев над биями, явно желая иметь еще один доглядывающий и довлеющий орган. Когда проект переписывался в приказ, о нем стало известно, и квартира моя оказалась осажденной протестующей толпой конных и пеших киргиз-казаков.

Шариат среди киргиз-казаков стал распространяться только в наши дни под влиянием татарских мулл, среднеазиатских ишанов и доморощенных

прозелитов. Некоторые султаны и баи стали даже запира́ть своих жен в отдельные юрты, как в гаремы, ездить в Мекку, а бояны наши вместо народных героических былин поют нынче мусульманские апокрифы, переложенные на стихи.

Хранителями заповедей адата были и есть бии, выборные судьи из числа родовых грамотеев. Мне известно, что к суду биев прибегают и русские переселенцы и казаки Горькой линии, избегая многомудрых хитросплетений судебного чиновничества.

Но справедливости ради надо сказать, что я знаю случаи, когда ордынцы, избегая своего суда, обращались в имперский. Но это были закле́йменные негодяи, которым уже никто не верил, что бы они не сказали в свое оправдание. Значит, видели возможность в бюрократическом суде всех объехать на кривой козе.

Суд биев и их съездов заключают в себе все начала мирового суда. Вообще говоря, суд мировой не есть еще суд идеальный, лучше которого нельзя было и ожидать. В Англии, в этой образцовой стране, юристы Блекстон, Гнейст и Конт указывают на недостатки британского суда. Следовательно, если и есть различия между мировым судом и судом биев, то значит они лежат необязательно в худшей стороне последнего.

Главное достоинство суда биев, по моему мнению, заключается в отсутствии формальностей и всякой официальной рутины. Значение бия основано на авторитете и звание «бий» есть патент на обладание справедливостью. Кто же рискнет потерять среди своего народа такое мнение о себе? Нет ничего страшнее в кочевом обществе, чем презрение. Ведь тяжущимся фигурантам дано право не только вызывать на суд известных лиц, способных выступить с миссией адвоката, но и отказывать конкретному бию судить, если его репутация доказательно подмочена. В суде биев в тяжелых случаях всегда приглашались для участия присяжные в решении так называемого у англичан вопроса о виновности – *question of fact*.

История народов – это, прежде всего, история законов государств, в которых они имели удачу или несчастье жить. Следовало бы каждому новому правителю не забывать дела минувших веков. Много скверного и ненадежного они могли бы избежать. «Однако, как только дело доходит до утверждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних», – как когда-то изрек

Макиавелли, и мне ясна вся печаль и изумление, которые он, видимо, испытывал, высказывая эту мысль.

Главный казий Салибек-ахун возвел меня в звание эмир аскера. И я смог более-менее полноценно действовать. Одни лишь приказы о всеобщей мобилизации и казарменном положении солдат уже позволили создать нечто похожее на армию. Но прошло несколько дней удачной обороны, как иногородние кокандцы, хивинцы, бухарцы и еще черт знает, кто стали шептать по углам: «Кажется, русские не смогут теперь взять город. Если они отступят, то вышедший из киргиз-казаков султан будет вечно править Ташкентом, а завтра и всеми ханствами». Верные мне из ташкентцев военначальники донесли, что против меня уже составил заговор, и просили разрешить им казнить всех, кто участвует в нем прямо там, где они будут захвачены. Мне такая Варфоломеевская ночь при азиатской луне была не по душе. Я, сославшись на то, что мусульманам не следует убивать мусульман, отослал отказать им. Я думал их судить по позже, но прежде они должны были совершить само предательство. Как-то сразу прийти к убеждению, царившему во властных элитах этого края, что даже невыраженное ничем побуждение к преступлению уже есть преступление, было нелегко. Инстинкты Чингиз-хана, говорившего, что враг уже тот, кто может стать врагом, через века слабо проступали во мне. Интересно, что главными заговорщиками против моей персоны явились как раз те, кто предупреждал меня о нависшем надо мной кривом ноже. В конечном итоге, я бы мог с ними справиться силой своей киргиз-казакской дружины, если бы не другой неприятель, дисциплинированными рядами стоявший под стенами города. В таких тисках я прибег к аблайхановской дипломатии, суть которой передача другому того, что не является абсолютно твоим. Иначе говоря, когда сама реальность заявления о твоём даре заменяет реальность самого подарка.

В скорых поисках союзника, я поручил временно распоряжаться в Ташкенте бухарскому сановнику Тайчибеку и выехал из цитадели. Этот простенький акт я произвел в целый ритуал с пышностью и таинственностью, которые только могли быть. В деле иллюзиониста очень важны жесты, все следят за тем, как происходит действие и никто не замечает того, что скрывается за ним.

На следующий день русские колонны вошли в город и уже никто не оспаривал мое звание правителя Ташкента. Звание правителя в изгнании. Однако это положение позволяло мне теперь открыто претендовать, как

генеральской вдове, на более высокий статус в настоящем и будущем. Хоть ханом себя заяви, никто не станет возражать.

Еще месяц назад я, как степной кузнечик, скакал по открытому простору, как мне желалось: то туда, то еще дальше. Нынче, прыгнув лихо и весело, попал в паутину персидского сада. И все по доброй своей воле. Я сам себя впутал в мнимую реальность созданную мной самим. Как это не глупо, но я сам стал верить, что действительно был ташкентским ханом. И печалился, что потерял свое ханство. И во мне начала клубиться новая черная обида. Отбросив в сторону sentimentalisme, я принялся строил планы возвращения себе трона. Сомнения и иные культурные мысли исчезли, я был готов, если надо, перейти и море крови. Ход размышлений стал предельно короток и прост: отдайте мое, не отдадите, сам возьму и вас смертельно накажу за обиду. Но кроме самодержавного эгоизма в моей душе еще клубились и патриотические чувства.

Конечно же, глупо было мечтать об освобождении и возрождении Киргиз-казакского ханства времен хана Касыма Великого или даже хана Аблая, царившего уже в стране, урезанной со всех краев до неприличия. Смысл моего патриотизма был в ином и выстраивался на политических аналогиях, связанных с событиями в Китае.

Захватив Восточный Туркестан, китайцы ввели в этой мусульманской стране свое правление со всей присущей им бюрократической тщательностью с прикормленными туземными хакимами и чиновниками, которые поднявшись до шестой степени уже честно служить родине не могли. Усвоив одни дурные стороны китайской цивилизации, они стали недоступны и важны к своим подчиненным, унижаются перед маньчжурами и проводят дни свои в пьянстве и в обществе женщин сомнительного поведения, предоставляя эти же удовольствия китайским ревизорам, которые приезжают к ним в гости. Мелкие чиновники копируют высших, но более грубы и дерзки. Сами китайцы всегда готовы творить грабеж, разрушение мечетей и весьма склонны к публичным казням. Они бьют на улицах всех, кто не сходит с лошадей при их появлении, отнимают ценности и бесплатно берут товары в лавках, даром обедают в ресторанах. Всякий китайский чиновник имеет при своем доме туземцев, которыми распоряжается как рабами. Все эти преступления и притеснения тюркских мусульман были бы гораздо сильнее и повсеместней, если бы с Восточным Туркестаном, теперь называемым китайцами своими Новыми территориями – Синьзянем, не граничило Кокандское ханство. Не Бог весь какое сильное, мудрое и заботящееся о братьях своих, но все же

свободное тюркское государство со своей армией и деньгами. Наличие его уже само по себе – фактор давления, возможной угрозы поддержать множество восстаний. Свидетельством этому служит уникальный персонаж на сцене Синьзяна – кокандский аксакал, именуемый на официальном языке имперцев шань-я (торговый старшина). В сущности, этот титул равен губернаторскому. Прежде аксакалы направлялись к китайцам как торговые представители, но явочным порядком расширили свои полномочия до ранга посла Кокандского ханства. Они должны были отстаивать интересы самих кокандцев, но покровительствуют и туземцам и даже скрывают и предоставляют должности при себе участникам антикитайских мятежей. Таким как Михтыр-Валихан, ставшим сборщиком налогов при аксакале – удачей. По старой привычке вначале китайцы и калмыки продолжали бесчинствовать на улицах, толпами разъезжая в базарные дни, немилосердно наказывали нагайками всех, кто не успел отстраниться и очистить им дорогу. Аксакал Насыреддин остановил эти бесчинства, воспользовавшись следующим поводом: пьяный солдат сибо, въехав верхом в кокандский караван-сарай, за что-то ударил ногой человека. Кокандцы сбросили его с лошади и, избивши до полусмерти, отнесли в караул. После этого и других случаев насилия и буйства китайцев были остановлены. Насыреддин позволял себе вмешиваться и в дела китайских городских властей. По его требованию были закрыты публичные дома,

и был назначен в звании раиса его ахун – блюститель благоверия. После джангирского восстания китайцы думали наказать кокандцев и, прервав торговые отношения с Кокандом, направили к Бухарскому эмиру посла, желая восстановить его против кокандского хана. Эмир проявил солидарность и уклонился от прямых сношений, предложенных китайцами. Говорят, что эмир, как правоверный монарх, заявил, что считает неприличным иметь дело с идолопоклонниками. Пытались эти безбожники найти понимание у авганцев, но тоже безуспешно. События того 1830 года привели к еще одному мирному договору между Кокандом и Китаем. Конечно же, власти Поднебесной империи понимали, что имеют дело с государством ничтожным, но за Кокандом стоял весь мусульманский мир, называемый ими Хой-хой-бу и выглядевший в их глазах как целое море от Оша до Мекки, и о народах которого, как о варварах, не стоящих внимания, они знали очень мало. Незнание порождает опасения, страх – ошибки. Так мусульманские иностранцы получили возможность держать в постоянном напряжении китайцев и продажных туземцев и поддерживать надежду вернуть свободу

родине в предводителях восстаний ходжах и простых кашгарцах. Это аксакалы возвели в свой основной принцип. Подобную дипломатию китайцы хорошо понимают и ненавидят кокандских посланников. Вот почему в последнее время они стали отличать Бухару – Айбухань от Коканда – Аньцзи-чжень. Узнали они и о внутренних распрях, которые мусульмане никогда не были мастерами скрывать. Особенно теперь, когда Кокандское государство окончательно погибало, отдавая себя другой империи – России.

До тех пор пока Старший киргиз-казакский жуз находился вне царских генерал-губернаторств и там основал свой передовой форпост султан Кенесары с претензиями на ханский престол, русские чиновники на занятых уже ими киргиз-казакских просторах вели себя сдержано, сохраняя в частности суды биев и власть султанов по родословной. Но как только многолюдный южный край с Таразом и Туркестаном был взят ими, все стало меняться буквально на глазах. Значение титула «султан» сравнивали с мелким чином для туземной администрации и императорским указом право владения всеми землями отняли у самих кочевников в пользу государственной канцелярии. Конечно же, они будут заселены выходцами из центральных русских губерний, да уже и заселяются. Только одна ямская повинность превратилась в настоящее бедствие. Многие чиновники берут по 40 и 60 лошадей под один экипаж и ничего не платят подводчикам-киргиз-казакам, кроме зуботычин. Случается нередко, что некоторые «майоры» (так простой люд называют всех исправников и заседателей) и вовсе не возвращают взятых на время лошадок.

Империи с севера и с востока сегодня получили возможность делать с тюркскими народами все, что им вздумается, не оглядываясь ни на кого. В этом веке просто немыслимо вернуть свободу всем туркестанским народам. Нет ни сил, ни денег, ни народной воли. Остается, следуя логике, удерживать хотя бы одно независимое казакское туркестанское государство. Пахнет идеализмом. Но построив цивилизованное исламское общество, мы могли бы продолжать благотворно влиять на судьбы братьев, ожидая часа, когда нынешние империи, последуют за македонской и римской и рухнут. И правящие дома киргиз-казаков, узбеков, уйгуров вновь поднимут свои знамена. Здесь бы и прослезится от трепетного ожидания, но пока рак на горе свистнет... Но рак ползет туда, куда двинет конь с копытом. Так что: джигиты, на коней, аттандар!

Вот такие теории роились в моей закружившейся голове, а военная карусель сама выводила ко мне новых героев для продолжения драмы, плавно

переходившей в фарс. Не успел я отъехать и десять верст от Ташкента, как в первом же кишлаке меня встретили бухарские беки из Шахрисяба, поднявшие мятеж против своего повелителя в пользу его сына Абдумалика и подсунули мне свои отряды и фефту, накарябанную под их диктовку придворными муллами. Бумагу, разрешавшую им воевать против единоверцев, я оставил им, баюкать свою совесть, а сам атаковал бухарского эмира первым, так как среднеазиатцы, если от чего и приходят в ужас и панику так это от резких движений. С подчинившимися мне всадниками в несколько тысяч сарбазов я наскочил на город Нурата и взял его. Помогая принцу Абдумалику, я рассчитывал, что молодой человек на престоле будет более склонен к новым идеям, чем его костный отец, о котором было известно лишь самое мрачное.

В Нурате я занял летнюю резиденцию эмира, стены которой были искусно сплетены из ивовых прутьев покрытых китайским красным лаком. Прохлада легко проникала под высокие своды комнат и вся обстановка напоминала мне прелесть аула на горном джайляу. Там же я формировал сотни из киргиз-казаков и кочевых узбеков, еще не разучившихся есть и спать в седле. Во всех странах, подверженных революциям, является особенный класс людей, обожающих мятежи и беспокойства без всяких убеждений, так сказать, из любви к искусству. В наших краях это дервиши, курильщики гашиша, азартные игроки и салтаны-пролетарии. Они первые поднимают оружие при восстаниях и режут всех подряд, а при бегстве грабят и дома тех за которых они еще вчера заступались. Таких я отметал сразу. Но один из добровольцев этой вольницы так и не отстал от меня, и я вынужден был принять его. Среди них встречаются люди разных народов, и чутье мне сразу подсказало, что этот мужчина средних лет, представившийся Османом, явно из северных краев. Пожалуй, русский.

— Скажи мне, русский, когда ты бежал из армии своего царя и какой имел чин? — кратко спросил я, вспомнив, как меня пытали в моей тайной экспедиции в Кашгаре тамошние держиморды.

В этих беседах важно дать понять, что за тобой вечность и все равно наступит время, когда не станет никаких тайн. И я, возлежав на шелковых подушках, медленно потягивал дымок из кальяна.

Но Осман скоро назвал и полк и свою роту саперов и свое настоящее имя — Олег Васильев, а затем прищурился, и высмотрев во офицерские манеры, добавил: «...Ваше благородие».

Осман-Олег оказался весьма неглупым и много видевшим на свете батыром из смоленских мещан. Был он начитал, знал и тюркский и персидский языки.

Одно время пытался выдавать себя за еврея и торговать, но был побит камнями после первого же своего посещения глинобитной самаркандской синагоги щепетильными в соблюдении своих обрядов иудеями. Сейчас решил вернуться к своему исконному ремеслу – взрывам. Характер он имел вздорный, большой спорщик, но для меня в этом была своя прелесть, так как среди моего подобострастного окружения он был единственным с кем я мог по человечески говорить, когда собеседник может с тобой не согласиться. Я спросил его, почему он нарушил присягу и верность царю и отечеству. Он ответил односложно, мол, служба была тяжела. Но из долгих разговоров за вечерним чаем, начинаемых им обычно со слона, я стал догадываться, что именно образ этого большого животного явился причиной не только его побега из армии, но и добровольного когда-то рекрутства в нее.

В раннем детстве Алежке, сыну огородника Василия Огородникова некий странник рассказал о существе телом поболее чем купеческий дом и с говорящим носом, подобным иерихонской трубе, живущем в басурманской Индии и именуемом Слон. Алежка Васильев Огородников принялся мечтать увидеть Слона. Домечтался до того, что стал видеть чужестранного зверя в своих снах. Слон ему сказал: обо мне никому не говори, а если скажешь, то и я и ты погибнем в страшных мучениях. Когда же Васильев подрос, то пошел в Москву, где в городском саду показывали разных животных, среди которых был Слон. Но то животное, которое он там увидел напоминало апрельский стог сена с ушами грязными, как кухаркин подол. Самым противным в нем было то, что это животное тихо подвывало и мочилось, приседая коровой. Васильев не поверил, что это Слон. Он решил идти сам в Индию, но к его везенью Император решил завоевать Персию, а там до заветной страны рукой подать. Однако дело кончилось лишь компанией в Закавказье. И зашагал сержант Васильев к Слонам своей дорогой. Был морским разбойником, был в рабстве, имел семью в Хорезме, умирал вместе с ней от какой-то жаркой трясушки, да выжил в отличие от своих детей...

– А что ж ты не дошел до своих слонов?

– Нет ни каких слонов на свете.

– Как же нет, братец, – засомневался и я. – Вот возьмем Бухару, а там и в Индию заглянем. Индусы на слонах и пашут и воют. Сам увидишь.

– То-то и оно, Ваше благородие, – отвечал Осман и добавил совершенно загадочную фразу. – Человек все испоганит. Верно как стали индусы эти черномазые на слонах ездить, так и у них они вывелись. Только скотина одна и осталась.

Я не стал расшифровывать его загадки, события ускорились и завертелись, как карусель – не до османовских баек было.

За это время бухарский эмир додумался заявить, что обезумевший отрок его Абдумалик и шарисябские сановники все-таки свои люди, а киргиз-казакский султан из Туркестанского края чужой и не ему зарится на наши земли. И надо же, все с ним согласились. Это было видно и по лицу действительно поврежденного умом Абдумалика, приехавшего со своей мятежной гвардией принять отвоеванный для него нуратский вилайят и внезапно нагрянувший в мой лакированный дворец. Его физиономия всеми гримасами высказывала, что он намерен меня зарезать. Начал он грозно: отдай ему, как сюзерену, все что я нашел в дворцовых кладовых и сундуках и все тут! За этим, прояви я покорность или нет, мне быть непременно обвиненным во всех смертных грехах и секир башка. Я мирно согласился и указал на Османа закладывавшего в стороне под глинобитную стену мешочки, величиной с голову человека.

– Все там в яме.

Глупая рожа буйного царевича опять выдала его мысли. Он был доволен тем, что успел вовремя перехватить мою корыстную лапу, прятавшую злато.

Величественным жестом он послал троих из своей охраны за кладом, от которого стремительно бежал уже Осман. Через минуту стена под жуткий грохот взлетела в воздух и превратилась в пыль.

– Что это?! – в ужасе вскричал претендент на бухарский престол.

– Сокровища здесь были лишь в виде пороха, и я велел сделать мины. Они заложены по всему городу, даже под дворцом. Так что нам никто не страшен. Пусть пробуют взять, взлетят на небеса вместе с нами.

Я ошибся, считая Абдумалика совсем уж дураком. Он быстро сообразил что к чему, и вместе со своими бухарцами стремительно понесся вон. С этой минуты караулам было велено не пускать ко мне и моих союзников. Ошибся я в выборе партнера. Всегда следует поддерживать законную власть, если, правда, таковой ты не считаешь себя. Я списался с бухарским эмиром, как мог объясняя те недоразумения, которые возникли между нами. И искренне клялся верой и правдой служить только ему. А ведь мог объявить Нуратский вилайят своим ханством и держал бы оборону в городе столь долго, сколь нужно человеку, что бы закончить свою жизнь вместе с незваными гостями грандиозным фейерверком для эмира я способен был прикрыть его владения с севера. Но русские войска уже вошли в эту страну по просьбе самого эмира, так и не поверившего мне. Тогда я решил действовать дальше на свой страх и риск.

Помня всю безрезультатность рыцарских конных атак на пехотное каре, я выдвинулся вперед и устроил армейской колонне генерала Черняева протяженную засаду по дороге в садах под Джизаком. И как только солдатики протянулись к базару, по ним был дан ружейный залп. Скрываясь за деревьями и заборами, мы продолжали обстреливать врага несколько часов до тех пор, пока они не отступили на открытое место, откуда они ушли обратно в свой лагерь на берег Сырдарьи.

Есть такая легенда о богатыре Святогоре, столь могучем и огромном, что под ним проваливалась земля и жить он, бедняга, мог лишь на скалах. Так и имперские войска, если куда-то приходят, то тут же под тяжестью уходят по колено в тот край, куда они шагнули, и сами они после не в силах уйти обратно и вытолкнуть их прочь становится невозможно. Но бухарский эмир, как и все его тюркские и кавказские братья, русских сказок не читал.

В начале июня с севера двинулись 18 рот пехоты и 6 сотен казаков при 14 орудиях. Те силы, которыми располагал я, никак не могли противостоять им.

Если учесть, что на юге стояла армия бухарского эмира из 6 тысяч пехоты, 14 легких орудиях и 15 тысяч конницы, то мое положение было аховым. Я принялся маневрировать, но тут мое войско, набранное все-таки в основном из декхан Шахрисяба и кишлаков окрестностей Нурата разбежались, со мной осталось одни киргиз-казаки и кочевавшие узбеки, отличавшиеся от нас лишь забавным произношением некоторых слов. Все кишлаки таджиков стали враждебны к нам. Мы стояли в поле, своим безводьем и оголенностью больше напоминавшем пустыню...

С юга и востока нас дожимали толпы бухарцев, с севера и запада путь закрыли цепи русских пехотинцев. Утром дело решилось бы далеко не в нашу пользу, так как воинство мое впало в растерянность, уже не понимая зачем и где они воюют. Я не находил способа поддержать их. На какое-то время, совершенно утомленный, я заснул. Приснился мне индусский бог Гамеша, сын Шивы, носивший волею кармы на своем человеческом теле голову слона. Забавный идол. Язык хинди я не понимал и поэтому Гамеша указал мне спасительное направление на запад своеобразным поступком. Он вырвал у себя левый бивень и кинул его, как дротик, в сторону заката. Все это сулило удачу. И я, очнувшись, рассказал о своем виденье воинам, рассчитывая поднять их боевой дух. Какое-то время они недоуменно взирали на меня, а потом дружно расхохотались. Образ слона, раскидывающего свои кости, показался киргиз-казакам очень

смешным. Более всего меня обидело то, что вместе с ними усмехался и великий почитатель слонов Осман Васильев.

В эту минуту мне помог рыжеусый, до этого ничем не отличавшийся аргын, выехавший со мной еще с Сыр-Дарьи, по имени, кажется, Кеншилик.

Он вынул из переметной сумки потертую походную домбру и запел, отвлекая иронические взгляды джигитов от моей персоны на себя. Прежде он долго наигрывал незамысловатую мелодию, затем стал грозно вскрикивать, а уж потом завел все возрастающую тоном песню. Даже не песню – целую поэму о батыре Ерзамыре и его коне Ак-Сары. Так как пел он целый час, я приведу здесь только один эпизод из этого эпоса:

«Не стало сил у Ерзамыр-батыра.

Сникли и семеро братьев его.

Пики кололи их налево-направо

от рождения до смерти целой луны.

Все стрелы их с изумрудными наконечниками,

Все стрелы их с слоново-белыми наконечниками

разлетелись во врагов,

но войско вражье вновь поднималось,

как жесткая трава вокруг чистого озера,

дно которого уже открылось почти

от истощения родников подземных.

Сказал тогда Ерзамыр-батыр братьям:

«Сойдем с седел и отпустим коней наших.

Они верно служили нам, как родичи наши,

Пусть теперь не погибнут вместе с нами,

когда нет мочи больше поднимать копье

и от крови глаза не видят врага»

Тогда сказал конь Ерзамыр-батыра

серебрянно-копытный Ак-Сары друзьям-коням:

«Хозяева наши батыры покинули свои седла,

они теперь беззащитны, как тетерева.

В наши хвосты вплетены булавы с шипами,

на наших ногах кинжалы сверкают, как лед.

не дадим же убить наших всадников.

Бросимся, друзья мои, кони, сами на врагов!»

И все кони-друзья согласились с Ак-Сары:

и Чалый, и Багрово-рыжий, и Черно-бархатный,

и Серо-вороной, и Пепельный, и Сухопарый,
И Красногривый...

Кинулись кони-друзья одни в бой
и стали рвать всех клыками острыми...»

При последних словах замороженная былинщиком публика пришла в особое волнение. Джигиты повскакивали со своих мест, стали дико орать и восхищаться конями-друзьями Ак-Сары. Но наибольшее возбуждение наступило, когда рыжеволосый Кеншилик, после того, как рассказал о том, что кони не только смогли разметать по всей степи противников своих хозяев, но и взяли большую добычу, спел:

– Если спрашивают: «Чей это скот тучно пасется на вольных лугах?», – отвечают люди: «Это скот коня Ак-Сары».

Здесь я не упустил фортуны и еле слышно произнес нечто риторическое:

– Эй, джигиты, мы в седле или лошади сидят на нас?

Тут мои сарбазы вскочили в седла, и мы лихо, на одном дыхании прорвались сквозь стрелявшие залпами в нас ряды пехотинцев. Я хотел поблагодарить рыжего Кеншилика за то, что он поддержал мой авторитет, с ходу придумав и о «слоново-белых наконечниках стрел, разивших врагов налево и направо», но оказалось, что он погиб в том прорыве. За телами убитых мы не могли вернуться, но они остались на мусульманской земле, нашли смерть в войне с кафирами и, несомненно, были похоронены местными жителями, верю, достойно.

И мы ушли в сторону Ургенча. Пора было вспомнить и о своем долге собрать в своем доме внуков султана Кенесары.

Хивинский хан дал мне для дастархана в пользование сад «Патша сайрам багы» в тридцать танапов и доходы с одного арыка, но передать мне мою семью категорически отказался, пользуясь древним правом иметь аманатов, как гарантией, что подданные его не взбунтуются против него же. Я был тяжело ранен и не мог спорить.

Весной я велел подчиненным мне аральским киргиз-казакам и каракалпакам прорыть новый канал и засеял 30 батманов пшеницы. У того же поля прожил все лето, стреляя фазанов и сайгаков.

Потеряв надежду на создание какого-нибудь ханства или захудалого эмирата для своего народа, я принялся терпеливо ждать волнений на землях Киргиз-Казакстана. Люди, посланные мной в киргиз-казакские роды, вернулись удрученные тем, что на мой призыв освободить от захватчиков наше государство, киргиз-казаки лишь вздыхали и принимались

пересказывать друг другу героические былины прошлого, похваливая между тем русский самовар и иной фабричный предмет.

Вынужденный покой мой нарушил лишь отряд туркмен. Они пригласили меня погостить у Юлдуз-ханум – жены знатного и знаменитого Кунберды. Эта женщина славилась своим умом и доброжелательностью. У ней останавливались и авганский хан и бухарский эмир по дороге в Россию. Приглашение было весьма и весьма настойчивым. Не желая ссоры, я отправился с ними. Славившуюся своей красотой Юлдуз-ханум я не увидел, зато меня принялись назойливо опекать собравшиеся там текинцы и уговаривать меня: «Киргиз-казаки и туркмены имеют родственное происхождение. Вы сын киргиз-казакского хана. Мы решили помочь вам. Мы дадим вам 10000 всадников под начальством десяти сардаров. Вы привезете нам чарджоуского эмира, а мы поменяем его на ваше семейство». Вот с таким буйным и разбойничьим племенем я еще не имел дела! Туркмены имеют весьма интересную пословицу: «Если враг нападает на кибитку твоего отца, то пристань к нему и грабь вместе с ним».

Конечно же, обидчика своего из Чарджоу они бы никогда ни на какой обмен мне не отдали бы, а непременно нечаянно зарубили бы. Я твердо отказался, теперь уже искренне благодаря Пророка Мухаммеда, за то, что он дал нам такой неотразимый довод миролюбия, как запрет мусульманину воевать против мусульман. Против Корана и они не могли возразить, но и не думали отпустить меня домой. В знак особого гостеприимства Юлдуз-ханум прислала мне в подарок рабыню Кыз. Она стала являться ко мне по моему желанию укутанная в бесконечные ткани от пят до глаз. Я оставлял на ней лишь один серебряный браслет с замысловатым узором в виде множества линий. Потом моя рабыня стала приходить ко мне тогда, когда ей самой вздумается. И я терпел и ждал.

Если из небесных райских куш на нашу грешную землю спускаются прекрасные пэри, то Кыз была одной из них. Надо ли говорить, что я выполнял все ее прихоти? Все перевернулось, и я теперь стал ее рабом. Когда ты проклинаешь восход солнца и целый день в оцепенении ждешь лишь наступления ночи, тоскливо гадая: придет она или нет .. , то твоя жизнь уже тебе не принадлежит. И как бы ты не наслаждался этим нектаром, не ты алкаешь, а пьют из твоих сосудов. Но ничего другого теперь в этом мире я не хотел и ни о чем другом и не мечтал. Я готов был отдать за одно лишь прикосновение к ней все царства и все драгоценности в мире. Она уже знала, что я ее полный пленник, но до окончательного приговора не хватало моего

признания. А здесь я упорствовал, не отпуская соломинку спасения в глубинах темных вод страсти. Каким-то десятым чувством я осознал, что, случись мне лишь заикнуться в том, что я ее люблю, я оказался бы в роли лишившегося последней монеты наркомана перед захлопнувшимися у его носа дверьми опиумной курильни.

Чтобы как-то скоротать время, я принялся рассказывать туркменам истории о страданиях святых и праведных людей. И я плакал вместе с ними, не скрываясь. Они — о муках избранников Аллаха, а я — о своем. Сентиментальность всегда кочует рядом с жестокостью. В таких беседах проходили дни и вечера, и вдруг до нас долетел хабар от хивинского хана о движении в его владения со стороны Каспия уральского наказного атамана генерала Веревоchina, а со стороны Ташкента генерал-губернатора Гауфмана. Мои байки настолько полюбились туркменам, что сразу тысяча всадников согласились выехать со мной. Впрочем, им все равно было где и с кем воевать, лишь бы дым и пыль столбом, да трофеев был бы побогаче.

Кыз, как только услышала о моем отъезде, впав в страшный гнев, исчезла. Глупо, конечно, говорить любимой о долге, чести и прочем таком, что только злит ее.

Как я выезжал из оазиса Нурберды — отдельная песня. Казалось, движутся только мои кости с лохмотьями от мышц, а содранная с меня кожа с моим сердцем осталась за моей спиной на съедение собак.

Проводить нас соизволила сама госпожа Юлдуз-ханум. Она молча и прямо сидела с парандижой на своем лице в позолоченном седле на ахалтикинце белоснежной масти. Когда она погнала своего скакуна прочь от нас, запястье ее руки, подтянувшей уздечку, оголилось, и я увидел знакомый исчерченный линиями серебряный браслет. Словно молния ударила в меня, и я зашатался в седле. Туркмены тут же преподнесли мне свою белую мохнатую папаху от солнечного удара.

В Уч-учаке нас уже ждали мои семь сотен киргиз-казаков, и мы одним отрядом встали в авангарде хивинского войска. Время от времени я получал рекогносцировочные сведения от своих разведчиков о движении русских колонн через Кызылкумскую пустыню. Когда они двинулись на Хал-Ату, а затем на адово пространство под названием Адам Крылган (Погибель Человека), это всех удивило, так как избранный путь был самый тяжелый и непроходимый для пеших войск с артиллерией. Хивинцы предположили, что если не вся армия, то большая часть ее непременно погибнет в песках. Предположения стали подтверждаться слухами, оброставшие у нас

фантастическими подробностями. Киргиз-казаки рассказывали даже о ныне бродящих в пустыне скелетах в мундирах. Хивинские полководцы предложили мне выйти к Адам Крылгану и встретить там русских первым боем. Я захватил с собой 300 верблюдов с водой в турсуках, с провиантом и фуражом и двинулся к противнику.

Туркмены направились в пустыню охотно, а я с киргиз-казаками был очень недоволен. Текинские удалыцы, привыкшие к голым и безводным просторам, принялись шутить, громко рассказывая о барханах, мгновенно, как драконы, проглатывающих всадника с его лошадей. Киргиз-казаки в ответ лишь хмурились и с тревогой оглядывали царившие вокруг в пути песчаные гребни и впадины.

Подойдя к русскому лагерю, я увидел, что солдаты нисколько не утомлены жарой. Они встретили нас энергичной пальбой из всех ружей. Но более всего устрашающее действие произвели несколько ракет, разорвавшихся за нашими спинами. В них больше грохота, чем поражающего результата, но каков был эффект! Это сильно смутило мое воинство, и я вынужден был отступить. Здесь и началась трагедия. Туркмены успели к нашему обозу первыми и, нисколько не смутившись, захватили весь караван с водой. Киргиз-казакам досталась два осла с дранной веревкой. И первые и вторые, разгоряченные случившейся стычкой, были обозлены своим бегством с поля боя. Пожалуй, ничего бы и не случилось, если бы оставшиеся без воды мои всадники пристроились бы в хвост уходившему туркменскому отряду. И, конечно же, всадники пустыни делились бы запасами, достаточными и им и всем другим, включая тех двух ослов с веревкой. Но на крутых плечах сырдарьинских джигитов были головы не менее горячие, чем у их южных соседей. Здесь бы мне надо было поспешить с решением возникшего конфликта, но я был занят тем, что поглядывая в сторону русского лагеря, обдумывал еще одну возможность совершить атаку. Киргиз-казаки наскочили на туркмен и принялись сбивать с их бритых калганов папахи с возгласами, которые вообще были не к месту: «Вас персы в море солили!». И началась обоюдная резня. Если бы мое воинство с таким отчаяньем и лютой кинуться полчас назад на русские войска, мы гнали бы их до Урала. Не успел я и глазом моргнуть, как с обеих сторон полегло несколько сотен людей. А ведь тогда от пальбы, от которой все они бежали, был убит один да ранены двое-трое. Но самое ужасное состояло в том, что в ходе этого братоубийства пулями были уложены почти все верблюды, продырявлены кожаные сосуды с драгоценной влагой.

Выжившие в этой безумной битве расхватили оставшиеся в целости торсуки с водой и устремились, устрашась сотворенного, врассыпную, стремясь спастись в одиночку. В стороне остались я и Осман Васильев. Мы было двинулись к одной

кучке, увозившей своих родных раненых и мертвецов, но они встретили нас злобными криками и выстрелами, подбили под нами лошадей.

– Убьют, Ваше благородие, – с тоской произнес бывалый солдат. – За воду теперь убьют непременно.

Так мы и остались с ним одни в раскаленных песках. В один час весь мой более чем полуторатысячный отряд исчез в пустыне, как круглоголовые ящерицы, мгновенно проваливающиеся в барханы.

На третий день пути среди голых просторов мы с Османом Васильевым вышли к сухому короткому рукаву золотого русла исчезнувшей в песках речушки.

– Я так думаю... если б среди людей свободно жили и паслись вольно благородные животные, то и люди, глядучи на них, стали бы душой выше, добрее, не подобно скотине ... жили бы вольно, как ангелы.

– Разве тебе мало вольных зверей было на твоей Смоленщине, птиц божьих? Зачем тебе слон?

– Звери-то вольные есть у нас... только слон он для всех заметнее. Его, как церковь, видать со всех сторон.

– Вот в церковь и ходил бы... к ангелам, дурак.

– И правда – дурак, Ваше благородие, – отвечал он мне. – Как подумаю, на что жизнь положил, так тошно станет, хоть вешайся.

– Вешаться не стоит, – благоразумно ответил я. – Сами скоро тут подохнем.

– Только ты тоже не умнее меня, Ваше благородие, – шелестел серыми губами Осман. – Из сопревшего халата хотел новый кафтан скроить. Ты его тащишь с чужих плеч, а он по швам идет, вата лезет...

Говорить, тем паче спорить, не было сил. Да и желания.

– Вставай, Осман Васильев, – приказал я. – Пойдем. – Надо идти, – согласился он, приподнимаясь. – Только золотишко бросать жаль.

– Это не золото, – отвечал я, пытаюсь разжать кулаки с самородками. – Это мираж.

– Что за слово такое?

– Мираж? Вот как увидим стадо твоих благородных зверей со слонем во главе, так и будет мираж.

Мы продолжали сидеть в золоте, подгребая его под себя, еще день, еще ночь... Магнетизм этого желтого металла настолько был силен, что даже лицо невозможно было поднять. Оно само казалось тяжелой золотой маской и тянуло голову лечь глазами, ртом в золотой песок. Слиться и скрыться под пластами песка.

Есть буддийский трактат о Золотом Льве. Статуя льва вылита целиком из золота. И каждая шерстинка на его золотой шкуре из того же золота, что и его глаза, когти и прочее... Между ними нет преград и различий, и они, отлитые в форме разных частей, все равно плавно перетекают друг в друга, ибо золото ни там, ни здесь ничем не отличается. Волосок на кончике уха незаметно втекает в голову льва, голова – в тело и во всю суть льва, а сам целый лев в обратном порядке переходит в голову, в ухо, в волосок. И так, бесконечное множество раз, что свидетельствует о том, что каждый волосок содержит в себе бесконечное множество львов, а лев – бесконечное множество волосков, которые сами вмещают в себя царей зверей без числа и различий. Без конца, словно жемчужная сеть Индры.

Спокойно умереть – целая наука. Прежде всего, следует отказать воображению. Однако, когда тело гаснет и стынет, фантазии бурлят, как кипяток. Ты видишь себя в будущем с родными, любимыми людьми, представляешь себя даже в компании до сего дня неприятной для тебя и представляешь, как ты их простил, а они – тебя, и как будет радостно всем. Сотни картинок возможной жизни, иногда взаимоисключающих, годны и волнительны, и ты непременно должен быть их участником завтра, через год, всегда. А как же иначе? Без тебя никак нельзя, всё и все пропадут, пострадают. Потом воображение рисует перед тобой черный зев могилы, как ты лежишь и гниешь в ней в червях и слизи.

Не надо ничего представлять, а просто думай о том, как золотой лев тонет в волоске своей золотой шкуры, и из золотого волоска выплывает целый царь зверей, никуда не движущийся и никем не движимый. И наступает миг, когда суть золота и форма льва становятся исчерпаны, волнения и мысли больше не рождаются. И нет ничего, что манило бы тебя или теснило. Преграда смерти преодолена без страха, страданий и сожалений, и ты вливаешься в потусторонний мир, как золотой волосок в золотого льва, зная, что остаешься все равно все тем же золотым волоском, в котором все золото льва.

Но к моему глубокому огорчению все эти буддийские размышления не научили меня науке спокойно умирать, видимо, я уже достаточно сильно пропитался истинами ислама, указывающими на другой путь, впрочем, возможно, на ту же вершину. Я добился лишь того, что снова, но уже не во сне, а наяву стал видеть все того же индусского божка Гамешу со слоновьей головой. Он мотал хоботом и говорил со мной. Все было бы в пределах приличия, если бы в нашу беседу не влезал со своими репликами Осман Васильев, дезертир и хивинский золотовладелец.

– Ты кто? Зачем ты? – строго вопрошал меня этот урод с хоботом.

Я не знал ответа. Только спросил:

– Я умираю?

– Да, – был ответ.

– Зачем мне жить, если я жил не так, как думал?

– Не тебе решать. Я согласился с этим последним кратким доводом, встал, вцепился в его хвост, позволив сделать то же самое и моему собрату по несчастью. И мы зашагали. Осман Васильев, правда, все ворчал:

– Слон – не вол.

– Это джин, – отвечал я. – Шагай знай себе.

В Авганистане Осман-Олег умрет болезни хмуру. Я не знаю ее латинского названия.

Уверенность, что моя жизнь наконец приняла естественный ход оказалась иллюзией. Песок подземных проходов не только увлекал меня дальше и дальше во времени, но, как оказалось, старил. Впервые я это понял, когда вдруг оказался среди совершенно незнакомых людей в странной одежде и со странными манерами, составившие некое товарищество. Так они себя называли: товарищи. Но не торговый дом, а, если судить о том значении, какое они придавали символам и ритуалам, то это было что-то близкое к масонской ложе, открывшееся с приобретением власти. Но самое главное – из моей памяти начисто вымыло лет пятьдесят, словно я и не прожил их. Впрочем, я был настолько стар, что меня особенно не заинтересовало даже то, что царь был давно свергнут с престола. Удивительно, что губернатором, понынешнему – комиссаром, в нашей киргиз-казакской области теперь был товарищ Голопузов, из выкрестов. Вот уж не думал, что это племя возьмет такую силу в России. И как водится, при правителе крутился быстрый в своей угодливости толмач из туземцев. Охрана, правда, как и прежде состояла только из русских.

Товарищ Голопузов лично просматривал составленное на меня пухлое дело и характерной речью укорял товарища толмача: «Где же, товарищ, сведения о его деятельности за последние десять лет?». Здесь и я стал прислушиваться, совершенно не мешало и мне узнать, где я жил-пропадал полвека. Допросили кучу народа, прокопали кипы бумаг, но все безуспешно. А отпустить меня они упрямо не желали, видимо, считая очень важной персоной. Надо думать, они на манер французских коммунаров вели борьбу с аристократами. Но кроме меня, у товарищей было еще много важных забот. Между многих дел они

выбирали и концентрационное оседлое место для кочевников еще одной волости.

– Здесь мы будем строить социализм, – наконец решил Голопузов и ткнул пером в карту, оставив на ней черную точку, и, им же указав на меня, добавил. – И этого дряхлого падишаха туда же.

Так я попал в селение вдали от дорог и воды, которое еще не существовало, но уже имело название – Точка.

Но прежде я еще должен был туда дойти, что удалось далеко не всем из тех тысяч и тысяч людей, кто этапировался в точку, указанную, без сомнения, железным перстом.

Перед глазами вычерчивались не отдельные фрагменты движения, третьи, десятые, какие-то, и они не раскручивались лентами в своей временной последовательности, а виделись мною как единое целое, как мы видим даже не разрисованный холст в раме, а скульптурный объем. Мною зрились трое людей, неразделимо спаянных роковым обручем, тяжелым, как серебро. Стояли: высокая старуха с тонкими чертами лица, когда-то, без сомнения, прекрасного, и костлявый старичок, пустой, как тень, за простоватой физиономией которого скрывался другой облик, неуловимый, коварный. Плотный же старец с широкими некогда крыльями плеч, теперь обвисших, грузно сидел на земле спиной ко мне и молча, сосредоточенно что-то мастерил. И я не то чтобы понимал, а знал всю свою жизнь, что этот старец потомственный бий, еще несколько месяцев назад могущественный в степи, как визирь Порты, извечно богатый, владетель над тьмой народа. О нем говорили с уважительным придыханием: «Байеке». Старуха являлась старшей женой Байеке. Две другие были вне моего видения, но где-то на краю сознания угадывалось, что одна из них уже удачно вышла замуж. А самая младшая возвращена в дом отца, где сидит с полураспущенными волосами и, покачиваясь, бормочет одну и ту же персидскую сказку в стихах о несчастных влюбленных. А эта с Байеке. Ей шестьдесят, еще год назад она выглядела ладной, подбеленной сединой женщиной. Сейчас она просто старуха без возраста. Она была неотделима от своего супруга и звалась «Байбише». Вертлявый старичок был другом детства Байеке, приживалой в его доме. Тень Байеке. Тень, оторванная от ступней хозяина, но топтаемая им. Его кликал «Сая-шал».

У них отняли скот – тысячи и тысячи лошадей рода Байеке были согнаны к безводной, с горькой полыньей земле одной из железнодорожных станций, да не было на запад вагонов для животины! Вот и сдохли скоро.

Они были отброшены и гонимы от той жизни, возвышенность которой являлось сутью ее. Когда-то дорогие платья теперь висели на них пестрыми лохмотьями, а сафьяновая обувь покрывалась сухими язвами потертостей.

Они были истощены: то, что перепало Сая-шалу, попрошайничавшему на дорогах и у аулов не хватало им всем троим даже для птичьей сытости. А сейчас они страдал и от жажды.

Байбише и Сая-шал встали, чтобы идти дальше. Они уже долго так стояли и ждали, когда соизволит тронуться в путь сам Байеке. Никто и никогда не осмеливался указать, что следует ему делать. Всегда ждали, что он скажет. Но Байеке несуетливо продолжал мастерить что-то невидимое никому, неведомое за его спиной и мне. Я пытался понять, узнать... Но предел моих духовных сил все же не позволил мне заглянуть за его плечо. Несмотря на то, что мое старание было столь сильным, что я, кажется, уже превратил себя в насекомое, способное выдавить свой глаз на растягивающемся и гибком стебле из глазницы. Это было не праздным любопытством, это было потребностью, равной потребности дышать. Но я оставался недвижим и что страшнее всего, изначально понимал, что останусь таким.

Байбише и Сая-шал все стояли в ожидании томительно долго в стороне, и, наконец, она, подбадриваемая взглядами старичка, решилась и робко промямлила:

– Байеке, пожелаете ли идти дальше?

Ответом было ничто. Еще через полчаса старуха приблизилась бочком к мужу и было собрались что-то еще сказать, но, нечаянно заглянув за плечо мужа, в ужасе вскрикнула и застыла, как заледенелая полоска ткани на деревце у грузно осевшего древнего мазара. Но вот она под тяжестью ледяных наплывов при резком ветре переломилась, как переломилась в ней покорнонемая ее сущность старой бабки. Она вскричала:

– Байеке, да что вы?! Да разве нам можно? Как же так... Нам не надо этого, не надо...

Но Байеке не слышал ее, продолжая свою работу. Сая-шал встревожено забегал мелкими шажками, но приблизиться к хозяину не посмел. Старуха рухнула на землю, как падают-салятся годовалые дети. Она продолжала вскрикивать, поднимать пыль хлопаньем ладоней о землю, затем принялась умолять отказаться Байеке от своей затеи. Вначале она время от времени

замолкала, но затем с каждым разом все в более резких тонах перешла на укор. Совсем недавно подобное вольнословие закончилось бы для нее позорным истязанием, но сейчас Байеке словно не замечал ее дерзости. Он был глух и неистов в своем намерении. Под рыдания старухи он продолжал все также ритмично что-то вырезал, подтачивал. И я мгновенно понял. Байеке создавал примитивный символ своей утерянной власти, похожий то ли на скипетр, то ли на айбалта – древний боевой топор, я не знаю. И никогда не узнаю, что именно, но то, что это должен был быть символ неограниченной власти, я уверен.

Старуха, обреченно всхлипывая, твердила в спину супругу:

– Зачем? Зачем нам Это? Не надо, не надо. Бог мой, как же мы теперь будем? Мы нищенствуем, мы бездомны, отвержены, несчастны, но все еще не смешны! Нас пока никто не принимает за умалишенных. Нас жалеют, Бог мой, теперь, когда мы пойдем с Этим в руках, над нами начнут смеяться... Нас примут за шутов, за помешанных... над нами станут издеваться грязные мальчишки и аульные полуумки...

Она не понимала, что голодный, как и они, народ, давно потерял смех. Во все свои лета красивая, она всегда была чуть глуповатой. Горько стеноя, она встала на четвереньки и двинулась к мужу, пытаясь вцепиться ему в руку, остановить, отрезвить... Но Байеке, продолжая свое дело, лишь резко и больно оттолкнул ее локтем прочь от себя. И она, поднявшись и пошатываясь, двинулась к встревоженному, но в мыслях сосредоточенному на единственном верном для него решении Сая-шалу. Сая-шал тоже обо всем догадался. Теперь надо было идти дальше, быстро уходить от трупа, труп уже смердит. Он ловко схватил старуху за запястье и потащил ее в сухую степь. Шел он не оборачиваясь, Тень без хозяина.

Старуха шла рядом с ним и тихо без слез плакала, причитая как по покойнику:

– Как же так? Как мы без него? Невозможно, невозможно... Я не могу без него, не могу ... Всю жизнь с ним... одним... только с ним... люди, как вы жестоки, зачем вы так к нам? За что? Нет, люди... вы всегда были жестоки, всегда... и тогда... и сейчас... Тогда вы распускали обо мне сплетни... как жестоко... пытались наговорить ему на меня, разлучить. Шептали ему, что я ему изменила ... я была молода, не могла ответить жестокостью на жестокость, а сейчас я слишком стара... Но я никогда, не изменяла ему, ни с кем, никогда ни в мыслях, ни телом... Я всегда была верна ему! Всегда, во всем... как сейчас... верна...

Сая-шал твердо вел ее. К людям с красным знаменем. Они сегодня самые сильные. У них винтовки и они умеют заставить сходить с ума от голода. Великая власть. Сухие губы собрались пупком, но за этим узлом он прятал наглую, широкую, бодрую ухмылку. Кому она рассказывает о своей верности и невинности? Ведь это он, именно он, лет сорок тому назад свел того дерзкого батыра с ней и держал коней за уздцы, когда тот удалец нежился с молодой Байбише, и уши его помнили все до самых скрытых оттенков воркования ее и того красавчика, и ладонь его помнила тепло слитка серебра, данного ею ему за услугу тайную там, в тальнике... и он молчал... и не только из-за серебра. Его хозяин, его Байеке так и не узнал то, что знал он. А это было так сладко... Теперь не узнает никогда, хотя можно было, и сказать напоследок, но важно ли это сейчас? Да важно ли это теперь самому Байеке? А вдруг – нет?! Если это так, что же тогда важно в этой проклятой жизни? Что?!

Сая-шал остановился, упал на колени и вдруг осознал, что этого никогда не сможет понять, длиться его жизнь хоть еще на земле, в раю или в преисподнею. Но он встал, и они пошли дальше, все дальше... дальше... дальше вдвоем.

Я прошагал мимо множество точек, куда голод или конвой согнал мой народ. Я был в юртах белого войлока, где лежали человеческие останки с протянутыми руками к пустой серебрянной и фарфоровой посуде. Я видел как отогнанные от хозяев в ущелья или на песчаные берега рек от бескормицы дохли бесчисленные отары овец и табуны. Кони вырывались, их расстреливали из орудия, напоминавшего маленькую пушку, но выпускавшего сотню винтовочных пуль в минуту. Я офицер в прошлом и уверяю вас: с таким оружием война превращается в бойню и становится бессмысленной.

Товарищ Каин добил Авеля.

Никто даже не задумывался: за что? И кому было пытаться понять это, если еще вчера свободные люди не понимали даже что и кто теперь они. Так ведут себя кони, загнанные в тайгу. Чтобы выжить, им надо еще до захода солнца научиться жить, как живут медведи, рыть копытами себе берлоги и сложится в них так, что бы не ушли из них остатки тепла от прежнего очага, ведь надо в любом случае переспать снег и морозы. Назвать их лошадиным племенем уже было нельзя. Но и косолапыми они не станут. Быть им что-то вроде коне-медведей.

Никто в истории не сохранил первозданного вида. Дороги длиной в сотни лет проходят народы, чтобы стать иными, чем прежде, хуже или лучше – не важно. Но мыслимо ли, что для этого перерождения отводилась лишь точка?

Вот приметная картина. У железной дороге прилеплены несколько рваных лачуг, в одной кипит котел, в нем картофельные очистки, выброшенные за двор бабой служащего станции в голой степи. Жители этих лачуг празднуют – за три года оседлости в их роду появился первый ребенок. С десятков женщин, прежде рожавшие плодовито, как барсучки, с изумлением и трепетом в животах разглядывают желтое личико младенца. Мужчины говорят о том, что может быть на станции им скоро за работу на насыпях дадут «мертвую ногу» – так они называют колбасу – и их жены округлят, как когда-то, свои зады и будут вываливать из себя им детей, как из мешка. Мое присутствие их раздражает. Прежние привычки требуют от них зарезать для гостя барана, но они сейчас сами скот для заклания. Причем самый паршивый, не стоящий ножа. И им стыдно. Не был бы я седобородым старцем, они бы, пожалуй, от злости на себя, на весь свет и Бог знает еще на что, прогнали бы меня вон.

И все же они по-прежнему еще киргиз-казаки и не могут интересоваться хабаром.

– Аксакал, – пытаются они у меня новости, обязательно не напрямую, а околичностями. – По-прежнему ли мир движется?

– Нет, – отвечаю я. – Железный кол сорвался со звездного неба и пробил Землю насквозь. И нет теперь в ней движения.

– Вы правы. Но что же делать нам? Что ждать? Есть ли еще сила, могущая нас спасти?

– Есть. Ждите Скрытого хана, – говорю я им все ту же сказку. – Берегите детей. Скрытый хан не узнан и он среди ваших детей.

– Благодаренье Аллаху, – восклицают сбитые с седла всадники и не верят, но на всякий случай добавляют с надеждой. – Теперь мы не так наивны и никому не скажем о нашем Скрытом хане.

Так я бродяжничаю от Точки до Точки. Но меня абсолютно не устраивала судьба Агасфера, вечного жида, проклятого Христом. Теперь я хорошо понимаю этого никому не нужного старикашку, то вышагивающего тоскливо в подземелье вокруг столба кругами, то вымаливающего в монастырях прощения и спрашивающего каждого с надеждой: «Идет ли уже человек с крестом?».

И здесь все возраставшая во мне тревога, даже горе приняло ясную форму моей вины. А что случилось с тем мальчиком, на которого Садык указал, как на Скрытого хана? Каждый раз в каждой жизни я встречал его и... забывал о нем. А выжил ли он? И если выжил, то наверняка остался бродягой, мозг которого остался в девственном состоянии.

В каждом человеке живет и господин и раб – идея сия стара, как мир. Как в груди каждого, пусть даже самого беззаботного и благодушного итальянца, непременно затаился властолюбивый Цезарь, так и у сердца каждого киргиз-казака еще бьется сердце Аблай-хана – Скрытого хана. Герой Эллады Геракл убивал не поражаемых стрелами львов, вепрей, гидр, добывал золотые яблоки, чистил царские конюшни. Эллины не включили в этот идеальный для них ряд двенадцати национальных подвигов подвиг спасения ребенка. Не от того ли они исчезли, как народ, как страна, что все семь подвигов, совершенных Гераклом исключали спасение ребенка? А ведь самого Геракл и памяти о нем не было бы, как героя, не будь его воспитанников – кентавров, обучавших его, отброшенного богиней Герой от своей груди, с молодых ногтей искусствам и борьбе?

Я настолько стал стар, что добраться до горы Казыкурт было для меня задачей – как до Луны пешком. Но Аллах милостив – добрался. Я нашел там полузасыпанный ход к подземной дороге, вполз в дыру и, упав в совершенном бессилии на песок, лишился сознания... и оказался у брошенного жителями из-за угрозы гибелью городка Токмака. Снова офицером и в ту минуту, когда один из доблестных завоевателей штаб-офицер Добровольский объяснял художнику, любителю киргиз-казакской вещи и пейзажа Знаменскому кто и зачем тот мальчик с недоразвитым умом:

– Мальчуган – идиот. Плетется за нами третий день.

Мне хотелось напомнить товарищам по походу, что в античные философы называли идиотами тех частных лиц, кто сам отстранился от племен и полисов, но воздержался и произнес совсем иное:

– Это мой потерянный сын, – сказал я и под изумленными взглядами поднял ребенка в свое седло.